



НЕВА 2

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вера ЗУБАРЕВА

Стихи • 3

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

Афинская школа. *Повесть* • 7

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Стихи • 56

Екатерина НАГОВИЦЫНА

Энгенойская ведьма. *Рассказ* • 62

Валерий СКОБЛО

Стихи • 93

Елена РОДЧЕНКОВА

Дикий ручей; Дом дуры. *Рассказы* • 99

Олег ЮРКОВ

Стихи • 122

Гузель ЯХИНА

Мотылек. *Рассказ* • 126

Борис МЯЧИН

Функцион клав не назнач; Планка. *Рассказы* • 147

Соня ТУЧИНСКАЯ

Жильцы. Роза и Муза; Птицелов; Леночка.

Из цикла «Выдуманные рассказы» • 154

КНИГА ПАВШИХ

Поэты Первой мировой войны. Альфред Лихтенштейн,
Август Штрамм, Исаак Розенберг.

Перевод, комментарии Евгения Лукина • 171

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Елена ГУШАНСКАЯ

«...Времечко стекает с кончика его пера». К 95-летию А. Володина • 176

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Год культуры. Ольга Глазунова. О творчестве и креативности. **Эпоха и образы.** Владимир Чисников. «Шпион кается». *Ненаписанный рассказ Льва Толстого для «Круга тени».* **Рецензии.** Юлия Бродовская. Разоблаченная морока. *Мария-Алиса Свердлова.* Светоносной силы счастье. *Станислав Секретов.* Место, где свет. **Забывтая книга.** Альберт Старчевский. О заслугах Румянцева, оказанных отечественной истории. *Подготовка публикации Маргариты Райциной.* **Пилигрим.** Архимандрит Августин (Никитин). Антверпен — побратим Санкт-Петербурга. **Дом Зингера.** Подготовка публикации Елены Зиновьевой • 188–254

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации*

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена

*Электронную распечатку рукописей присылать
на погтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)*

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор

Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталья ЛАМОНТ

*(ответственный секретарь,
коммерческий директор)*

Александр МЕЛИХОВ

(зам. главного редактора)

Маргарита РАЙЦИНА

(контент-редактор)

Ольга МАЛЫШКИНА

(шеф-редактор молодежных проектов)

Игорь СУХИХ

(шеф-редактор гуманитарных проектов)

Елена ЗИНОВЬЕВА

(редактор-библиограф)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **М. Райциной, Л. Жуковой**

Вера ЗУБАРЕВА

* * *

Я живу вблизи океана — дикого зверя.
Он срывается ночью
И пенится гривой лунной,
Прогибаясь до впадин,
Где рвутся морские артерии,
Выгибаясь до хруста
Коралловых позвонков со шхунами.
Я живу в лагуне печалей — темных энергий,
Там, где чайки стучат по утрам железными клювами,
Отдирая моллюсков,
Приросших к жемчужницам нервами,
И пузырятся крабы,
Сплавляясь с медузами бурыми.
Там шторма накрывают строку
В направлении непознанном.
Хлещет соль из пробоин
Попавших в крушение раковин.
За пределами ветра покой расширяется звездами,
И, как купол, расписана в центре тетрадь Зодиаком.
От тебя до меня —
Только адреса взлетные полосы.
От меня до тебя —
Быстро скомканный лист в междометиях.
Продвигаюсь к тебе
По его измятому Мёбиусу,
Где пространство в изломанном времени
Тянет ляжку бессмертия.
Мне туда,
Где все за полночь, заживо, заново,
Где начало страшнее конца
И к свободе зависимость,
В ледниковый период страницы,
Где в белом все замерло,
Ожидая, чтоб ноль растопила
Священная письменность.
Мне туда,
Разбиваться о скалы — о прошлые памяти —
И откатывать
К теплomu, сонному... Берегу? Берегу.

Вера Кимовна Зубарева родилась в Одессе. Поэт, прозаик, литературовед. Преполагает в Пенсильванском университете. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной. Живет в Филадельфии.

Он поклонник наплывов моих,
Но ему не объять меня.
Я живу вблизи океана, дикого зверя...

* * *

Идем вдоль берега.
Выталкивает море
Продолговатые блестящие ракушки,
И сын хватает сразу ту, и эту,
И третью и волнуется, что я
Его заставлю вытряхнуть ведерко
Иль как-нибудь иначе не пойму...
Но я молчу, иду чуть позади
И понимаю — он не придает
Значения тем горкам битых мидий,
Которые тускнеют на песке
Поодаль, приоткрыв тугие створки,
И собирают полусонных мух.
Я думаю: как будет удивлен
Ребенок, собирающий в ведерко
Дань с перламутрового побережья,
Когда, вернувшись наконец с прогулки,
Он побежит в свой детский уголок
И вытряхнет чудесные трофеи,
Что превратятся на его глазах
В бессмысленный бесцветный хрупкий мусор.

УШНАЯ РАКОВИНА

Ушная раковина —
Отголосок моря,
Знак древности,
Сбой в механизме жизни,
Стремившейся вовнутрь в темнотах вод.
И для чего, когда нарушен код?
Моллюск гигантский, полонивший сушу,
Придумавший себе любовь и душу,
Вкусивши с Древа, он не попадет
В храм раковины темной и прохладной.
Всесильный, вездесущий и всеядный,
Он, по сравненью с древними, — урод,
Страдающий меж разделенных створок
И роющий к себе подземный ход
Из века в век на глубине подкорок.

* * *

Ветер с утра запустил облака воздушными змеями.
Волн паруса раздуваются чудо-фрегатами.

Нет ничего зыбучей прибрежного времени
И постоянной пространства морского с возвратами
Белой воды в пузырях и вишневого солнца.
По расписанью взлетает —
Шторм ли, осадки...
Смотришь — уж четверть его над водой остается.
Запад луга подстелил ему. Мягкой посадки!
Серые птички, как моль, разлетаются в газовых брызгах.
Их не привлечь нафталиновым цветом прибоя.
Берег исклеванный, раковин черствых огрызки,
Чайка на блестке волны, где свеченье рябое,
Сфинксом глядит в запредельные дали. Там рыба
Мир омывает своим плавником, и серебряный эллипс
Тела ее — в чешуйчатых созвездьях. Как Либера
Царства подводного, всходит в лунных поверхностях
Вод океанских. В неводах спутанных водорослей
Образы древних земель колышутся глухо.
Ими усеяны будут просторы, что после
Выйдут из темных воронок раковин луковых.
Ночь в океанской чернильнице бредит разливами,
Словно из детских размеров ее окончательно выросла,
И проливают на сушу ее ветра торопливые,
Лишь оставляя пробелы, что станут папирусом.

ОТПУСК

Здесь — как в раю.
Время стоит в зените,
Россыпи света вокруг голов,
Ни единой тени,
Капли воздуха с эликсиром сна —
По его орбите
Совершается вечный круговорот материй.
От земной до небесной тверди —
Полшага с пирса.
Тело движется со скоростью
Прямолинейного равномерного.
Душа — никогда. Поэтому ей не спится.
Тело с душой —
Все равно что пространство со временем.
Здесь сильней ностальгия
По неразрешенности вечера,
По живому текущему небу,
По оползням строчек.
Под зонтом абажура
Тетрадь обсыхает. До вечного —
Только мыслью подать. Но какой?
Вот вопрос, что сознание точит.
Я смещаюсь туда.
Фиолетовых сумерек выжимка,

Быстрый сон о тебе,
На песке — окоемка грусти
От волны откатившей,
Где чайка прошла обиженно.
Вот и все, что осталось
От отпуска длинной рукописи.

ОЖИДАНИЕ

Вадиму

1

На досточках, в уютном закутке,
Куда морской не проникает ветер
И солнце распускается в виске
До переносицы, едва прикроешь веки,
Я возвращаюсь в день последний наш:
Щелчки замков, пустоты в разговоре.
И превращается апрельский пляж
В величественный Берег Моря.

Я ожидаю вас. Я трачу безрассудно
Подарок неба краткий — быть собой.
Как после смерти, я — корма и судно,
Я целое и часть, я море и прибой.
Ничто меня не сдвинет с мертвой точки —
С несотворимого, как Бог, нуля.
Он плоть души и воздух оболочки.
Так небом окантована земля.
Я ожидаю вас как гостя из-за моря,
В той, превосходной, степени надежд,
Что существуют только априори.
Зачем переходить вам их рубеж?
Вы станете, переступив границу,
Конкретным проявленьем бытия,
Тогда как мне уже не воплотиться.
Лишь изредка наведывать себя...

2

Что значит ожиданье? Цель? Объект?
Движенье мыслей? Направленье действий?
Быть может, синтез слухов и примет
Или анализ всех причин и следствий?
Что, что, как червь, распухший точит ум?
Сижу, прикрыв глаза. Крик чаек, шум
Волны морской... Но безымянный кто-то
Растет, растет, растет во мгле меня
Из моего же бреда и огня,
И ожиданье — на него охота.

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

АФИНСКАЯ ШКОЛА

Повесть

Школа — всякое положение человека, где он волевым образом приобретает находчивость, опытность и знание.

Словарь Даля

Все это было, это было

У Чистых с лебедем прудов...

Из песни

— Любочка, я устал.

— Сейчас, сейчас, Наум, сядем.

Бульвар раскрылся перед нами. Впереди блестел на солнце пруд, там плавали лодки, а возможно, и лебеди, отсюда трудно было разглядеть. Народу в этот жаркий день на В-п Common, аналоге московских Чистых прудов, было даже слишком много. Под сенью свежей листвы шли веселые молодые пары, гибкие шоколадные девицы легко катили коляски со спящими младенцами, стройные юноши в шортах и кроссовках прогуливали породистых собак. Вот и скамейка — милая девушка с книгой в руках поднимается, делает жест рукой, словно приглашая сесть, и удаляется по направлению к пруду. Усаживаем Старого Поэта. Видно, что он устал, хотя мы прошли от машины совсем недалеко. Он не рад прогулке. Красота природы ему не видна: он слеп. Полдневную жару, хоть и на свежем воздухе, он бы спокойно променял на домашний покой, прогулку — на лежание в постели, сон, вялые мысли, монотонный голос читающей Любочки, жужжание кондиционера... Это все она, Любана. Она захотела «на природу», что значило для нее — «на свободу», захотела вырваться из домашней тюрьмы на солнышко, может, в последний раз.

— Ты понюхай, Наум, как пахнет.

Действительно пахло — как всегда в начале весны — чем-то чудесным, клейким, эфирным.

— Люба, давайте я вас фотографирую вон под тем деревом — видите? — В нескольких шагах от скамейки, ближе к пруду, стояло дерево-шатер, с опустившимися почти до самого асфальта ветвями. Сережа позвал к нему Любочку — фотографироваться. Я осталась со Старым Поэтом:

— Наум Семеныч, чего бы вы сейчас больше всего хотели? Минеральной воды? Мороженого?

— Чего бы я хотел? — он сидит с закрытыми глазами, но внезапно их раскрывает. — Ты спросила, Кирочка, чего бы я хотел?

Он снова закрывает глаза и говорит, словно из сна:

— Очутиться в Москве.

Ирина Чайковская — прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист. Родилась в Москве. Кандидат педагогических наук, с 1992 года живет на Западе. Печаталась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Октябрь» (Россия); «Новый журнал», «Чайка», «Побережье» (США). Автор повести «Завтра увижу» (М., 1991), «Карнавал в Италии» (2007). Живет в Бостоне.

Глава первая. Грузинская песня

Вечер вторника

Вечер вторника. 9 апреля 201... года. Отсюда и начну свое повествование. Сажу у компьютера, верчу в руках листочек со стихотворением, случайно найденным на самом дне ящика стола. Неужели это я написала? «Молитва Нины». Пробегаю глазами текст, но почти не понимаю смысла, не до него мне сейчас. Кладу бумажку в стол, на самое дно. Сейчас мне нужно подумать о завтрашнем уроке. Завтра среда, к десяти утра должна прийти Джеральдина Уайтхаус, или Рая, как я ее называю. Но она может и не прийти. Зависит от того, вернулась ли она из Техаса. Шестьдесят восемь лет, два маленьких хвостика на завязочках сзади, морщинки у добрых глаз, задорная кепка на голове. Первое время я недоумевала: зачем ей, этой немолодой женщине, пять лет как похоронившей мужа, матери двоих детей и бабушке трех внуков, зачем ей русский язык? И добро бы где-нибудь его уже учила, в школе или в университете. Правда, в университете Рая вообще не училась, обошлась школой, скромно работала в кафе-баре — готовила кофий для посетителей, продавала им банановые и черничные кексы. Можно представить себе русскую продавщицу или буфетчицу, берущую частные уроки, скажем, французского языка?

Странность, небывалость.

И сумасшедшее желание научиться, поскорее заговорить, выучить все глаголы разом... Прекрасная память — в ее-то возрасте, замечательные способности к языкам, но, кроме английского, не знает никакого другого. Опять удивление.

Зачем ей, американке с англосаксонскими корнями, русский язык? — задавалась я вопросом. Откуда такое неумное рвение, такая жажда во что бы то ни стало в короткий срок овладеть чужим, мало похожим на родной языком?

Компьютер шелкнул — пришло письмо.

От Раи. Ну конечно, я ведь телепатирую. Если думаю о ком-нибудь, он тут же проявляется. Хотя и не всегда.

Некоторые не проявляются уже много-много лет.

Раино письмо, как обычно, короткое. Но пишет по-русски.

Кира

Я приду. Я плохо. Вернулся из Техас. Миша говорит: не нада, я один. Я плачу.

Спасибо,

Рай

Некоторые вещи Раечке трудно запомнить. Свое имя пишет Рай — и сколько бы я ни говорила, что надо Рая, продолжает писать по-старому. Я уже понимала, что завтрашнее занятие будет похоже на сеанс психотерапии. Мне, однако, не привыкать.

Среда

Утром позвонила в Москву — обязательный звонок сестре — и в Италию. В Италии живет моя Старшая Подруга, ей в августе будет девяносто шесть лет. С некоторых пор мне стало страшно ей звонить.

Чувствуется, что силы ее покидают. Она уже не может читать — а если не можешь читать, то что тогда делать? Но мне она неизменно рада:

- Кирочка, ты? Как поживаешь?
 - Хочу узнать, как вы. Как ваша голова?
 - Я? Что обо мне говорить, ты же знаешь, все одно и то же. Погоди, я тебе что-то хотела сказать.
 - Ужасно плохо слышно, пожалуйста, говорите почетче!
 - Я хотела сказать тебе, Кирочка, будь счастлива!
- Потом начались гудки.

Сердце у меня сжалось, не к добру это. Когда тетя Аня умирала в сумасшедшем доме — ее туда поместили после того, как она перерезала себе вены в «пансионате для престарелых», точнее сказать, в богадельне, — когда она умирала в этой ужасной палате, где, наверное, было сто кроватей и на всех что-то творилось: кто-то кричал, кто-то выл, кто-то стучал башмаком по железной спинке, кто-то раздевался, стояли шум и смрад, и вот мы с сестрой пришли ее проведать и принесли бананы. Она ведь ничего не ела несколько дней. Сестра почистила банан, Аня открыла рот, и мы всунули в него банан, и она начала медленно, очень медленно его жевать. Он не лез в горло, но она хотела есть и ела этот наш банан, а слезы она смаргивала с красных своих век. И вот она, наша тетя Аня, которая когда-то спасла отца во время войны, лежащего в тифе, отыскала в прифронтовом госпитале и выходила, — тетя Аня, когда съела банан, просветлела лицом и напоследок шепнула нам, уже поднявшимся, чтобы уходить: «Будьте счастливы, девочки!»

Нет, не к добру эти слова, не к добру... Но времени перезванивать не было. Вот-вот должна была приехать Рая.

Заглянула в свой план. Так, разминка — диалог с употреблением личных местоимений. Потом упражнения на использование родительного и предложного падежей. Рая плохо знает падежи, часто путает родительный с предложным, это стало для нее «пунктиком», она требует от меня беспрестанной проверки своих грамматических навыков. Вот у меня полстраницы специальных примеров для нее. Что дальше? Дальше чтение текста с ответом на вопросы, вот книжка уже открыта на нужной странице. Ну, и в самом конце песня. Песня на самом деле — главное. Она для Раечки просто на первом месте. Но нельзя же с нее начинать? Так получается, что к песне мы приходим в самом конце, когда уже час занятий почти исчерпан. И вот тут... а вот и ее машина.

* * *

Как я и думала, занятие началось с душевных излияний. Принесла ей чаю — она любит обычный крепкий чай, кофе ей надоел на работе. Раскладывает на столе свои тетрадки, смотрит в стол.

Стараюсь перехватить ее взгляд:

- Раечка, вот тебе чай.
 - Спасибо! — поднимает на меня глаза — в них, к моему удивлению, лучезарная радость. Не сразу догадываюсь, что это реакция на свидание с Мишей.
- Спрашиваю:
- Миша здоров?
 - Да, он здоров, но он плохо. Его бывший жена заболел, они долго в развод.
 - Какая у нее болезнь?
 - Она рак, она может смерть. Миша сказал, он не может ее бросить из-за рак.
 - Ты собиралась спеть ему песню. Спела?
 - Я хотел лучше приготовить. Я его спросил: ты знаешь Булат Окуджава? Он говорил: «Канечна». Я спросил: «Ты его любишь?» — «Канечна». — «А какую хотел слушать?» Он молчал, потом говорил: «“Грузинская песня” хочу слушать».

Раечка, взволновавшись, делает глоток из чашки — и давится, кашляет.

Говорит уже по-английски:

— Кира, я так удивилась, когда это услышала. Мне это даже показалось чудом. Ведь я Мише не сказала, что мы с тобой поем Окуджаву и я разучила «Грузинскую песню». Я спросила его, почему ему нравится именно «Грузинская песня». А он в ответ сказал, что есть причины, а какие — не ответил. Как ты думаешь, какие это могут быть причины? Женщина?

— Почему женщина, Раечка? Почему обязательно женщина? Твой Миша совсем не Дон Жуан. Я вот тоже люблю «Грузинскую песню», и ты ее любишь. И для любви не нужны никакие причины.

— Кира, — Раечка глядит на меня умоляюще, и ее лучезарность понемногу передается мне, — давай сегодня начнем с песни!

И мы начинаем с песни.

* * *

Грузию я тоже люблю. Даже больше, в молодости я была в нее влюблена. Для кандидатской выбрала тему «Грузинская поэзия в школе» и, не зная языка, начала читать в русских переводах Шота Руставели, Николоза Бараташвили, Давида Гурамишвили и многих-многих других, которые посовременнее. Читала — не могла начитаться, то ли русские переводы были такие завораживающие, то ли грузинские стихи сами по себе... Повезло мне и с оппонентом, я сама ее выбрала, тихую женщину, приехавшую в наш головной московский институт по делам своей докторской диссертации, жену большого грузинского актера. Тамара Георгиевна много чего мне рассказала из того, что знают про свою культуру сами грузины. Мы подружались, и Тамара Георгиевна пригласила меня на конференцию в Тбилиси. Конференция была всесоюзная, приехали на нее педагоги и психологи из разных городов, но основные докладчики были из Москвы и Ленинграда. Почему-то я сразу сблизилась с ленинградцами — до того, что ездила в их автобусе. Московский автобус, возивший директора нашего института и наполненный его челядью, думаю, не очень сожалел о моем отсутствии. Ленинградцы кучковались вокруг немолодой, но магнетической женщины еврейского вида, с которой я сразу сдружилась. Ее опекали два молодых сотрудника, оба психологи, один сразу вызвал у меня интерес, как казалось, взаимный. Во всяком случае, я ловила на себе его взгляды. Был он небольшого роста, но крепкий и мускулистый, с некрасивыми и неправильными чертами лица, однако во всем его облике была какая-то стать, глаза из-под очков смотрели умно и слегка насмешливо, в принципе именно такие личности должны писать гениальные стихи и совершать мировые открытия. Мысленно я назвала его Ученый. В первый же день, когда нас представляли друг другу, он ко мне подошел и сказал со смущенной улыбкой: «Простите, что я на вас смотрю. Вы очень напоминаете мне одну девушку. Мы с ней дружили. Она только что умерла в Ленинграде, болела недолго, но тяжело. Вы такая же тоненькая, как...» Он оборвал себя на полуслове и быстро отвернулся. Подошел его долговязый приятель и увел его знакомиться с еще какой-то группой.

Вечером на званом обеде в доме Тамары Георгиевны меня посадили рядом с сотрудницами ее лаборатории за почетный стол, во главе которого восседал наш директор. Чего-чего не было на столе в самом начале мая — какой только зелени, каких только орехов, фасоли, мяса, сыров, фруктов и сладостей! — грузинское гостеприимство известно, да и в представлении русских страна Картли издревле считалась раем. Потом уже мои соседки-грузинки шепотом мне рассказывали, что со-

бирали деньги на прием гостей в течение всего года и вспоминали эпизод из фильма, когда грузинский юноша, обильно угостив друзей, наутро разговляется кефирчиком... Надо сказать, что за роскошным этим столом я не ела и не пила: еда не лезла в горло. Прямо перед моими глазами за параллельно поставленным столом, но спиной ко мне сидела ленинградская группа, о чем-то активно переговаривающаяся между собой. Магнетическая женщина, с которой в автобусе мы уже успели подружиться, несколько раз оглянулась на меня и призывно помахала рукой. Но мне было неудобно покидать грузинок. Наконец два знакомых мне ленинградских сотрудника — Долговязый и Ученый — поднялись и подошли к нашему столу, тут уж я не стала противиться и, густо заливаясь краской (всегда чувствую, когда краснею), заплетающимися ногами, под грозным взглядом директора, направилась к соседям. За ленинградским столом моим вниманием с ходу завладел Толя, веселый и остроумный коллега Ученого, успевающий, несмотря на почти непрерывный монолог, отведать от всех яств и продегустировать все вина. Краем глаза я наблюдала за Ученым. Он молчал, изредка отвечая на вопросы магнетической женщины, и, как и я, в пире не участвовал.

На следующий день после утреннего пленарного заседания, на котором директор читал доклад о коммунистическом воспитании, магнетическая женщина рассказывала о своем факультативном курсе, Ученый говорил о психологии детского восприятия, а также после дневного заседания нашей секции, где в своем выступлении я доказывала, что стихи Булата Окуджавы опираются на грузинскую традицию, — после этого тяжелого дня заседаний можно было наконец прогуляться по городу. Солнце уходило с улиц, зажигались фонари, все вокруг сильно отличалось от московского: лица людей, запахи, яркие цвета. Я шла по оживленному цветущему проспекту Руставели и смотрела на вывески, на одной рядом с грузинской вязью прочла слово по-русски: «Хачапури». Это-то и было мне нужно. Я решила сначала утолить голод, а потом уже любопытство. В хачапурной народу было немного, но мне показалось, что все посетители — почему-то одни мужчины — разом на меня посмотрели. Заказала одно хачапури и бутылку минеральной воды. Продавец в грязноватом переднике и заломанном на ухо белом колпаке сказал с сильным грузинским акцентом: «Придется посидеть, дамочка, полчаса придется посидеть. Пока хачапури пекут, придется дамочке посидеть», и он весело что-то запел и зацокал языком.

— А, вот вы где! Можно к вам присоединиться? — это Ученый вошел в хачапурную и меня заметил.

Сев за столик, он продолжил, понизив голос:

— Напрасно вы ходите вечером одна, все-таки Тифлис — это немного Восток.

Я не отвечала, еще не пришла в себя от неожиданности.

— Вы так резво убежали, что я не сразу вас догнал.

— Вы меня догоняли?

— А как же, бежал, как охотник за газелью.

Через час принесли наши хачапури. Все это время мы разговаривали. Оказывается, он был на нашей секции и слушал мой доклад. А я и не заметила — так волновалась, что в зал не глядела. Запомнилась его критика (хотя доклад он хвалил), он сказал, что у меня получается, что в «Грузинской песне» возносится хвала мирозданию и Господу, но у Окуджавы, как ему кажется, воззрения не христианские, а языческие, своеобразный пантеизм, славословие тому порядку, что вытекает из природного цикла. Что-то вроде этого. Сказал, что ему понравилось про «миджнуров», и спросил, хотела бы я иметь такого безумного обожателя. Тут я на него взглянула: черная футболка, потертые джинсы (видавший виды джинсовый пид-

жак он повесил на стул). В этом наряде он и выступал, и я могла вообразить, с каким негодованием взирал наш директор на «подрывающий педагогические устои» костюм докладчика. А на лицо его я не смотрела. Хачапури оказался такой вкуснятиной, что очень захотелось заказать еще, что мы и сделали, просидев в хачапурной до самого закрытия.

А потом... потом началось что-то совершенно фантастическое. Мы побрели по ночному городу — и он не оттолкнул нас, наоборот, вел по своим улицам и площадям, не давал заплутаться в переулках и тупиках, оберегал и охранял, словно своих детенышей. Мы держались за руки, как дети, и были детьми, девочкой и мальчиком. Девочка слушала, как мальчик читает стихи Пастернака, а под конец, давась слезами, никого и ничего не замечая, рассказывает о своей умершей возлюбленной. Рассвет застал нас на горе, и когда я обернулась, то увидела, что за нашей спиной стоят два ангела, два прекрасных отрока со светлыми и строгими лицами.

* * *

На одном из первых занятий я спросила Раю, хочет ли она петь. Она радостно кивнула. Когда она легко повторила мелодию «Лучины» хорошо поставленным низким голосом, я спросила: «Ты пела в хоре?» — «Да». — «И я тоже». Я не стала узнавать, в каком хоре она пела. Скорее всего, в церковном. Но какая разница? Я пела в пионерском. Что это меняет? Главное, что мы любим петь и имеем некоторый навык пения. Вот *это* с нею петь — это вопрос.

Не сразу, занятия через три-четыре, она рассказала про Мишу. Он был близким другом, приходил к ним в дом, еще когда был жив ее муж. Познакомились случайно, просто жили неподалеку, и Миша сразу ей понравился.

Чем он занимался? Точно она не знает. Он был профессором в университете, что-то преподавал. Кажется, социологию или историю, а может, психологию. Что-то такое не вполне понятное. Он любил музыку, это она знает точно. А потом он уехал в Техас. Но она с ним переписывается и иногда к нему ездит. Миша такой... он редкий человек, очень умный и добрый, она не думает, что у русских все такие, хотя он именно русский, не похож на американца. Когда она в следующий раз поедет в Техас, ей бы хотелось спеть ему хорошую песню. Не знаю, почему я тогда подумала об Окуджаве? Стала напевать его «Грузинскую песню». И Раечке она сразу понравилась.

«Виноградную косточку в теплую землю зарою», — поем мы с Раей-Джеральдиной, у нее совсем небольшой акцент, и поет она, закрыв глаза, словно грезя о чем-то.

Рая отозвалась о песне так: «В ней есть какой-то месмеризм». Удивительное слово «месмеризм», никогда его не слышала от американцев и вообще не слышала. Оно хорошо передает колдовство, исходящее от песен Булата. А о Раечке снова подумалось, что не подходит ей работа продавщицы кафе-бара, у нее тонкая душа, по странному стечению планет, ощущающая свое родство со всем русским: языком, песнями, людьми...

О чем она думает во время пения? О Мише? А я вспоминаю майский Тифлис, наш автобус, в котором мне было так хорошо. Магнетическая женщина нашептывала мне на ухо разные смешные истории, мы обе хохотали. Накануне вечером, во время пира, неутомимый говорун и дегустатор Толя кое-что рассказал мне о ней: она пережила блокаду, была юной разведчицей — поднималась на воздушном шаре над городом и наблюдала за расположением противника. Такие, как она, безоружные девчонки на воздушных шарах были прекрасной мишенью для фашистов, но

ее по какой-то случайности не сбили. Сейчас из-за больного сердца врачи не пускали ее в Грузию, они с Митей ее опекают. Митей звали Ученого. В автобусе «опекуны» ехали впереди, по левую сторону от нас, они то и дело оглядывались на взрывы нашего хохота. А в окнах автобуса мелькали нежно-зеленые долины, темные башни на вершинах гор, немислимо ранней постройки стройные монастыри.

Удивляюсь сама себе: спустя столько лет не отпускают ни эти картины, ни даже тогдашние замечания Ученого, все пытаюсь их оспорить. Косточка винограда — лоза — виноградная гроздь, конечно, здесь он прав, это природный цикл — от начального семечка до сбора урожая. Но для него это одицетворение язычества, как и три стихии Земли, Неба и Океана, воплотившиеся в образы белого буйвола, синего орла и золотой форели. И при всем при том как же он не заметил, что Окуджава упоминает «царя небесного»? Всей этой природой, всем мирозданием управляет Господь, все подчинено его разуму и воле.

Второй куплет Рая поет одна, это ее соло. «В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу». Про Дали она все знает от меня. Знает, что у грузин в языческие времена была богиня охоты, которую звали Дали. Только не имеет она отношения к песне Окуджавы. Здесь Дали — просто женщина с красивым и древним именем. Почему герой преклоняет перед нею главу? Да потому, что он — рыцарь, «миджнур» по-грузински, и женщина для него — объект преклонения. Вот была у Булата Шалвовича любовь, по имени Наталия. И в своей песне он написал: «А молодой гусар, в Наталию влюбленный, / Он все стоит пред ней, коленопреклоненный». Эту песню я в свое время тоже спела Рае для иллюстрации. Есть тут еще одно удивительное место, которое нуждается в пояснении. «И заслушаюсь я — и умру от любви и печали». Как раз сейчас Рая поет эти слова. Что они значат? Кто и когда умирал от любви и печали? О, в моем докладе о грузинских традициях в поэзии Окуджавы как раз было об этом. Я приводила в пример грузинского поэта XII века Шота Руставели, чья поэма известна каждому грузину. Ее главный герой — «несчастный Тариэл», иначе «витазь в тигровой шкуре», — умирает от любви и печали. У него похитили любимую, и он, обезумев от горя, пришел в пустыню, чтобы найти смерть. Все это я тоже рассказала моей американке.

Последний куплет мы поем вместе, наши голоса стройно сливаются в унисоне.

Рая взволнованна, она пытается выразить это по-русски: «Прекрасный песня, здесь жизнь и смерть и любить. Рай поет ее для Миша».

А дальше мы чинно занимаемся по моему плану. Урок получился длинный, на целых полчаса длиннее обычного, но что поделаешь? Зато мы отработали все примеры на родительный и предложный падежи, и Джеральдина-Рая сделала в них совсем немного ошибок.

* * *

Урок давно кончился, а я никак не могу подняться. Потом рывком встаю, отношу чашку с недопитым чаем на кухню и, сняв с вешалки куртку, выскакиваю из дому. После урока мне необходимо прогуляться. Живем мы в неприметном городке возле Большого Города, прямо перед домом — лесистая гора, с вершины которой можно озирать окрестности. Это самая высокая точка нашего района.

Когда позволяют погода и самочувствие, я забираюсь на эту вершинку и смотрю сверху вниз на всю эту копошащуюся внизу жизнь, на деревья, небоскребы, озера и деревянные домики, наподобие нашего. При этом я читаю про себя то пушкинское «Кавказ подо мною», то пушкинское же «как некий демон, отселе править миром я

могу». Сейчас по дороге на смотровую площадку, радуясь зазеленевшим вдруг траве и деревьям, я твержу про себя руставелиевские строчки в колдовском переводе Заболоцкого: «Плач миджнура о любимой — украшенье, не вина. На земле его страданья почитают издавна. И в душе его, и в сердце вечно царствует одна. Но толпе любовь миджнура открываться не должна». Как хорошо дышится в этот апрельский день, и настроение неплохое, хоть и устала я от урока с этими бесконечными примерами на родительный и предложный: около стола, на столе, у тети, в Москве... Долой грамматику! Какая женщина не мечтает, чтобы у нее был рыцарь-«миджнур», до безумия в нее влюбленный, влюбленный безумец... Разве есть такая, чтобы не хотела, даже спрашивать об этом не надо...

В эту минуту зазвонил мой мобильный, зажатый в левой руке. Звонил Сережа, с работы, сегодня он придет поздно, так как поедет в джим. Прекрасно, хорошо, Серик, а я вечером буду доканчивать рецензию на дурацкую венгерскую книжку. Ну, как зачем? Кому-то ведь надо писать рецензии. На мою? А на мою не надо, она не дурацкая, сама прорвется. Конечно, шучу. Ага, тебе тоже привет.

Связь закончилась. Хорошо, что есть у меня Сережа. С ним мне никакой миджнур не нужен.

Дорога вьется извилистой змейкой, вверх и вверх. По сторонам растут мощные деревья, в основном хвойных пород, а между ними лежат огромные камни-валуны, миллионы лет назад принесенные сюда ледником, прошедшим через эти места и оставившим на них свой дикий, доисторический след.

Иногда мне кажется, что вот сейчас из-за этой громадной сосны выглянет первобытный йеху с палкой-копалкой в руках... В подмосковных лесах у меня никогда не возникало таких ощущений. Что похоже — запах. Запах хвои. Здесь и там. Там он был гуще, смолянистее. Здесь притушенный, словно ускользающий. Конечно, это тебе не Клязьма, не пансионат, не заветная тропа, бегущая между елочек и сосен, по которой ты шла зимой, в оттепель, в новогодние каникулы, по подтаявшему снегу, вдыхая пряный хвойный запах...

Вот и вершина. Четырехугольная площадка огорожена со стороны обрыва решеткой.

Если смотреть отсюда вниз и вдаль, то много чего можно увидеть, — местность лежит перед тобой, как на карте. Красота! На утрамбованной площадке никого нет, и я вынимаю свой мобильник. Звоню Старшей Подруге в Милан. Она еще не спит, там сейчас на два часа меньше, чем в Москве, то есть только шесть часов вечера. Звоню ей внеурочно, чтобы освободиться от беспокойства. «Будь счастлива, Кирочка». Когда-то тетя Аня так с нами прощалась. Она умерла через несколько дней после нашего посещения. Она, наша красивая и гордая тетя, на старости лет приехавшая из Риги в Москву к своему племяннику (папе) и не сумевшая поладить с мамой, поселилась в доме для престарелых, но не выдержала и там. И слава богу, оставила нам с сестрой не горькое и страшное, а отрадное воспоминание: свою прощальную улыбку и свое пожелание: «Будьте счастливы, девочки». Произнесла его Аня одними губами, голоса у нее не было, да и в том бедламе, где мы находились, разобрать ничего было нельзя из-за несмолкающего шума, грохота и истошных воплей. Но мы с сестрой прочитали по ее губам и поняли. Это было ее напутствие нам, тогда совсем юным. И вот сейчас Старшая Подруга...

Набираю код Италии, Милана, ее номер. Гудки. Никто не подходит.

Набираю еще раз. То же самое. Обычно, когда она на месте, трубку берет мгновенно.

Набираю номер в третий раз. Длинные ровные гудки. Длинные ровные гудки. Длинные ров...

Я спускаюсь с горки и медленно бреду к дому.

* * *

Ей тогда не было и восьмидесяти, когда мы наконец познакомились. Приехали с Сережей в Милан, пришли в ее квартирку, так же населенную книгами, как когда-то в Москве. Помню, она вначале мне не понравилась. Мне показалось, что аристократка, что смотрит свысока, что слишком уверенно держится. А уж какая прическа — волосы лежали шлемом вокруг головы и отливали золотом, как одета — изысканно, другого слова не подберешь... Словно не нас, двух незнакомых и непрославленных соотечественников, приехавших из сельской провинции Марке, встречает, а каких-то важных персон, известных деятелей «науки и культуры».

Потом даже смешно стало вспоминать про эти первые, как оказалось, неверные впечатления. Добрая, радушная, заботливая, но и строгая, точная, очень проницательная. Ее учебник для итальянцев был написан с энциклопедической широтой и смелостью. Чтобы написать такой учебник, надо было освободиться от всех советских пут, к тому же быть ученицей большого Учителя. Обоим условиям моя Старшая Подруга удовлетворяла. Выпускница Ленинградского филфака, прошла она великолепную школу у лучших тогдашних профессоров. Бесценный жизненный опыт вкупе со знанием испанского языка пришел к ней на земле сражающейся Испании, а потом, после поражения республиканцев, он пополнился в лубянской тюрьме и сталинском лагере.

Статья, по которой ее приговорили, даже для тех лет звучала абсурдно: «находилась в условиях, при которых могла совершить преступление». Могла, но не совершила? Да какая разница! Гроби всех, кто вернулся с проигранной войны живым и невредимым.

А сколько она порассказала нам в тот первый раз — от полноты души, от радости, что слушают соотечественники, от неостребованности этих рассказов на родине. Была моя Старшая Подруга близким другом и лирическим адресатом известного писателя-лагерника, была корреспонденткой гениальной писательницы первой волны, писавшей ей из одинокого филадельфийского своего пристанища горькие письма, а еще была она приятельницей и переводчицей на итальянский музыки громкого революционного поэта, той самой, о которой еще с девчоночьих лет стремилась я узнать как можно больше.

И знакомство мое со Старшей Подругой началось с того, что в книжном магазине нашего городка обнаружила я переведенные и отредактированные ею воспоминания той неординарной женщины, появившиеся на родине и на родном языке лишь спустя десять лет. Запомнив имя переводчицы, я связалась через своего итальянского ученика Франческо с издательством Cafoscarina — и вот она, бумажка с телефоном, а затем и с адресом.

Про подругу революционного поэта я ее много расспрашивала, сверяла свои впечатления. Вот Юрий Тынянов (в пересказе Натана Эйдельмана) говорит про нее, что она с ним расплатилась за статью, принесенную на их с мужем квартиру, весьма оригинально, попросила прийти вечером, привела в спальню, где «на мягкой пуховой постели, / В парчу и жемчуг убрана, / Ждала она гостя, шипели / Пред нею два кубка вина». Тынянов был в то время молодоженом, но в возникшей ситуации должен был соответствовать... Старшая Подруга отсекала такой поворот событий: быть не могло, подруга революционного поэта не из тех.

А насчет сотрудничества с органами? Могла она быть осведомительницей?

Вот в книге у известного ученого «варяга» Рита Р. рассказывает, что та пыталась ее завербовать....

— Рита Р. — известная лгунья, это все выдумки. При таком характере, какой был у подруги революционного поэта, невозможно было писать доносы на друзей.

— А какой у нее был характер?

— Она не хотела жить скучно и бессмысленно. Упала и сломала себе шейку бедра, тогда операции таким больным не делали, они были обречены на лежание, «матрасную могилу», до конца своих дней. И она не захотела. Выпила одиннадцать таблеток снотворного — набутала, — сама оборвала свою жизнь. Сама оборвала свою жизнь. Сама оборвала свою жизнь.

Ловлю себя на том, что механически пишу эти слова в своем блокноте. Снова и снова. Причем думаю о Старшей Подруге.

А кажется, я знаю, что нужно сделать. Нужно написать Франческо. Франческо — это тот самый итальянский ученик, который принес мне адрес издательства Cafoscarina.

С недавних пор стало жутковато ему писать, его депрессия разгорелась с новой силой. Но делать нечего. Франческо теперь живет в Милане, он может пешком дойти до моей Старшей Подруги. Вот бы и узнал, все ли с нею в порядке.

И я пишу Франческо: «Франческо, ты мне нужен. Как твои дела, как самочувствие?»

Ответ приходит через минуту, словно он ждал, что я его окликну: «Кира, я жив. Больше ничего не происходит. Жив, но боюсь смерти».

«Ты дома? Я хотела тебя попросить сходить к А. У нее молчит телефон, и я боюсь...»

«Я не выхожу из дому. Вот уже два месяца. Мать приносит мне еду».

«Ты сошел с ума. Разве так можно? Ты же сам себя вгоняешь в ступор. Сидеть и думать о смерти! Ты должен сейчас одеться, выйти на улицу и пойти к А. Она тебе помогала, помнишь? Ты ходил к ней советоваться со своими переводами».

«Кира, я ничего не помню. Я все забыл. Я помню только, что должен умереть. Вопрос когда».

«Послушай, ты должен пойти к А. Сделай усилие. Ты точно не умрешь, пока будешь к ней идти, посидишь у нее, если она откроет, — и вернешься. Все это время, обещаю тебе, ты будешь жив».

«Ты уверена? Почему ты уверена? А если она не откроет? Что тогда делать?»

«Тогда повернешься и уйдешь. И напишешь мне, что дверь не открыли. Значит, что-то с ней случилось...»

«Что с ней могло случиться? Что могло с ней случиться? Я боюсь выходить из дому. Я не пойду».

«Франческо, сходи! Очень тебя прошу. Ты тогда не умрешь очень долго, Бог зачет тебе твой поступок...»

Больше он не пишет. Решился или нет? И что если она не откроет? Мне кажется, она не откроет.

Бедный Франческо! Болезнь окончательно загнала его в угол. Когда мы с ним занимались, у него была хотя бы цель: научиться русскому языку, начать переводить книги. Уже тогда депрессия его донимала, но он с нею боролся, ходил на уроки в лингвистическую школу, читал книги, делал домашнее задание...

А какие интересные были у нас с ним дискуссии! О будущем Италии, о будущем России. Про Италию он говорил, что у нее нет будущего. Что через двадцать лет такой страны вообще не будет на карте. Куда же она денется? Будет поглощена морем, затоплена селями и горными речками, погребена землетрясениями, испепелена новооткрывшимися вулканами, на нее упадет небесный астероид.

Его воображение работало с размахом. А куда денутся люди? Как куда? Погибнут. Спасется только небольшая горстка, они успеют убежать до всех этих мрачных событий. Куда же они убегут? В Америку. Или в Россию. Здравьете. Ты думаешь, Россия сможет оказать им помощь? Она будет существовать через двадцать лет? А как же! С Россией за двадцать лет много чего произойдет, она вернет себе статус сверхдержавы, ее наука, культура возродятся, народ станет свободным. Ты думаешь? Я уверен.

На чем основывается твой прогноз? Исключительно на интуиции. Помню, я очень смеялась, а Франческо сердился и говорил, что интуиция никогда его не подводила. Был он очень способным к языкам, русский начал учить еще в юном возрасте, когда понял, что нужно чем-то занять свой мозг. Откуда у тебя эта напасть? Не знаю, я в детстве сильно испугался, потом страх прошел, а потом стал накатывать снова и снова. Я не знал, куда мне от него спрятаться.

Похоже, что спрятаться от своего страха он решил в русский язык и русскую литературу.

Когда я уже уехала из Италии, а Франческо обосновался в Милане, он написал мне письмо с просьбой соединить его с А. Видимо, у него были серьезные намерения начать переводить книги для издательств. Моя Старшая Подруга имела дело со многими издательствами и могла посоветовать, куда обратиться в первую очередь. Потом она мне рассказывала, что Франческо поразил ее своей правильной русской речью, без намека на итальянский акцент. Но дальше у него случился афронт. Она попросила его перевести кусочек текста. Он взял этот кусочек домой и больше не появился. Она подозревала, что текст оказался ему не по зубам, хотя был всего лишь взят из книги ее друга-лагерника, кусочек о городе его детства; в тот момент она переводила эту книгу.

Я не стала говорить Старшей Подруге о комплексах Франческо, о его страхах. Я была уверена, что он мог прекрасно справиться с переводом, но испугался. Чего или кого — неважно. Страх подстерегал его повсюду. Вполне возможно, что Старшая Подруга сама кое-что поняла.

Она была чуткая к словам и интонациям, улавливала скрытые побуждения. Она всегда стремилась помочь. Был у меня один тяжелый период в Италии, все как-то сошлось в одно. Сережа лишился работы и вынужден был уехать от нас в другой город, ситуация в России была безысходной, наше будущее, судьба детей вырисовывались слабо — и душа у меня заболела. Особенно плохо было в середине дня, в «помериджо» — так у итальянцев называется временной отрезок от обеда примерно до пяти часов вечера. Часа в четыре сердце начинало ныть особенно. В кухне, где стояли телефон и моя пишущая машинка, становилось нестерпимо жарко, душно, работать было невозможно, тягучим послеобеденным часам не было конца и исхода.

И вот тут раздавался звонок — звонила Старшая Подруга из Милана. Словно понимала, что повремени она хоть немного — и душа моя разорвется от горя, от обиды на жизнь, от жуткой духоты, от которой не было спасения. Своим звонком она мне дарила полчаса нормальной человеческой жизни. Не помню, что она говорила, но каждое ее слово было золотом, было бальзамом на истерзанную душу, нуждающуюся если не в утешении, то хотя бы в сочувствии. Эти звонки моей Старшей Подруги, продолжавшиеся все время моей хандры, трудно забыть, да и невозможно.

Я оставляю компьютер открытым и спускаюсь на кухню — давно пришло время обеда. Но сварить себе кашу — конечно, гречневую, какую же еще? — не успеваю: раздается характерный хлопок компьютера, оповещающий о приходе письма. И я бегу наверх. Кто это? Франческо? Вроде рановато. Но это не Франческо.

Это Музыкант. Мы с ним довольно регулярно перебрасываемся парой фраз.
В этот раз он пишет:

Куда вы пропали? Есть новость.
Хорошая?
Конечно, нет. Отрицательная рецензия.
Вам не привыкать.
В последнее время их вроде стало меньше.
У меня тоже есть новость. И тоже нехорошая. Вы ведь помните А? Она водила к вам в Москве 1970-х итальянские делегации.
Отдельных гениев, а не делегации. Что с ней?
Пока не знаю. Она мне сказала: «Будь счастлива».
Она ведь в очень преклонных годах. Напишите мне, если что-то случится, хорошо?

Я спешу вниз, варю кашу и кладу ее в глубокую тарелку, как вдруг снова раздастся хлопок пришедшего письма. Так и не попробовав каши, бегу наверх.
На этот раз письмо от Франческо.

Кира, я там был. Только что вернулся. Все в порядке.
Она открыла?
Во дворе была амбуланца. Я подошел к двери, внутри были люди.
Она жива?
Она на них кричала по-испански.
Что?
Кричала по-испански. Fuera, maldita Franco! Примерно так. Она приняла их за франкистов.
А что было потом?
Я не дождался и пошел домой. Главное, она жива. В сущности, так легко сказать жизни: гао, ла миа вита.
Слава богу, она жива.
У меня поднялось настроение. Я понравился сам себе.
Ты молодчина. Спасибо тебе огромное!
Но сейчас мне снова страшно. Я боюсь, что не засну. А если засну, то не проснусь.
Что мне делать, Кира? Принимать лекарства?
А что если погулять? Возле дома? Минут пятнадцать, для моциона?
Но я...
Я тебя посторожу, не бойся. Я правда тебя посторожу.

Я вспоминала, как говорила эти слова маленькому сыну перед сном.

Но я...
Франческо, у меня каша стынет на кухне. Ты меня извини!

Наверное, я его обидела своей «кашей». Он ушел из почты, даже не простившись.

Вот всегда у меня так. Парень, можно сказать, совершил героический поступок, а я ему «каша». Я снова спустилась на кухню. Каша окончательно остыла, но зато чай я пила с малиновым пирогом. Объединение.

Когда поднялась наверх, в почте было письмо из Италии, но не от Франческо. Писала ученица Старшей Подруги, переводчица с русского Федерика Дзонгелли.

Вообще удивительно, сколько у моей Старшей Подруги друзей, учеников, «фанатов» во всех концах земли. Родственников практически уже не осталось, но на свой день рождения, обычно встречаемый ею дома, получает она до пятидесяти звонков из самых разных городов и стран. Это те, кого она зарядила, с кем поделилась своим жизнелюбием.

Федерика писала:

Cara Kira,
Il telefono di Anette non rispondeva. Percio' ho chiesto a Carlo di andare da lei. Lui ha aperto la porta con la sua chiave e ha chiamato l' ambulanza. Adesso Anette sta in ospedale e si sente meglio.
Con tanto affetto
Federica

В переводе это означало, что телефон у моей Старшей Подруги не отвечал, и Федерика послала к ней своего мужа Карло. Он открыл дверь своим ключом и вызвал «скорую». Старшая Подруга сейчас в больнице, чувствует себя лучше...

Федерика ничего не писала о том, что случилось, почему понадобилась «скорая».

Спросить? Но я уверена, что она уйдет от ответа. Так что написала несколько незначащих слов:

Дорогая Федерика,
Спасибо за сообщение, хоть оно и грустное!
Будьте здоровы, привет Карло,
Кира

Потом все же приписала:

Что случилось с А.?

И получила ответ:

Na un piccolo intossicazione.

Ага, небольшая интоксикация, читай отравление. Федерике не хочется писать неправду, она пишет полуправду. Все же выдохлась моя Старшая Подруга. Устала от жизни. Немудрено к этому возрасту. Кроме того, что заели болезни, живет она одна, сама должна себя обслуживать. А вот психологически она к одиночеству привыкла, и ее оно не тяготит, как тяготило бы, скажем, меня. Я бы одна не смогла. Но для нее — это возможность жить, как она хочет, ни к кому не подстраиваясь. Жить — и умереть. Старшая Подруга росла в советской стране, свои коммунистические воззрения со временем изжила, а в Бога так и не поверила. Он ее жизнью не распоряжается. Она хочет сама распоряжаться своей жизнью. И смертью.

Уже давно я от нее слышала, что если жить становится невтерпеж, то «есть способ». Самый обычный — женский, наглотаться таблеток и уже не открывать глаз. Так сделала ее эксцентричная подруга, бывшая музой Маяковского.

Об этой сверхъестественной женщине я написала большую статью еще в то время, когда ее имя было забрызгано грязью и каждый норовил сказать о ней какую-нибудь гадость. Я написала статью, ободренная моей Старшей Подругой, она меня благословила. А потом благословила написать о Музыканте, которого высоко ценила, — с ним и его писаниями никак не могли примириться на родине. Помню ее

слова: «Пиши, Кира, нужно чтобы среди этого собачьего лая прозвучало хоть одно человеческое слово».

Господи, спасибо тебе, что она жива!

Вздыхнув, открываю страницу с начатой рецензией на дурацкую книгу-альбом, но тут же ее закрываю. Не могу сейчас об этом. Не могу.

А о чем могу?

* * *

Первый раз мы посетили Грузию с сестрой, и было это еще в ранние студенческие годы. Тогда существовал туристический автобусный маршрут, пролежавший через несколько грузинских городов и старинных монастырей.

Тогда мы впервые увидели древнюю Мцхету, с ее величавым собором Двенадцати апостолов, Светицховели, что означает по-грузински «животворящий столп». По преданию, в его основании лежал Хитон Господень, принесенный из Иерусалима одним еврейским раввином. Там же, вместе с Хитоном, покоилась молодая сестра раввина, Сидония, при виде святыни испутившая дух и так и не выпустившая ее из своих рук. На ее могиле возрос животворящий столп — могучий, источающий елей кедр. Вокруг него и выстроили храм.

От того первого посещения осталось в памяти несколько сцен. Мы с Лерой (Лера — моя сестра) идем по тропинке и внезапно останавливаемся. На пути ручей, бурный, звенящий, видно, бегущий с гор. Через него перекинут мостик — тоненькая жердочка. Ни Лера, ни я пройти по этому утлому мосточку ни за что не решимся. Остановились, уже думаем повернуть назад.

Как вдруг откуда-то, мы даже не понимаем откуда, выходит пожилая женщина в черном, с нею небольшая девочка-подросток. Они делают нам какие-то знаки, машут приветственно и что-то кричат по-грузински. Мы показываем, что не понимаем. Потом пожилая и юная приносят откуда-то каждая по длинной доске. Девочка, поставив ногу на хилый мостик, кладет с ним рядом сначала свою доску, а потом бабушкину. Но доски не держатся там, где их положили; течение их относит, и они уходят в свободное плавание. Спасибо милым грузинкам за желание помочь. Они на той стороне, мы на этой — машем друг другу и кричим на двух языках что-то хорошее, ободряющее и дружеское.

И еще одна сценка.

Идем с сестрой по улице Мцхеты, две похожие черноволосые девушки, разговариваем по-русски с узнаваемым московским аканьем. Догоняем маленькую старушку с корзинкой в руке, в корзинке чудесные спелые сливы.

— Простите, ваши сливы не на продажу?

Старушка смотрит на нас, прищурившись.

— Я, красавицы, вам их так отдам.

— Нет, мы за так не хотим, мы бы купили.

— Тогда пойдете, я здесь живу недалеко, покажу вам кое-что.

Мы идем до старушкиного крошечного домика. По дороге она рассказывает себе, что она вовсе даже не грузинка, а еврейка, одна из немногих оставшихся в городе. Евреи, по ее словам, жили во Мцхете еще со времен разрушения Первого Храма и вавилонского пленения. С виду, однако, ее легко принять за грузинку, как, впрочем, и нас с сестрой. Интересно, признала ли она в нас своих? Она смотрит на нас хитроватым пронизательным взглядом, предупреждает: «Слива в этом году уродилась, как никогда, только это опасный сорт. От этих сладких вкусных слив сразу побежишь в одно местечко, хватит двух-трех — и готово». А показать

ей было что: стены ее бедного, похожего на украинскую мазанку жилища сплошь были покрыты картинами, поражающими своим ярким, насыщенным колоритом, словно это были не картины, а цветные восточные ковры. Были они написаны масляными красками в духе наивного искусства и веселили глаз и душу. Мы спросили, чьи это картины, оказалось — ее. Увы, имени неизвестной художницы я не запомнила. А сливы она отдала нам за так, наотрез отказавшись брать деньги.

* * *

Сажу за компьютером в какой-то полудреме, все что-то грезится, вспоминается, разматывается...

Может быть, впечатления, полученные в древней Мцхете, натолкнули меня на мою тему, когда я начала думать о диссертации? Грузинская и армянская поэзия в какой-то степени сублимировали для меня всякую «другую», отличную от русской поэзию. В этот круг входила и поэзия еврейская. Но брать для научной работы «еврейскую тематику» было нельзя, а грузинскую и армянскую — можно. И я взяла их с радостью, предвкушая открытия, и они не задержались. Как же было интересно читать поэму Шота Руставели в различных русских переводах, какая она оказалась удивительная по красоте и мыслям, как созвучны были ее идеи единства и дружбы людей из разных стран моему интернациональному настрою!

Была эта поэма, написанная гениальным поэтом в XII веке, отчасти восточной по своему сюжету. Сам автор говорит о ней во вступлении (цитирую в переводе Николая Заболоцкого): «Эта повесть, из Ирана занесенная давно...»

Действительно, основа сюжета просматривается в легендах об арабо-персидских «медждунах», влюбленных безумцах, теряющих рассудок как в присутствии любимой, так и вдалеке от нее. Но в той же строфе Руставели продолжает: «Спеть ее грузинским складом было мне лишь суждено». Поэма несет явный грузинский отпечаток. Мне приходит в голову одна «обратная аналогия». Когда мой оппонент Тамара Георгиевна приезжала в Москву, я приглашала ее к себе, и мы с сестрой, бывало, для нее пели.

Как-то мы затянули одну так называемую «грузинскую песню» с залихватским восточным припевом.

Тамара Георгиевна поморщилась, покачала головой.

— Это не грузинская песня, азербайджанская.

— Но почему, в ней поется про Тбилиси!

— Ну и что, эту песню сочинил не грузин, в ней другая гармония.

И сейчас я хорошо понимаю, что имелось в виду. Очень отличается по своему складу грузинская поэма от всевозможных вариаций «Лейли и Медждуна», отличается так же, как грузинский рыцарь-миджнур от арабского медждуна.

Когда-то в тбилисской хачапурной милый человек сказал мне, что бежал за мной, как охотник за газелью. Нет, не грузинское это сравнение, скорее восточное, персидское или азербайджанское.

Так мог бы сказать Саят-Нова...

Почему не уходят из памяти даже мелочи, даже детали тех тбилисских дней?

XII век — время создания перла русской литературы «Слова о полку Игореве». Грузинская и русская поэма легко поддаются сравнению. Но главное сопоставление, весьма для меня тревожное, пришло мне в голову совсем недавно, когда я по ТВ слушала прекрасные лекции профессора-лингвиста, доказывающего, что «Слово» не поздняя фальсификация, а создание гения XII века. Всплыли мои сомнения

еще студенческой поры, когда я познакомилась с работами о «Слове» филолога З., затравленного собратьями.

Почему приходится доказывать подлинность поэмы? Да потому, что рукопись не сохранилась, поэмы никто не знал вплоть до XVIII века, когда произошло ее внезапное открытие. Почему ни в одном древнем памятнике нет к ней отсылок? Вопрос о «Задонщине», написанной якобы под влиянием «Слова» в XIV веке, до сих пор считается спорным и дискутируется. Но ведь именно конец XVIII века, эпохи преклонения перед национальным эпосом, породил грандиозные мистификации: кельтские сказания Оссиана — создание шотландца Макферсона, чешский эпос, сработанный талантливым и патриотичным Ганкой... А хитроумный француз Мериме сумел провести даже Пушкина, поверившего в подлинность «Песен западных славян»...

Все сказанное легко перенести на «Витязя». Уж не был ли его автором царь Вахтанг VI, впервые издавший поэму в 1712 году? И кто скажет, где та рукопись, по которой он издал «Витязя»? Эти мысли для меня неприятны, тягостны. Хорошо бы кто-нибудь сумел меня убедить, что мои сомнения не основательны, уж больно прекрасны и глубоки обе поэмы, и так приятно и привычно иметь их у истоков национальной словесности.

Рае я, естественно, про свои сомнения не говорю. Она знает от меня, что поэма Руставели написана в XII веке, в эпоху грузинской царицы Тамар. А любимый нами обеими Окуджава, писавший про свою возможную смерть «от любви и печали», продолжал традицию великого предшественника, чей герой Тариэл тоже умирал от любовной напасти. И умер бы, если бы не помощь двух иноплеменных друзей.

* * *

Недавно Поэтесса из Филадельфии сказала мне по телефону, что знает только одного поэта, которого при жизни не публиковали, — Эмили Дикинсон.

— Постойте, — сказала я, — дайте подумать, — и в ту же секунду вспомнила еще одно имя — Николоз Бараташвили. Когда Илья Чавчавадзе издал в 1876 году сборник его стихов, бедного поэта уже больше тридцати лет как не было в живых. Он умер, не дожив до двадцати восьми, грузинский Лермонтов.

Почему-то именно мне предложили выступить на стадионе перед участниками и гостями конференции. Не то чтобы выступить с приветственным словом или с докладом — для этого нашлись другие люди, — а со стихами какого-нибудь из грузинских поэтов, разумеется, в русском переводе. Наверное, добрейшая Тамара Георгиевна как устроитель конференции этому поспособствовала.

Лихорадочно стала думать, что прочитать. Может, «Мерани» Бараташвили? Не что типа лермонтовского «Паруса», где вместо паруса как символ непокая и борьбы с роком выступает волшебный конь грузинских легенд Мерани. У этого стихотворения было два замечательных перевода, выбранных мною из целой книги его русских переложений, — Михаила Лозинского и Бориса Пастернака. Какой из двух? Плохо было то, что книги с собой у меня не было. Вспоминала по памяти. Кажется, выбрала перевод Лозинского, более экспрессивный. «Мчит-несет меня без пути-следа мой Мерани. Вслед доносится злое карканье, окрик враний...» У Пастернака было все намного спокойней и размеренней: «Стрелой несется конь мечты моей. Вдогонку ворон каркает угрюмо...» Когда вышла на огромную сцену, строчки Пастернака начали цепляться за строчки Лозинского, путали, мешали, сбивали с дыхания. Я остановилась. Передо мной в жарком мареве колыхался ста-

дион, заполненный людской массой. Ждали, что я продолжу. Одинокaя веточка микрофона сочувственно призывала: читай. Но я не могла. В голове не было ни одной неперепутанной строчки. И я ушла со сцены, безнадежно махнув рукой.

Подошли ленинградцы. Утешали. Магнетическая женщина сказала: «Ничего, бывает, не расстраивайтесь». Долговязый Толя буркнул, что в мире нет совершенства и посему что-то у меня должно было не получиться. Ученый подошел последним, сказал: «Не хотите прогуляться?», и мы ушли с праздника, не дождав-шись его завершения.

Гуляли вокруг стадиона, и я хорошо помню все, что он говорил. «Вот вы, — он посмотрел на меня, потом снял очки, начал их протирать, надел и снова на меня взглянул, — вот вы выбрали для чтения мятежные стихи поэта-романтика. Зачем? Лучше бы читали его лирику, она истиннее. В ней преклонение перед красотой, а не призыв бороться с судьбой. Зачем человеку борьба? Не лучше ли жить в гармонии с миром, самим собой, природой?»

— Не всегда так получается. Приходится за что-то бороться. Бараташвили любил и ждал любви, а она — Екатерина Чавчавадзе — его не любила. Должен он был бороться за любовь?

— Странно, если она его не любила, зачем тогда бороться? Вот он и погиб так рано... из-за бесплодной борьбы.

Глаза его смеялись.

— Шутите?

— Понимаете, я ученый, психолог, у меня много идей. Если я начну сейчас бороться со всеми — с дебилом директором, с глупым академиком, с сотрудниками... что из этого выйдет? Я не смогу делать свое дело, все уйдет в борьбу. А я хочу работать.

— Вы раздражаете начальство одним своим видом, вам все равно придется бороться, хотя бы за ношение вашей униформы, — я показала рукой на его джинсовый костюм. — Наш директор способен стащить вас с трибуны из-за него.

— Но ведь не стащил. Главное, как держаться. Если ты наработал авторитет, к тебе не будут особенно приставать. Послушайте, почему вы все время отворачиваетесь? Я хочу на вас смотреть.

Наверное, я вспыхнула, а он опустил глаза и не глядел на меня. А потом вдруг сказал:

— Я хотел другое спросить: почему вы не носите кольца? Вы ведь замужем.

Я обомлела. Откуда ему известно, замужем я или нет. Хотя об этом знают и Тамара Георгиевна, и мои коллеги. Значит, наводил справки?

— Вы считаете, я совершаю преступление, что не ношу кольца?

— Серьезное, — он снова смеялся, — вы вводите холостых мужчин в заблуждение. Впрочем, — он подошел, осторожно взял мою ладонь: — Вы разрешите? — и продолжил: — У вас слишком тонкие пальцы, кольца для них нет в природе.

— Но обручальное кольцо у меня есть, хранится дома в шкатулке. Боюсь потерять.

— А муж у вас ревнивый?

— Не знаю. Стараюсь не давать ему поводов для ревности.

— Никогда-никогда?

— Никогда.

Наверное, ответ мой прозвучал слишком жестко; он внимательно, без улыбки, на меня взглянул.

Я не отвела взгляда. И было похоже, что что-то легкое, невесомое беззвучно от нас отлетело.

* * *

Наш директор настоял, чтобы после конференции нас повезли на родину Сталина, в Гори. Общаясь с Тamarой Георгиевной, я знала, что грузинская интеллигенция ненавидит вождя-грузина, по чьему приказу был уничтожен цвет грузинских фамилий. Все оказалось не так однозначно. Высоченный памятник Сталину, возвышавшийся на высоченном постаменте над городом, был завален цветами. Желающие посетить помпезное, с колоннами, здание мемориального музея. Ни я, ни Ученый в музей не пошли, отправились гулять по городу.

— Вы считаете, что с этим тоже не нужно бороться? — я указала рукой на громадный памятник, оставшийся позади.

— Этот памятник рано или поздно снесут, слишком велики преступления этого человека, слишком кровавы и жестоки. А насчет бороться... я не вмешиваюсь в политику. Пусть холуи, если им угодно, несут к памятнику цветы, целуя руку, подписывающую расстрельные приказы для их отцов. Меня это не касается. Это прошлое.

Сейчас, когда я вспоминаю эти слова, вижу, что Ученый был неправ. Призрак Сталина продолжает сопровождать российскую жизнь, вмешиваться в нее и требовать кровавой дани.

А сам Ученый — где-то он сейчас? Уехал или вопреки всему продолжает трудиться на родине над своими научными проблемами? Как сложилась его жизнь? Удалось ли ему избежать борьбы? Тогда, гуляя по Гори, мы разговаривали с ним почти враждебно. Как два человека, сначала потянувшиеся друг к другу, а потом что-то для себя решившие.

Был он в тот раз серый, хмурый, словно невыспавшийся. И мне даже показалось, что пахло от него спиртным.

* * *

За окном стемнело. Я сижу у померкшего экрана компьютера в своем полусне-полубодствовании.

Слышно, как внизу, в кухне, Сережа гремит кастрюлями, разогревает еду. Нужно бы спуститься, но нет сил. По щелканью компьютера понятно, что пришло несколько писем, но и их я не могу смотреть. Видно, придется дотянуть эту туго разматывающуюся ниточку до самого конца.

Переписка? Была, была переписка. Не очень живая, с перебоями, но была. Сережа косился на конверты из Ленинграда, я говорила: «Это тот, ученый, помнишь, я тебе рассказывала?» — и уходила в ванную или кухню читать письмо.

Письма были обычные, то есть ничего в них не было странного, необъяснимого. А я вспоминала наше ночное фантастическое хождение по Тбилиси, рассвет на горе, двух ангелов за спиной — и не могла найти объяснения этому чуду. Как такое могло быть? Может быть, все это мне приснилось? Ну да, гора, она существует, называется Мтацминда. Там похоронены выдающиеся люди Грузии. И наш Грибоедов.

Удивительно, что его девочка-вдова была родной сестрой Екатерины Чавчавадзе, которую любил Николоз Бараташвили. Голубоглазой Екатерине подарил он тетрадь со своими стихами — счетом тридцать шесть плюс одна поэма «Судьба Грузии». А Екатерина через много лет передала эту тетрадь со стихами своему родственнику, поэту Илье Чавчавадзе. И тот их напечатал. И если бы Бараташвили был жив, то проснулся бы знаменитым. Но ушел он рано, даже слишком рано; мо-

жет, и вправду слишком много сил положил на борьбу, как шутя предположил Ученый?

Екатерина предпочла бедолаге чиновнику князя Даддани, а Нина после смерти Грибоедова замуж не вышла, не захотела, хотя желающих было много.

Нина Грибоедова...

И вдруг мне приходит в голову, что еще вчера вечером я вертела в руках листочек со стихотворением о ней. «Молитва Нины». Куда я его запихнула? Вынимаю листочек из дальнего ящика. Сколько же ему лет? Не меньше двадцати, чернила выцвели, бумага пожелтела. Писала я его в Италии в тяжелую минуту, когда шел вопрос, как жить дальше. К тому времени наша переписка с Ученым давно прекратилась, но грузинская тема меня не отпускала.

Молитва Нины

Святая горлица моя,
Сегодня твой покров мне нужен.
Там, в Тегеране, знаю я:
Случилось что-то с милым мужем.

Мне ничего не говорят,
В Тавризе жизнь проходит чинно.
Посольского двора квадрат
Да крик протяжный муэдзина.

Но наплывает смутный шум,
Как звук прибоя нарастая.
Мой муж, России лучший ум,
Один среди этого раздрая.

Во мне растет его зерно,
Комочек бедный мал и тонок.
О Александр, твоя Нино
Сама еще почти ребенок.

Здесь ни друзья и ни враги.
Кругом — одни чужие лица.
Святая Нина, помоги!
В злой час кому еще молиться?

Но если участь суждена
Погибнуть мужу и дитяти,
Я выстою, Его жена, —
Одна поеду на осляти.

Странное чувство, что написано это не мной; наверное, так мать смотрит на сына, приехавшего ее навестить через много лет: и похож, и не похож, вроде совсем чужой, но и брезжит зыбко что-то родное, какое-то оставшееся от детства выражение.

Почему-то начала думать, что бы сказал об этих стихах Ученый. Мне кажется, он бы их одобрил. Не стал бы придираться к последней строке и говорить, что

Нина Чавчавадзе, хоть и принадлежала к княжеской семье, комплексом «избранничества» не страдала, была «всегда скромна, всегда послушна, всегда, как утро, весела». Вранье. Так пишут в учебниках и в житиях. Уверена, что он бы одобрил стремление моей Нины встать вровень с Богородицей в какой-то очень страшный и драматический момент ее жизни.

Ученый бы одобрил, ведь он любил Пастернака, который, когда писал о Христе, думал о Живаго... и о себе. Моя Нина молится своей небесной покровительнице, святой Нине. Что мы о ней знаем? Прочитав «Житие святой Нины», разве поймешь, какой она была, как выглядела?

Одно время я хотела написать о ней, о ее человеческой жизни. Но слишком далеко от нас IV век, слишком мало до нас дошло живых подробностей, только легенда. Отец Завулон, мать Сусанна, родилась в Каппадокии, девочкой с родителями пришла в Иерусалим. Здесь родители занялись служением Господу, а Нина (на иврите это имя обозначает «правнучка») загорелась желанием найти Хитон Господень. Воспитательница сказала отроковице, что Хитон был куплен у римского солдата (ему он достался по жребию) мцхетским раввином, левитом Элиозом и увезен им с собою в Иверию. И Нина решила отправиться в Иверию, именуемую Уделом Божией Матери. Перед отходом было ей видение: Дева Мария вручила ей крест из сплетенных виноградных лоз. Нина поцеловала крест из лозы — и отправилась в путь.

В Иверии одной из первых уверовала в Христа дочь настоятеля мцхетской синагоги первосвященника Авиафара. Был Авиафар, впоследствии также принявший святое крещение, правнуком того самого Элиоза, который купил в Иерусалиме и привез во Мцхету Хитон Господень... А на месте погребения Хитона Господня и дочери человеческой, не пожелавшей выпустить его из рук, молитвами святой Нины был воздвигнут храм Светицховели.

В рассказе о равноапостольной Нине совсем нет подробностей. Пожалуй, только та, что одно время жила она на окраине города в шалаше под ежевичным кустом. Ежевичный куст и шалаш — да, это настоящие осязаемые подробности. Каково ей было среди чужих людей? Чужого языка? Чужих — языческих — богов: Армаза, Задена, Гаца, Гаима? Как выглядела святая Нина? Во что была одета? Что говорила людям? Ничего этого мы не знаем. Но внешне я хорошо ее представляю. Она похожа для меня на еврейскую женщину из Мцхеты, художницу, несшую в корзинке чудесные спелые сливы и одарившую ими нас с сестрой.

* * *

Перед тем как спуститься вниз, решила все же взглянуть на почту.

Пришло три письма: от Раи, от Музыканта и от Франческо. Я начала с последнего. Написано оно было поздней ночью и гласило: **«Кира, если я поеду в Россию? Или в Америку? Как ты думаешь?»**

Написала в ответ: «Можно попробовать. Поищи для себя работу!»

Я была уверена, что работать он не сможет, но, занимаясь поисками, хоть на время, уйдет от своего страха, от своей депрессии.

Музыкант писал: **«Что вы узнали об А.»**

Правильно он мне напомнил, я совсем забыла, что обещала ему сообщить об А. Быстро написала:

«Она наглоталась снотворных таблеток. Но осталась жива. Отбивалась от приехавших санитаров, так как в том мороке сознания, в котором находилась, приняла их за франкистов. Дай Бог ей жизни!»

В ответ пришло краткое: «**АМИНЬ**».
Письмо от Раи тоже было коротким:

Кира
Миша писал, что видел два анджела на горе в Тифлисе. Эта причина любви к Грузии. Я правильно употреблял родительный и предложный?
Спасибо
Рай

Рае я не стала отвечать, отложила на завтра. Закрывает компьютер, спустилась вниз. Сережа спал в кресле у включенного телевизора. Накинув на ходу куртку, я выбежала на крыльцо.

Над головой светили звезды, дул влажный весенний ветер, пахло пробуждающейся землей, раскрывающимися почками, вылезавшей на поверхность травой. В природе начинался новый цикл. Тихо-тихо, почти шепотом, чтобы не разбудить Сережу, я запела «Грузинскую песню». «Виноградную косточку в теплую землю зарюю...»

Многовековые напластования человеческой породы — от святой Нины до Булата Окуджавы — спрессовались и отпечатались в ней, человеческие голоса с древних языческих времен по наше сегодня вошли в нее переливчатым эхом и отражением.

«И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву...»
Я пела — и на душе становилось все светлее и печальнее.

Глава вторая. Остаться в каньоне

Четверг

Утром, когда я встала, погода хмурилась, сразу подумалось, что погулять не удастся. Если только вечером выйдем с Сережей, после урока. Сегодня у меня Грета Беккер. Она приходит по четвергам раз в две недели, к шести часам. Заниматься начала совсем недавно, у нас только шестой урок. Но заинтересовала она меня очень. Так заинтересовала, что я подарила ей свою книжку с рассказами. И что же? Она ее свободно читает, а в тетради выстраиваются столбики незнакомых ей русских слов и выражений. Все-таки есть еще что-то, чего она не знает, хотя и училась русскому в двух университетах: на родине в Германии, потом в Вене, а после еще совершенствовалась на курсах в России.

К сегодняшнему уроку я попросила ее прочитать рассказ «Бурь-погодушка» и сверить его с английским переводом. Перевод делали два моих ученика, друг за другом. Сначала Джен, а после того, как она пропала, Бобби. В итоге он тоже куда-то исчез. Не знаю, связано ли это с рассказом, но двое моих учеников, его переводивших, исчезли в неизвестном направлении.

Хотя «неизвестное направление» неточно сказано, направление-то известно. Джен исчезла в Большом Каньоне. А Бобби уехал на родину — в Колорадо. Вроде бы никакой фантастики... Главное, что я не успела подготовиться к их исчезновению, вернее, уходу. Казалось, мы хорошо занимались, с обеих сторон втянулись в работу, ученики мои делали явные успехи, продвигались вперед — и вдруг...

В один прекрасный день Джен на урок не явилась. Нет, даже не так. Просто не позвонила после лета, не возобновила прерванных на летние месяцы занятий. А

поскольку 22 июля, в день своего рождения, она собиралась побывать в Большом Каньоне, у меня в голове сложилась легенда, которая затем укоренилась в сознании членов моей семьи и некоторых учеников, что Джен из каньона не вернулась... Ну а Бобби — сорвался и уехал к себе в Колорадо, прямо посреди года и посреди наших занятий. О причинах он мне не говорил. Возможно, его уволили из компании, где он работал.

Так что некоторая фантастика во всем этом все же присутствовала.

Набираю на компьютере «Большой Каньон» и читаю статью в Википедии:

Большой Каньон расположен на территории Аризоны. К югу от Аризоны находится Юта, к востоку — Нью-Мексико, на западе — Калифорния. В Аризоне ландшафт пустынный. Большой Каньон образовался около 5–6 млн лет назад в результате движения земной коры. Плато Колорадо поднялось, река стала течь быстрее и агрессивнее вымывать породу: известняк, сланцы, песчаник. За сутки река Колорадо уносит в море около полумиллиона тонн горных пород. Длина каньона 446 км, ширина колеблется от 6 до 29 км, глубина — до 2 м. На территории Большого Каньона живут индейцы: навахо, хавасупай и хуалапай. Резервация навахо самая большая из индейских резерваций в Америке. В ней проживает примерно 174 тыс. индейцев навахо, что составляет только 58 % всех навахо, живущих в стране. Продажа алкогольных напитков на территории резервации запрещена. Нация навахо управляется президентом, избираемым раз в четыре года. На территории резервации всегда летнее время (штат Аризона время не переводит). Нация навахо установила, что любой человек, имеющий, как минимум, четверть крови навахо, может записаться гражданином навахо и получить СЕРТИФИКАТ ИНДЕЙСКОЙ КРОВИ.

Дочитываю последнюю строчку — и странная мысль приходит мне в голову: Джен решила остаться с навахо. Гоню ее от себя, а она не уходит. Бывают же наваждения!

* * *

Хожу взад-вперед по терраске и думаю о Джен. У нас с ней были замечательные занятия. И мне казалось, что нам обеим на них интересно. Могла она просто так прервать занятия? Уйти, не оглянувшись и не позвонив? А почему бы и нет? Сколько раз и именно здесь, в Америке, я замечала, что люди уходят не простившись.

Вот прошел очередной урок, все вроде было нормально, ничто не предвещало обрыва связи, но в следующий раз студент — так здесь называют ученика — не является. Ты можешь ему написать по электронной почте — он ответит вежливо какую-нибудь ерунду или оставит твое письмо без ответа. Но лучше не писать. Лучше сказать себе: что ж, значит, это конец. Он (она) был (была) хорошим студентом, но у каждого свои планы, и необязательно посвящать в них тебя. Для тех, кто рвал любовные связи, в таком расставании нет ничего нового. Ушел — и баста. А что там сзади — какая разница?

Читала, что так уходил от своих друзей Толстой, они переставали его интересоваться, он становился другим, а они — нет, и он уходил к новым людям, уходил не оглядываясь.

Так что же, получается, что наши занятия ей надоели, были больше не нужны? Что ей уже нечего было у меня взять? А почему бы и нет? Она овладела языком в университете, пришла к тебе совершенствоваться. Вы с ней занимались три года. Куда больше? И ведь все эти годы она платила тебе деньги, небольшие, но если посчитать, сколько недель в этих трех годах, и помножить на твой почасовой

«рэйт», получится, скорее всего, весьма внушительная сумма, даром что ты не дружишь с математикой и подсчитывать все равно не будешь.

У Джен семья, с тобой она занималась «от делать нечего», для души. Но... Конечно, конечно, ты хочешь сказать, что вы с Джен подружились, что она рассказывала тебе о своей работе, о своих путешествиях, о своем муже и девочках. А ты приглашала ее на презентации своих книг, делилась впечатлениями от американской жизни. Она взялась переводить твой рассказ. Вы вместе над ним работали, шлифовали, думали, куда бы его послать... Но все это вещи необязательные, стоит ли за них платить деньги? Ну хорошо, а если она... пропала? Но это несерьезно, куда мог пропасть взрослый человек? И не в России, а в Америке? Хотя... Америка, как и Россия, страна чудес. К тому же... Ты хочешь сказать, что Джен была необычный человек, с большой долей эксцентричности? Это правда.

Она была наполовину индианка, и это было написано на ее лице.

Настоящая индейская женщина. Навахо? Может быть. Типичная индейская женщина, с похожими волосами, цветом кожи, разрезом глаз, носом, скулами. Она родилась в штате Нью-Мексико. Отец у нее был испанец, да, да, она говорила, что настоящий испанец — из Испании, а мама — индейская женщина. Она никогда не говорила, из какого племени ее мама.

А экстравагантностей у нее было хоть отбавляй. Она ни разу не пришла на урок вовремя. Опоздания достигали и двух, и трех часов. Иногда она не приходила и звонила в тот момент, когда наш урок мог быть уже на середине: «Я не приду, у меня вечерняя работа». Или: «Не приду, у девочек собрание». Или: «Не приду, ищу новую няню». Или: «Не приду, мой муж не вернулся с дежурства». Или: «Не приду, я уезжаю в Индию». Или... отговорок у нее было не счесть. Но и обязанностей тоже, поэтому-то я всегда считала, что она не врет. У нее были две школьницы-дочки, муж — медицинский резидент последнего года и собственная работа, отнимающая много сил и нервов и требовавшая командировок. Опоздания были свойством ее натуры и бичом. За опоздания ее не раз увольняли с работы, начиная со студенческих лет. Ее первая работа была — официантка в баре, и уволили ее едва ли не на следующий день: она явилась с получасовым опозданием.

Джен, по всей видимости, была программистом от Бога, но в компаниях, где она работала — а сменила она их уйму, — у нее постоянно возникали проблемы. Главная, как я поняла, в невозможности коммуникации; трудно было уразуметь, она ли не выносили сотрудников, они ли ее, но вместе работать не получалось. Поэтому Джен всегда сидела или одна за столом, или одна в комнате. Для меня осталось загадкой, кто требовал ее отделения — коллеги или она сама. В конце концов ее стали посылать в командировки, где она должна была консультировать новичков. Она ездила в какие-то дальние штаты, несколько раз была в Индии, куда многие американские компьютерные компании перенесли свои филиалы.

Путешествовать Джен любила, и это при том, что была больна, — о чем я узнала случайно. Заметила у нее на левой руке кожаный ремешок и поинтересовалась, что это. Джен спокойно ответила, что ремешок служит для инъекций инсулина.

— Так у тебя диабет?

— Да, у меня диабет.

И больше на эту тему мы не говорили.

В ранней юности, в конце 1970-х, она совершила путешествие на Кубу. Это было время «холодной войны», она едва ли не одна летела в самолете, и ей казалось, что за ней следят.

На Кубе ей тоже казалось, что за ней следят — в отеле, на улице, в кафе. Скорее всего, так оно и было. Узнав, что она американка, прохожие удивлялись и отходи-

ли. Зато русский язык, который она уже начала изучать, ей очень помог. Русская речь слышна была в Гаване повсюду. От тех дней у нее остался альбом с зарисовками, а в памяти — почти ничего, один-два эпизода. Города она почти не видела.

— Зачем тебе нужно было это путешествие?

— Я была тогда радикалка, американская жизнь казалась мне и моим друзьям слишком буржуазной. Я хотела увидеть какую-то иную жизнь.

— Увидела?

— Нет, так и не увидела. Помешал страх.

В то же время я дивилась ее смелости и даже какой-то отчаянности.

А сколько было у нее увлечений, дел, обязанностей!

Она ездила восстанавливать Нью-Орлеан после ужасающего наводнения, ездила на свои средства, по своей охоте. Строила там дом для пожилой афроамериканки, лишившейся жилья, сама начертила проект, закупила материалы, уехала только когда дом был готов...

Она состояла членом Научной церкви, ходила на службы, вместе с тем посещала лекции по философии в Гарвардском университете.

Она была попечительницей в школе, где учились ее девочки, и воевала с тамошней администрацией. Один раз до того, что пришлось взять одну из дочерей из школы.

Она училась играть на флейте и в воскресные вечера играла в ирландском пабе с еще несколькими музыкантами-любителями. Приглашала меня послушать, но я так и не выбралась.

Она была костюмером и декоратором профессионального театра, дающего представления у нас в Большом Городе. Какие только постановки ей не пришлось оформлять — от современной комедии до мистерии о Дракуле. Какие только бросовые вещи она не использовала для своего оформления. Для костюма Дракулы я подарила ей присланную мне одной чудаковатой дамой из Солт-Лейк-Сити вязаную накидку с торчащими из нее перьями. Как же она обрадовалась!

Она делала квилты, коврики ручной работы из кусочков разных тканей, — едва ли не единственное ремесло, рожденное в Америке. Правда, по словам Джен, это ремесло подхватили, по своему обыкновению, японцы и, опять же по своему обыкновению, превзошли в нем зачинателей. А уж Джен хорошо разбиралась в этом деле, она участвовала в художественных выставках и приносила мне альбомы с образцами своих и чужих работ.

Нет, Джен была необыкновенной женщиной. Она могла, могла остаться в каньоне, бросить все, расплестись с прежней жизнью — получить сертификат индейской крови и сделаться гражданкой нации навахо.

* * *

После обеда дождь кончился, и я решила сходить в местный магазин за кое-какой провизией.

Как пойти? Можно было идти прямо вдоль шумной магистрали, но я предпочитала обходной путь по безлюдным улочкам нашего городка. Этот путь занимал примерно вдвое больше времени, но все же я пошла в обход. Наша часть города, соседствующая с горой, представляет собой неровный гористый рельеф, и шла я то вниз, то вверх мимо деревянных двухэтажных домиков, окруженных лужайками, где уже зазеленела первая трава, а кое-где уже вылупились и сиротливо притулились синие цветочки, похожие на полевые. В мае на лужайках зацветут высаженные маки, тюльпаны и нарциссы и вдоль дороги будут попадаться цветущие дере-

вья с белой, фиолетовой и рыжей кроной. Не знаю и никогда не узнаю их незнакомых названий. А вот это дерево, стоящее возле красивого красного домика, мне хорошо знакомо. Это голубая ель, высокая и необъятная в объёме, словно чайная баба в широких юбках.

— Здравствуй, — я касаюсь пальцами еловой ветки, сегодня она слегка колючая, а бывают дни, когда еловая ладошка совсем неколючая, дружелюбная.

— Здравствуй, моя красавица! — приветствую ее шепотом. Возможно, местные старые леди, наблюдающие за редкими прохожими из окон (не знаю, существуют ли они на самом деле), смотрят на мое рукопожатие с елкой с недоумением. Я стараюсь не замедлять возле нее шага, пожимаю ей мохнатую лапку и быстро иду дальше.

Возле нашего дома в Америке мы сразу же высадили голубую елочку, хоть и плоховато было у нас с деньгами, а она стоила целых семьдесят долларов. Пока наша елочка маленькая, но, когда я работаю за столом, пишу или читаю, могу видеть ее из окна. Елочка мне — как близкий человек, как те лица, что встречаются на российских улицах.

Когда после Америки приезжаешь в Москву, кажется, что все люди, проходящие мимо, тебе знакомы, у них узнаваемые лица. Правда, сейчас Москва становится все больше азиатским городом, в ее толпе масса восточных лиц. А про елочку вспоминается еще вот что. В Италии Сережа работал в университете города А., и однажды, в пору летних каникул, он показал мне свою тогда пустую лабораторию. Лаборатория как лаборатория: стол, вытяжка, окно. Из окна видна роскошная пальма. Увидела я эту пальму — и тоскливо мне стало, подумалось: если видеть эту пальму каждый день, можно сойти с ума. Вот и высадили мы в Америке елочку под окнами. Родственное дерево.

Наш супермаркет называется «Ханафорд» — по фамилии своего основателя, начинавшего с торговли зеленью с тележки. Сейчас это огромный магазин без особых претензий. Он расположен рядом с центральной улицей, так что здесь всегда много людей. Напротив него возвышается большая краснокирпичная синагога. О характере здания говорит звезда Давида, вывешенная на фасаде. Я приветственно машу могоендоведу рукой.

Удивительное совпадение: наше жилище и в России, и в Италии, и в Америке каждый раз располагалось поблизости от синагоги. Для набожных евреев это был бы подарок, ведь в субботу они не имеют права добираться до синагоги на машине или на общественном транспорте, только пешком. Мы же евреи не только не набожные, но и очень далекие от еврейского обряда. Синагога, в отличие от супермаркета, стоит одиноко, ее не окружают машины, возле нее не снуют люди. Ни разу за все время я не обнаружила, чтобы кто-то сюда входил или отсюда выходил. Чудеса. Это очень напоминало синагогу в А., стоящую в лесах все семь лет нашей там жизни, сколько я ни стучала в тяжелую ее дверь, никто мне так и не открыл. Впрочем, стучала я в дверь из любопытства, а не из надобности. В А., как говорил нам наш друг, католический священник дон Агостино, после последней войны осталась лишь горстка евреев... В Америке же, по статистике, евреев больше, чем где бы то ни было, больше, чем в Израиле, где их около шести миллионов. Зато в России их число заметно сократилось; если я правильно помню, там их теперь чуть больше двухсот тысяч, 0,1 % от всего российского населения.

Купив связку бананов, четыре греческих и два немецких йогурта, пристаиваюсь к кассе. Народу много, но касс достаточно, чтобы очередь шла быстро. В этом магазине работают в основном латиносы и темнокожие. Обычно я быстро завожу дружбу с какой-нибудь кассиршей и потом хожу уже только к ней — так

было и в России, и в Италии, и в Америке — до нашего переезда на новое место. Но на новом месте за все три года жизни в этом городке я так и не нашла для себя своего кассира.

В «Ханафорде» большая текучесть, каждый день работают разные люди, и хотя они по привычке улыбаются покупателю и задают обычный вопрос: «How are you?» — прекрасно видно, что им на покупателя наплевать.

Вот и эта молодая латиноамериканская девушка-кассир с огромными висячими серьгами смотрит мимо меня, куда-то в сторону. Складывая мои продукты в целлофановую сумку, она вдруг неожиданно произносит нечто незапрограммированное. От неожиданности я переспрашиваю: «What?» Она повторяет. И опять я не понимаю: у нее каша во рту, да и не ждала я здесь никаких вопросов. Отрицательно качаю головой, вспоминая, что несколько раз нам с Сережей пытались навязать на кассе какие-то благотворительные билеты. Она смотрит на меня с недоумением. Я беру свою сумку и выхожу из магазина.

Иду мимо парковки, снова киваю моголеноведу, и в голове постепенно из разрозненных кусков составляется вся произнесенная ею фраза: «Did you find everything you were looking for?» Это она спросила меня, нашла ли я все, что хотела в их магазине. Господи! А я, как дура, не смогла ничего нормально ответить.

И я поворачиваю назад. Подхожу к кассе с девушкой с серьгами — она обслуживает сгорбленную седую старушку в джинсах, — говорю: «Excuse me, — она поворачивается ко мне, смотрит вопросительно, ее серьги нетерпеливо колышутся, и я продолжаю: — Thank you, I found everything I was looking for». Девушка кивает и улыбается, я улыбаюсь тоже и медленно, на пудовых ногах, выхожу из магазина.

* * *

По дороге назад вдруг замечаю стоящее в сторонке цветущее деревце. Первое, всех опередившее. Как же я его пропустила! Усыпано белым цветом, словно снегом. И почему-то сразу я вспоминаю московский снежный январь, Рождественский бульвар с заснеженными деревьями и фонарями, кружащиеся над головой снежинки, протоптанную в снегу тропу, по которой идем мы с Алешей. Алеша Рудин — ученик, тогда уже полгода как студент-историк, мы гуляем с ним по зимним московским бульварам.

Я вытягиваю ладонь в цветной варежке и показываю на двухэтажный светлосиний особнячок по левую сторону бульвара: «Смотри, Алеша, в этом доме жила Каролина Павлова, помнишь?»

Еще бы он не помнил.

Полгода назад, на выпускном вечере, он — выпускник, а я — учительница литературы в выпускном классе, провели несколько часов в беседе о Каролине Павловой. В тот год выпускников по причине недавних громких убийств не пускали гулять по Москве, они всю ночь — до осоловления — должны были находиться в родной школе, из которой только и чаяли вырваться. Было уже глубоко за полночь, учителя, приглашенные на ночное бдение, частью ушли, частью подремывали, кое-кто из выпускников еще лениво жевал, кто-то тянул сок, кто-то сонно танцевал под фонограмму советских песен, а я рассказывала Алеше про Каролину Павлову. Почему про Каролину Павлову — Бог весть. Наверное, потому, что на уроках разговора о ней не случилось.

— Представляешь, Алеша, она умерла глубокой старухой, восьмидесяти шести лет, на чужбине, в Германии, она уже говорила только по-немецки, она уже по-немецки писала стихи. Та, кто написала о стихотворстве так, как никто до нее не на-

писал по-русски: «Моя напасть, мое богатство, мое святое ремесло». Алеша, она была большая русская поэтесса, одна из первых русских поэтесс, и мужчины-литераторы, ее окружавшие, не могли ей этого простить.

Помню, к нам подходили учителя и ученики, прислушивались, о чем идет речь, и, предполагая, что я брежу, пытались увести Алешу. Девчонки звали его потанцевать, парни клали руку на плечо: «Покурим?» Коллеги-учительницы, из тех, кто еще остался на дежурстве, тянули меня за рукав и предлагали прошвырнуться.

Не помогало. Алеша не уходил, и я не уходила — и ведь сохранилось это в памяти: неубранный длинный стол, накрытый белой скатертью, и мы сидим с Алешей у самого края и ведем речь — о Каролине Павловой. Из всех возможных форм времяпрепровождения в тот достопамятный вечер мы выбрали самую осмысленную — разговор о поэте.

Но конечно, это не все объяснение, Алеша не уходил, так как не хотел меня обидеть.

В течение двух лет я входила в класс — и отыскивала его, сидящего в первом ряду, ближе к окнам, на второй парте, прямо напротив моего стола. В классе он был «новеньким»: два года назад приехал с мамой-врачом с Урала. Был он большеголовым, некрасивым, с черными живыми глазами, с внимательным и умным взглядом. Мы обменивались с ним улыбкой, и урок начинался. И в конце урока я опять искала его глазами. Как? Нормально? В этом классе он был единственным, ради кого стоило проводить урок.

В те дни я писала повесть на школьную тему, и в герое проглядывали Алешины черты. Герой в моей повести погибал. Я боялась, как бы это не отразилось на Алешиной судьбе, ведь не только жизнь влияет на литературу, но и литература перетряхивает жизнь, кроит ее по своим меркам.

Как-то через несколько лет после нашей с Алешей прогулки по московским бульварам я встретила на улице его маму, неприметную тихую женщину, с некрасивым интеллигентным лицом, с черными живыми глазами, мама и сын были похожи, как близнецы. Она сказала, что Алешу взяли в армию, что их часть направили в Афганистан. Грустная она была, сосредоточенная на своем, на морщинистой шее виднелась простая цепочка от крестика. Что мне было ей сказать? А что мне было сказать себе? Неужели это я накликала на ее сына Афганистан? Больше я сведений об Алеше не имела. А там и уехала из России.

Прохожу мимо одноэтажного домика, от которого до нас уже рукой подать. Его хозяйка Додди выныривает откуда-то со своей обычной метлой. Додди, если она во дворе, вечно занята приборкой. «Хэллоу, Додди», — я машу ей рукой, она кивает в ответ.

За всю почти часовую прогулку встретила мне только она, словно в нашем городке уже поработала нейтронная бомба. И машин-то мало, вот сзади меня едет какая-то ярко-голубая, кто соблазняется такими яркими цветами? Латиносы? Ярко-голубая машина, поравнявшись со мной, притормаживает, из нее выходит высокий белый человек в темных очках — здороваётся и предлагает меня довезти. Наверное, я произвожу странное впечатление: на левом плече модная дамская сумочка, а в правой руке целлофановая сумка с продуктами из «Ханафорда». Американцы могут подивиться и тому, что я хожу в магазин пешком, и тому, что хожу в такую даль. Вот и проснулась у кого-то жалость к соседке, живущей неподалеку, решил подвезти.

Я отрицательно качаю головой: «Thank you, I prefer to walk» — и продолжаю свой путь. Ярко-голубая машина не спеша едет впереди, потом скрывается за поворотом. А у меня тем временем возникают уже другие мысли, беспокойные. А что

если это не сосед, а какой-нибудь криминал, скажем, вышедший из тюрьмы преступник, оголтелый серийный убийца... Если бы ты села к нему в машину, он бы тебя завез в незнакомое место и... волосы вставали дыбом от представлявшихся воображению картин. Нормальные люди не ездят на таких машинах, точно не ездят. Хорошо еще, что где-то неподалеку есть Додди со своей метлой. Додди, добрая Баба Яга. Ей был бы слышен мой крик о помощи. И все же почему он остановился? Хотел помочь? Или там были еще какие-то мотивы?

С бьющимся сердцем огибаю поворот дороги. А вот уже и домик наш вынырнул, вот и голубая елочка. Пришла.

* * *

До вечернего урока еще много времени, но бежит оно стремительно. Нужно успеть позвонить сестре в Москву до того, как она ляжет спать, разница во времени у нас восемь часов. Нужно связаться с дочерью и сыном — оба ужасно занятые, — поэтому хотя бы оставить им сообщение на мобильные телефоны: ребятишки, мы с папой о вас думаем и ждем от вас вестей. Нужно ответить на полученные по электронной почте письма. Их немного, одно письмо с незнакомым адресатом от Ольги Бернхард из Германии. Стоя просматриваю письмо.

Дорогая Кира Семеновна,

Вы, может быть, помните меня. Я много лет назад у вас училась, тогда меня звали Оля Тулина. Потом я вышла замуж за немца и уехала в Германию.

С мужем я развелась, мы совсем разные люди, он намного меня старше, коммерсант, очень любит деньги, хочет, как все немцы, чтобы жена убирала и чистила у него в доме.

Я еще в России закончила биофак Московского университета, в Германии защитила диссертацию. Но в Германии я бы не хотела оставаться, страна и люди мне не нравятся.

Мне кажется, наука сейчас развивается только в Америке, хотела бы туда переместиться.

Галя Кораллова дала мне ваш адрес, она нашла его в Интернете. Мы с Галиной переписываемся, она сейчас в России, тоже развелась с мужем-иностранцем. Мы часто вас вспоминаем и ваши уроки, а повесть «Вешние воды» И. С. Тургенева до сих пор моя самая любимая. Кира Семеновна, что вы думаете, стоит мне переезжать в Америку и как это лучше сделать? Вы ведь уже давно там живете, вам нравится?

Извините, если допустила ошибки, я давно уже пишу только по-немецки и по-английски.

Ваша бывшая ученица
Ольга Тулина-Бернхард

Присаживаюсь к компьютеру с мыслью ответить на это письмецо. Олю Тулину я помню, как и ее подружку Гаю Кораллову. Обе девочки были «не мои», не из гуманитарного цеха, готовились поступать на биофак, литературе, как мне казалось, значения не придавали. Но вот «Вешние воды» Оля назвала любимыми, это даже умиляет. Ответить ей сейчас? Решаю, что напишу письмо после вечернего урока. Сейчас лучше подумаю, что буду делать на уроке с Гретой.

Грета Беккер тоже из Германии, она там родилась, у нее отец — немец, а мать — кореянка. Своим необычным происхождением она похожа на Джен, полуиспанку-

полуиндианку. Похожа и тем, что лицом пошла в мать и внешне напоминает типичную кореянку. Может быть, поэтому Джен ее так интересуется. В прошлый раз я рассказала ей, как Джен на свой день рождения отправилась в Большой каньон. Поскольку Грета по специальности психолог, я спросила ее: как ты думаешь, могла Джен остаться в Большом каньоне? Есть у нее к этому предпосылки? Грета обещала подумать и найти решение, опираясь на свою науку. Это первое. Теперь второе. Грета прочла мой рассказ «Бурь-погодушка». Вот и поговорим с ней о нем. Диктант и упражнения по фразеологии, само собой, на своем месте.

Из окна дует ветерок, пахнет сырым асфальтом и травой, я закрываю глаза... и проваливаюсь в сон.

Я лежу на дне каменного колодца, полдневный жар готов растопить мою плоть, вытянуть из нее все соки и превратить в высушенную мумию. Небо раскалено, по обе стороны узкого ущелья громоздятся желто-оранжевые скалы-башни. Царство камня и зноя. Царство смерти.

Где та река, которая прорубила себе дорогу в горной породе?

Где те сто видов птиц и шестьдесят видов млекопитающих, о которых написано в Интернете? Красноголовые пиранги? Чернохвостые олени?

Где вы, ау? А деревья, кустарники? Кактусы? Агавы? А люди?

Я читала, что это место ежегодно посещают четыре миллиона туристов.

Где они? Где хотя бы один человек, кроме меня? Я лежу, обессиленная, готовая к самому страшному.

Я шепчу не молитву — не знаю я молить, — я шепчу лермонтовское: «В полдневный жар в долине Дагестана / С свинцом в груди лежал недвижим я».

Неужели на этом все и закончится? А сколько было надежд! Сколько было желаний! Как хотелось исполнить свое предназначение. Написать что-то такое, что для кого-то стало бы прибежищем и даже спасением. Как мечталось увидеть родной берег свободным и обновленным. Поездить по миру. Погулять на свадьбе детей. Воспитать внуков. И так нелепо, так дико и даже смешно — погибнуть в Большом Каньоне!

Из последних сил ползу по горячим камням, раздирая колени. Господи, спаси меня! Какая-то тень нависает надо мной. С трудом разлепляю веки и смотрю вверх — на темно-красное разрисованное лицо с перьями над головой.

Это индеец из племени навахо, — проносится в сознании, и я отключаюсь, то есть выхожу наружу из своего кошмарного сна.

* * *

Грета Беккер приезжает с немецкой пунктуальностью, ровно в шесть вечера. Но кроме пунктуальности, в ней, как кажется, ничего нет немецкого, хотя по отцу она немка. Она невысокого роста, шатенка с гладко зачесанными волосами, черты лица — корейские, но в каком-то сглаженном, мягком варианте.

Вообще эта неяркая женщина необычайно мила, у нее приятная улыбка, она легко держится и говорит, но впечатление мягкости, от нее исходящее, скорее всего, обманчиво; я вижу, что она орешек крепкий — училась в Германии и Австрии, три раза ездила на стажировку в Россию, теперь приехала в Америку, работает программистом в компьютерной компании — разве легко это женщине? У Греты две специальности — русский язык и психология, ее мечта — их объединить, открыть психотерапевтический кабинет для русских пациентов.

Мне было интересно, одинока ли она. Оказалось, что не одинока. У Греты есть муж, он художник. И, по всей видимости, «свободный художник». Нигде не рабо-

тает, пишет абстрактные картины под медитативную восточную музыку. На почве медитаций они и познакомились — медитировали в одной группе, вместе возвращались домой, в один прекрасный день Хью перенес к ней свой спортивный коврик, чашку и начатый холст — остальное нехитрое его имущество они перевезли потом из снимаемой им на двоих с приятелем двухкомнатной квартирки. У Греты тоже две комнаты, но есть хорошая кухонька и балкон. Все это она мне рассказала на предыдущих занятиях.

Грета входит улыбаясь, хотя видно по лицу, что очень устала.

— Дать тебе чаю? Или хочешь кофе?

Грета улыбается своей милой улыбкой:

— Кира, я вегетарианка, чай и кофе не пью, водку тоже не пью.

— Водку не предлагаю. А вина могу предложить. Я вижу: ты устала на работе.

— Вина я тоже не пью, я строгая вегетарианка, веган — слышала?

— Слышала. Что ж, садись. Не получается тебя угостить. Муж у тебя тоже веган?

— Нет, он не веган и вообще не вегетарианец, любит мясо.

Грета усаживается, достает свою толстую тетрадь, где записывает слова и идиомы, вытаскивает мою книжку «Любовь на бегу», которую я ей подарила. Как всегда, урок начинается с вопросов: я задаю ей, она задает мне.

— Грета, какое искусство ты любишь, если исключить литературу.

— Музыку. А ты?

— Я тоже музыку. Я думала, что ты скажешь «живопись», ведь у тебя муж-художник.

Она молчит, потом говорит не слишком уверенно: «Живопись я тоже люблю».

— Ту, что сейчас в моде, — инсталляции? Или, может быть, абстрактную?

Опять она не торопится отвечать, глядит куда-то в сторону, наконец говорит:

— Абстрактная живопись мне нравится, но меньше классической, а инсталляции я не люблю, ничего не могу с собой поделаться.

Грета пристально смотрит на меня:

— А ты любишь инсталляции?

— И я не люблю. Я не люблю игр с искусством, мне хочется, чтобы живопись была живописью. Как-то я попала на выставку Кандинского — и увидела, что его абстракции — это хвала мирозданию, свету, краскам... Ты говорила, что Хью пишет абстрактные картины. Они не похожи на картины Кандинского?

Почему у меня все время выскакивает ее муж? Такое чувство, что эти вопросы ей тяжелы. Она снова говорит после паузы:

— Нет, они не похожи на Кандинского.

Стоп. Больше на эту тему не надо. Ей она неприятна.

— Теперь, дорогая Грета, спрашивай ты меня — о чем хочешь.

И Грета неожиданно заводит разговор о Джен. Видно, та ее действительно заинтересовала.

— Ты сказала, что она пропала, что след ее затерялся. Мне бы хотелось услышать подробности.

— Понимаешь, — начинаю я, — она пропала для меня. Может быть, на самом деле она не пропала. Но для меня след ее затерялся. Больше она не появлялась и не звонила. В тот день, 22 июля, я решила поздравить ее с днем рождения. Позвонила ей по мобильному. Я знала, что этот день она собиралась провести в Большом Каньоне, вдали от своего дома и своей семьи. Я имею в виду ее мужа и двух девочек, ее многочисленные индейские родственники жили как раз поблизости от каньона, в Нью-Мексико.

— Ты дозвонилась?

- Нет, в трубке играла какая-то музыка, дозвониться до Джен мне не удалось.
- Ты хотела, чтобы я сделала психологический прогноз для Джен?
- Ну да, мне интересно, могла она остаться в каньоне, хотя бы теоретически?
- Я тебе отвечу: могла, теоретически могла — и вот почему.

Грета раскрывает свою тетрадь, находит нужный столбик выписанных аргументов и читает:

Джен не находила удовлетворения ни в одной сфере своей жизни.

Идем по порядку.

Первое: на работе. Работу она постоянно меняла, ей не хотелось общаться с сотрудниками, а им — с нею, или ей так казалось, она могла себя в этом убедить. В ней жил комплекс неполноценности. Прижиться на одном месте мешали также постоянные опоздания. По всей видимости, у нее был комплекс «избранничества», когда хочется, чтобы тебя все ждали, совмещенный с комплексом неполноценности.

Второе. Все ее попытки заменить работу каким-нибудь увлечением кончались ничем, увлечения не приносили дохода, скорее наоборот, требовали трат, к тому же мотивация заниматься тем или иным из ее многочисленных «хобби» была кратковременной и опиралась на желание получить удовольствие. Однако всякое длительное усилие лишало ее удовольствия и приводило к скуке и пресыщению.

Третье. Дома у нее не складывались отношения с мужем и детьми. Муж пропал на дежурствах в больнице — ты говорила, что он был резидентом в госпитале, — и дома бывал редко, а учитывая, что Джен вечно отсутствовала из-за своих бесчисленных «хобби», их контакты, в том числе сексуальные, свелись к минимуму. Для дочек пришлось взять няню. Джен не находила с ними общего языка, они сердились на мать, так как она, будучи членом школьного попечительского совета, поссорилась с директором и перевела одну из девочек в другую школу. А сестрам хотелось быть вместе.

К тому же Джен болела диабетом, а эта болезнь располагает к депрессии и приводит к разочарованию в жизни.

Ввиду всего перечисленного становится ясно, что Джен была недовольна своей жизнью и хотела ее кардинально поменять. Свои мечты она могла связать с детством в Нью-Мексико, когда она находилась под защитой и опекой своей семьи, жила среди индейских родственников, когда у нее еще не было ни проблем, ни тяжелой болезни.

День, который был ею выбран для коренного изменения жизни, иначе для второго рождения, не случайно пришелся на день ее рождения — 22 июля.

В этом месте Грета делает паузу и, не глядя в тетрадь, заканчивает.

Мой вывод: Джен могла остаться в каньоне и присоединиться к людям своей крови, индейцам навахо.

Она захлопывает тетрадь.

Нужно сказать, что мною владеют сложные чувства. На первый взгляд вывод Греты совпадает с моим предположением, но при этом он кажется мне слишком категоричным. Все же мое предположение было чисто художественное, мифологически-метафорическое, я сама до конца не верила в то, что говорила, — и вот мне дарована такая мощная поддержка со стороны науки психологии. Высоко ценя науку психологию, я, однако, не склонна чрезмерно ей доверять, особенно в части интерпретаций человеческого поведения. Психологи часто выравнивают зигзагообразную линию, они находятся под гипнозом своих же концепций.

Довольно часто мне хочется сказать психологу, прекрасно разбирающемуся в чужих проблемах: «Исцелился сам!» Грете, естественно, я этого не говорю, наоборот, выражаю то чувство, которое владеет мною наряду с первым, подспудным, — восхищение:

— Здорово! Слава науке психологии!

Ну да, я слегка лицемерю, но самую чуточку, все же Грета действительно сумела собрать из внешних разрозненных черточек, рассыпанных в моем рассказе о Джен, ее цельный психологический портрет. Сумела она и дать прогноз поведения Джен в определенной ситуации. Молодец! Браво! Грета довольно улыбается. Однако какова! Я ведь так и знала, что ее внешняя милота и беспомощность — только оболочка, мало отражающая сущность. А сущность-то очень-очень крепкая, прямо железная.

Урок продолжается, мы занимаемся идиомами, пишем с нею проверочное упражнение.

Грета демонстрирует прекрасное знание материала, идиомы отскакивают у нее от зубов.

В конце урока спрашиваю ее про рассказ, кивая на лежащую на столе книжку:

— Как тебе рассказ? Прочитала? Сверила с переводом?

И тут Грета прямо-таки загорается. Она говорит, что читала рассказ «Бурь-погодушка» до полуночи, не могла оторваться.

— Он такой полезный для психолога. Вот возьмем героя. Своя жизнь ему не интересна, и он наблюдает за соседями, в основном за соседкой. Прислушивается, приглядывается. Потом когда он с нею познакомился и попил с нею чаю, то решил, что она его опоила каким-то специальным любовным напитком, чтобы привлечь. Он живет в мире грез и литературы — из-за этого работает в библиотеке и хочет стать писателем. В самом конце он собирается в Россию, чтобы найти песню про калину; он, как какой-нибудь дикарь, считает, что в песне разгадка поведения соседки. Опять литература, опять миф. Он начитался книг, наслушался сказок и легенд, а реальной жизни не видит. Его поведение направляется ложными подсказками сознания.

Тут мне захотелось вмешаться в пылкий Гретин монолог.

— Ты считаешь, Грета, что он психически нездоров?

— Конечно, не то чтобы нездоров — неадекватен, его нужно лечить, но, естественно, не в больнице, он нуждается в поведенческой коррекции. Психотерапевт должен ему помочь отойти от фантазий и взглянуть на мир здраво. Он должен заменить его ошибочные когниции на рациональные.

Признаться, после этих слов я поежилась. Мне пришло в голову, что в замятинской антиутопии, романе «Мы», крамольного изобретателя подвергли маленькой операции: удалили ту часть мозга, что заведует фантазией.

Грета между тем с увлечением продолжала:

— Русская девушка тоже по-своему не адекватна. Почему она не уходит от человека, который ее обманывает, изменяет ей с другой? В ней выработалась сверхзависимость от партнера, она не способна его поменять на кого-то другого, здесь налицо эффект прилипания...

— Потому что она его любит? — спрашиваю я со слабой надеждой.

Грета удивлена моим вопросом:

— Любит? Того, кто одновременно с ней имеет другую женщину? Или вот, положим: когда она на работе, ее партнер приводит в их квартиру своего приятеля, и они развлекаются в той же самой кровати, а потом еще и фотографируются... как это? — забыла это русское выражение... «в чем мать родила». Разве после этого можно не уйти?

Она смотрит на меня, смотрит почти с отчаянием.

Чего она хочет — подтверждения? Но в жизни случается всякое, и не всегда просто принять решение, особенно если любишь...

— Но, Грета, ты забываешь, ведь любовь... Окуджава писал: «Любовь такая штука, в ней так легко пропасть...»

— При чем здесь любовь? При чем здесь Окуджава? — Грета сильно распалилась, почти кричит: — Но даже если любовь, партнер растоптал ее чувства. Если женщина в таком случае не уходит, она находится в плену у ложных когниций, ей нужно сменить их на рациональные.

Стараюсь говорить как можно спокойнее:

— Спасибо, Греточка, ты славно разобрала характеры моих героев! Если хочешь, прочитай к следующему разу рассказ «Браслет», он тоже располагает к когнитивному анализу.

Мы прощаемся. У самой двери, спохватившись, Грета выписывает мне чек за это занятие.

— К чему такая спешка? Ты могла бы заплатить на следующем уроке.

Но она уже протягивает мне чек и выходит.

* * *

На часах уже половина восьмого, за окном заметно стемнело, фары Гретиной машины прорезывают сумрак, слышен скрип шин, она выезжает на дорогу. Со второго этажа спускается Сережа — видно, приехал, когда мы с Гретой занимались. Готовлю для нас ужин и думаю о прошедшем уроке. Грету совсем не заинтересовал мой рассказ, то есть она разглядела в нем только схему: *он живет тужой жизнью, она «прилепилась» к плохому геловеку*. Не увидела здесь человеческих отношений, ведь если любишь, то часто прощаешь, а русские женщины как раз склонны прощать. Правда, что-то личное в ее разборе прозвучало. В рассказе не было, что муж в отсутствие жены приводит в дом своего приятеля, надо полагать, для гомосексуальных утех... Это Грета вписала в текст от себя.

Горюшко! Как распространилась эта зараза, как превратилась в нечто привычное. Как просто стала альтернативой обычной человеческой любви мужчины к женщине. И как страшно в этой ситуации за сына!

А у Греты дома происходит нечто катастрофическое. Недаром я почувствовала, что ее муж на сегодня — запретная тема. Муж, живущий на средства жены, сидящий дома и пишущий абстрактные картины... И, как оказалось, еще и развлекающийся с приятелем. Ужас! Я не написала план следующего урока с Гретой, завтра нужно будет это сделать. Всегда стараюсь готовиться заранее, по горячим следам, когда все еще свежо в памяти. Грета не посмотрела перевод рассказа на английский. Мне так хотелось, чтобы она на него взглянула — она прекрасно знает оба языка... Да, но совершенно глуха к литературе, ее не тронули переживания героев.

Иное дело Бобби, тот, кто переводил рассказ после Джен, можно сказать, доводил его до ума. С Бобби вообще фантастическая история. Дала ему рассказ с тайной мыслью, что он скажет, похоже это на правду или нет. Все же своего героя, юного американца Рода, я выдумала. Бобби, настоящий американец, ненамного старше моего Рода, прочитав рассказ, мог мне сказать, совпадает ли это хотя бы отчасти с тем, что есть в жизни. Хорошо помню, как все было.

Бобби, с огромным портфелем в руках, вошел, как обычно, пригибаясь на пороге. Высокий его рост и некоторая избыточность веса способствовали застенчивос-

ти, он горбился, особенно когда входил в дверь, да и вообще передвигался неуклюже, словно плохо держался на ногах.

— Садись, Бобби, — я раскрыла свою тетрадку, — ты подготовил десять вопросов?

— Кира, можно мы начнем с рассказа? Я его прочитал, — он достал книжку из объемного своего портфеля; посредине, там, где помещался рассказ «Бурь-погодушка», все пестрело закладками.

— Конечно, конечно. Мне приятно, Бобби, что тебе, по-видимому, рассказ понравился. Когда я его писала, я плохо знала американскую жизнь, у меня не было прототипа...

Казалось, Бобби не слушал, он хотел высказать что-то свое, ему нетерпелось, он даже как-то нервно вздрагивал.

— Говори, Бобби, — я приготовилась слушать.

Но он молчал, не находя слов. Вообще его русский язык был вполне сносный, даже свободный, но тут, видно, он отказал.

Бобби качнул головой — и заговорил по-английски. Он сказал, что герой «Бурь-погодушки» — это он сам, Боб Барби, только выведенный под другим именем. Что у него с героем все совпадает: он так же одинок, как Родди, и живет один в чужом, далеком от его родного Колорадо городе, что мать, бросившая его в детстве, в последнее время тоже ему звонит и хочет наладить контакты, но он на них не идет. Что он так же, как мой герой, любит читать и мечтает сделаться писателем — тут он внезапно сильно покраснел: видно, признание нелегко ему далось. Что у него тоже была русская девушка, правда, не здесь, а в России, и эта девушка обманула его точно так, как обманула Рода его Ола.

В этом месте я решила вмешаться, чтобы вставить хоть несколько русских слов в поток английской речи, а еще — чуть-чуть остудить его чувства. Бобби был красен и потен, он вынул из лежащего на полу, у его ног, портфеля бумажный платок и обтер им свое влажное крупное лицо.

— Ты понял, Бобби, что русскую девушку зовут Оля? Просто твой американский двойник не может произнести это имя с мягким эль, у него получается Ола...

Бобби смотрел на меня непонимающе, похоже, русские слова в этот момент до него просто не доходили. Он продолжил по-английски:

— Единственное, чего я не понял, — это песня. Я знаю, что у русских много красивых народных песен. И много песен про калину, именно про калину пела в твоём рассказе Ола. Я, как и Род, стал искать русскую песню про калину, правда, Родди искал ее в сборниках, а я — на Интернетe. Но я тоже ничего не нашел. Песни с названием «Бурь-погодушка» там нет. Тогда я догадался, — до сих пор он говорил с опущенным вниз лицом, но тут поднял глаза и посмотрел прямо на меня, — я догадался, что ты, Кира, выдумала эту песню. Ее не существует в природе. Я правильно догадался?

Глаза у него были черные, на круглом толстом лице они поражали своей живостью и блеском, где-то я уже видела похожие глаза, кого-то он мне напоминал.

С минуту я сидела, раздумывая. Затем повернулась к Бобби спиной — и запела. Начала тихо-тихо, как и следовало, когда просишь, и не кого-нибудь из человеческого племени, а бурю-непогоду, бурь-погодушку.

Повянь, повянь, бурь-погодушка,
Во мой зелен сад!

Спиной чувствовала: Бобби замер, сидит, как пришипленный, слушает. Вот и

второй раз повторила ту же просьбу, погромче, чтобы расслышала, поняла та нечеловечья природная сила, чего я хочу от нее. Пусть налетит, пусть нанесет урон, видно, пришло время, пришло время для девичьей просьбы, для зелена сада.

В моем саду да во садике
Калина растет.

И опять повторила две строчки, повторила во всю силу легких, сколько было голосу, эх, нет рядом сестры, с которой с детства пели мы вместе. Прилети же, непогода, слышишь мой зов? Прилети, есть чем тебе поживиться в девичьем зеленом саду. Сладкая в нем калина, горькая в нем калина, красная в нем калина, калина растет.

Я прислушиваюсь к последнему затухающему звуку. Кончилась песня. Поворачиваюсь лицом к Бобби. Он сидит, подавшись туловищем вперед, прислонив к глазам бумажный платок. Кажется, он почувствовал песню. Я перевожу дыхание и говорю весело, стараясь скрыть дрожь в голосе:

— Ты понял, Бобби, песня существует, я ее не выдумала.

Он кивает.

— И я повторю тебе то, что говорила русская Оля американцу Роду: песня эта магическая, любовная, приворотная. Ты понял?

Бобби кивает с таким растерянным видом, который сам за себя говорит, конечно, ничего он не понял.

Да и откуда ему, американцу, понять, если я сама дошла до смысла «Бурь-погодушки» не так давно, а пели мы ее с сестрой с детства.

— Понимаешь, Бобби, этой песней девушка приманивает к себе любовь. А что такое любовь? Тайфун, циклон, шторм, ураган... Стихия. Ты согласен?

Бобби ерзает на стуле, его распирают эмоции. Когда он поднимает на меня глаза, я внезапно понимаю, кого он мне напоминает — Алешу, Алешу Рудина, у них похожий взгляд.

— Ты хочешь что-то сказать?

— Нет, я хочу тебя слушать, продолжай, пожалуйста.

И я продолжаю:

— Девушка молит ураган, шторм, циклон, чтобы он пришел. Девушке хочется изведать любовь. В народной поэзии используются свадебные метафоры: зелен сад, дерево калина. Ну а ураган, шторм, циклон, бурь-погодушка — это, наверное, добрый молодец. Или то, что он с собой несет. Калина — это сладость любви. Но калина — горькая ягода. В любви есть и сладость, и горечь. Ты согласен?

Бобби с громким восклицанием вскакивает со стула, спотыкается о портфель, чуть не падает, но все же сохраняет равновесие. Ужасно комичная сцена, мы оба смеемся.

Таким мне запомнился тот урок.

* * *

За ужином спрашиваю Сережу, мог бы он ездить на ярко-голубой машине.

— Такой, как у нового соседа?

— Какого соседа?

— Ну того, что недавно сюда переехал, — Сережа кивает на окно, из которого можно видеть небольшой домишко позади нашего. Из него давно уже выехали владельцы, и он, как мне казалось, необитаем. — Ну ты даешь, ничего вокруг не ви-

дишь, — удивляется муж, — он уже с неделю там живет, видно, снял этот домик, и машина его во дворе — ярко-голубая, «тойота-камри». Вон стоит, взгляни.

Но за окном ночь, и цвет темнеющей возле дома машины неразличим.

Сережа между тем, отвечая на мой вопрос, говорит, что нормальные мужики ездят на неброских машинах: бежевых, серых, в крайнем случае белых, но никогда на красных, синих, желтых и зеленых. Посему сосед вызывает у него подозрение, что-то с ним не то. Признаться, я тоже всегда так считала, но тут вдруг закралось в мозг сомнение. Почему у нас в чести такая блеклая палитра? А может, это та самая боязнь яркости, цвета, выделенности, что отличала советских людей? И мы этот стереотип унаследовали и несем с собой?

Наверху присаживаюсь к компьютеру. За время урока пришло несколько писем. Первое — от Оли Тулиной:

Дорогая Кира Семеновна,

Посылаю второе письмо вдогонку за первым, чтобы вы сразу мне ответили на оба.

Знаете ли вы про судьбы каких-нибудь моих одноклассников? С кем из них переписывается?

Я регулярно общаюсь только с Галей Коралловой, она живет в Подмоскowie, стала ветеринаром, сумела совместить свою любовь к животным с профессией. Она неплохо зарабатывает, открыла лечебницу для зверья. Жалуется на высокую арендную плату и на отсутствие личной жизни — зверье отнимает у нее все время. Слышали ли вы про Алешу Рудина? Мне всегда казалось, что он ваш любимый ученик, литературу он точно знал лучше всех нас. Алеша воевал в Афгане, но вернулся живой. А погиб он случайно: попал под маршрутку недалеко от нашей школы, там, если помните, нигде нет нормального перехода через дорогу. Галка мне писала, что не смогла поехать на похороны — из-за своих подопечных. Извините, если я вас расстроила.

Жду от вас ответа,
Ольга Тулина-Бернхард

Второе письмо пришло совсем недавно, оно было послано минут десять назад Гретой Беккер. В нем было совсем мало слов. Но я читала их и перечитывала, не понимая смысла.

Грета отказывалась от уроков.

Грета отказывалась от уроков? Ну да, вот она пишет, что отказывается от уроков. Просит извинить, но у нее нет сейчас возможности заниматься. Конечно, нет возможности заниматься.

А ты думала, есть у нее возможность заниматься? Она тяжело работает, кормит себя и мужа, да и сейчас у нее возникла сложная семейная проблема. К чему ей твои уроки?

Я понимаю, понимаю, но почему так сжимается сердце. Успокойся, слышишь? Ты не имеешь права переживать из-за каждого ушедшего ученика. У всех свои причины. Ты, как правило, не виновата. У них у всех достаточно причин. У Джен были свои причины, у Бобби свои, у этой девочки, у Греты Беккер, — свои. Почему ты решила, что она надолго? Она же для своей души занималась, как и Джен, как и Бобби. Они все занимались для своей души. А кто из американцев будет платить деньги просто так, из прихоти? Не из богатых американцев, а из работающих? Поняла? Поняла, дуреха? Успокоилась немного? Нет еще?

Оставляю компьютер и спускаюсь вниз; накинув куртку, выхожу на нашу терраску.

Господи, как прекрасен твой мир! Какое высокое, какое бездонное небо, как много звезд!

Неостановимо вибрирует мысль. Первой из ушедших была Джен. В конце концов, Джен могла действительно остаться в каньоне.

Хотя... хотя... есть у меня одно воспоминание. Было это года четыре назад, еще на нашей старой квартире. Я вышла на свою обычную прогулку вдоль дорожной магистрали — больше там негде было гулять. Впереди меня, шагах в десяти, шла высокая худая женщина, чем-то неуловимо напоминая Джен. Я старалась ее догнать, чтобы заглянуть в лицо, — не могла. Несколько раз, правда довольно робко, я звала: «Джен, Джен!» Она не оборачивалась. А потом резко свернула с дороги в переулок. Так я и не знаю определенно, Джен это была или нет. Может, все-таки Джен? Но, может быть, не она. Мне даже спокойней думать, что Джен осталась в каньоне.

Иначе как объяснить, что она не написала и не позвонила?

Я вдыхаю сырой ночной воздух и рукой вытираю слезы, текущие по лицу.

Глава третья. Египетские ночи

Пятница

Мой голос для тебя и ласковый и томный... Мой голос для тебя и ласковый и томный, а дальше, как дальше? Тревожит позднее молчание ночи темной... молчание ночи темной... Как хорошо! Как послушно ложатся слова, как точно откликается рифма. Ночи темной... Не хочется шевелиться. Только лежать и вспоминать стихи. Неужели еще ночь? Открываю глаза. Светло. Смотрю на часы — семь. Надо вставать. Одеваюсь и думаю: к чему бы это? Пробуждение под музыку пушкинского стиха. На лекциях в Московском университете Учитель, прочитав это стихотворение, задавал студентам задачу: где в это время любимая женщина? С поэтом? Или ее нет в комнате, и здесь одно воспоминание? А потом сам отвечал, понимая, что поставил нас в тупик: воспоминание, ее с ним нет. Звуки, которые он слышит: «Люблю, твоя... твоя...», проносятся в его воображении. Почему он так думает? А вы посмотрите, какой эпитет у слова свеча. Печальная. «Близ ложа моего печальная свеча...» Этим все сказано. Ее нет с ним, но иллюзия, что она рядом, — он ее представляет, когда ночью пишет стихи.

Что у меня сегодня? Сегодня у меня Таня. И мы с ней читаем «Египетские ночи». Так что сон в руку, сон в руку. Египетские ночи, Клеопатра, сладострастие... Египет — это, конечно, Восток, Азия, но в те времена, во времена Клеопатры, это еще и немного Греция, это эллинистический мир, ведь Египет был завоеван Александром Македонским, основавшим на реке Нил город своего имени — Александрию. Клеопатра знала греческий, как, впрочем, и много других языков, включая берберский. Пишут, что она знала и древнееврейский, и латынь. Интересно, на каком языке она разговаривала с Цезарем? Скорее всего, на греческом. Это был язык учености, общения, любви, а латынь была языком политики и войны. Египетские ночи, египетские ночи.

Читала, что к прибывшему в Александрию уже далеко не молодому Цезарю юной царице помог проникнуть сицилийский рыбак. Под покровом ночи он провез ее по Нилу на лодке, а потом спрятал в мешок или ковер, здесь версии расходятся, и тайком пронес в покои римского военачальника. А там... там дело было уже за ее чарами, за ее магической привлекательностью для мужчин. Египетские ночи. Да, египетские ночи... У Пушкина, впрочем, своя Клеопатра. О ней будем говорить се-

годня с Таней. О ней и еще об ее «двойнике», о лермонтовской царице Тамаре. Однако что это я? Пора день начинать.

В окне, что рядом с компьютером, видна наша голубая елочка. Привет, красавица, с добрым утром! Солнце уже проникло в комнату, но дома прохладно, градусов пятнадцать, дрожа от холода, зажигаю в ванной рефлектор и отогреваюсь. Когда, умывшись и переодевшись, я спускаюсь вниз, Сережа готовит себе кофе. Почему-то он сегодня не спешит, как обычно, — завтракает одновременно со мной. Оказывается, он собирается сейчас в Б., в филиал их компании; назад поедет мимо нашего дома, так что, если я хочу, могу поехать с ним.

— В Б. я пробуду около часа, ты успеешь зайти в магазин и даже прогуляться.

Я киваю — и мы отправляемся.

Люблю ехать на машине, конечно, в качестве пассажира, люблю дорогу. Ехала бы и ехала. Это чувство осталось еще с 1990-х годов, с Италии. Туда мы отправились по направлению к неприметному городку А. на Адриатическом побережье, где Сережа получил маленький грант в университете. Безотказный наш «жигуленок», по имени Лилечка, прокладывал путь через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию. В дороге были пять дней, останавливались в дешевых домашних пансионах, не зная языка, не имея денег; было страшно, непривычно, сердце обмирало от ужаса перед будущим, но дорога... дорога была живительна, она спасала.

Мне нравится, как Сережа ведет машину — очень спокойно и уверенно, без рывков и вихляний. Мне необходимо иногда отрываться от стола, от своих занятий, вот и стали для нас привычными такие броски то в Б., то в К., то на Океан, на нашу заветную тропу. Обычно вылазки приходятся на выходные; в будний день, пожалуй, мы едем впервые.

Б. считается частью Большого Города, но сильно от него отличается. Именно в этом районе с давних пор селились российские эмигранты, по большей части евреи. Не потому ли в облике Б. есть для меня что-то от местечка? Много дореволюционно-патриархальных вывесок, много евреев в шляпах, много синагог. В то же время Большой Город, особенно его центральная часть, с того самого первого дня, когда мы на экспресс-автобусе прибыли с подростком-сыном из нашего городка, показался мне страшно похожим на Москву. Его бульвары словно приходились родственниками московским бульварам. И главный из них — сильно напомнил родные «Чистики», Чистые пруды; впечатление усилилось, когда мы вышли к небольшому пруду, по которому плавали утки и лебеди и сновали большие лодки беззаботными — взрослыми и маленькими — пассажирами.

Едем по Б. Вот если сейчас свернуть налево, попадешь к дому Старого Поэта. Смотрю на Сережу:

— На минуточку зайдём, а?

И мы сворачиваем. Против правил оставляем машину внизу (для стоянки нужен стикер «резидента» здешних мест), быстро поднимаемся по лестнице, звоним, дверь подъезда не сразу, но открывается, идем по коридору направо — и Сережа нажимает на звонок в квартиру Поэта.

Открывает незнакомая женщина со строгим лицом.

— Простите, — говорю я по-русски, как-то нет у меня сомнений, что женщина — русская, — Наум Семенович и Люба... мы к ним.

Женщина ведет нас за собой. В спальне, на своей постели сидит Старый Поэт. Похоже, что Любы нет. Мы здороваемся, я целую его в седую с редкими волосами голову, он вслепую нащупывает и пожимает мою ладонь.

— Где Любочка, Наум Семенович?

— Увезли. Час назад Любаню увезли. Вот Люсенька. — дочь, — вызвала мне помощницу.

Женщина с сурово поджатыми губами кивает и представляется:

— Полина, — и уходит в кухню.

Взгляд Старого Поэта бродит в растерянности.

— Она успела собраться? — только и могу я выдавить из себя.

— Она? Собраться? — видно, он плохо понимает мой вопрос, думает о другом. Легко понять о чем. Люба обычно с ним, он практически первый раз оказался без нее. Она для него опора в материальной жизни, ее сердцевина. А душа его с самого начала была не здесь — в России.

Совсем недавно ушел ближайший друг Старого Поэта, критик, самый младший из всего их московского кружка. Оставшихся на родине друзей можно пересчитать по пальцам. И хотя в Москву Поэта по-прежнему тянет, но для поездки не то уже здоровье, к тому же нет там теперь ершистого, нежного душой Владика, да и Любочка в одночасье сдала, вот угодила в больницу.

— Не волнуйтесь, Наум Семенович, здесь очень хорошие врачи.

— Почему она не звонит? Она сказала, что позвонит, как только приедет.

— Значит, что-то помешало. Может быть, ее сразу взяли к врачам.

Через минуту он снова вскрикивает:

— Кира, она должна звонить, почему нет звонка, как ты думаешь?

Он взволнован, нервничает, Люба всегда действовала на него успокаивающе, была его глазами и руками, читала вслух, давала лекарства и еще давала то, что получает ребенок возле матери, — чувство защищенности. Он обхватывает голову руками, покачивается, словно молящийся еврей. Ожидание становится нестерпимым.

— Послушайте, Наум Семенович, так нельзя, давайте споем. Вы ведь знаете революционные песни? Я всегда, когда мне плохо, пою революционные песни.

— Кирочка, я не умею петь и революционные песни терпеть не могу, они все бесчеловечные.

— Зато они заряжают, они дают силы и укрепляют дух. В Италии я их пела сыну, когда он не засыпал, он меня сам просил: «Мама, спой про Щорса». Почему-то Щорс был у него любимый. Давайте попробуем.

И я затаиваю:

— «Шел отряд по бережку, шел издалека. Шел под красным знаменем командир полка».

Старый Поэт минуту прислушивается к словам, потом начинает подтягивать слабым негибким голосом:

— «Шел под красным знаменем командир полка».

— «Голова обвязана, кровь на рукаве», — запеваю я, и Поэт подхватывает сам, без подсказки:

— «След кровавый стелется по сырой траве».

— «Э-э-э, по сырой траве», — это поем мы уже втроем, ибо в хор вступает Сережа.

Строгая Полина заглядывает в комнату, с удивлением смотрит на нас. И тут раздается звонок. Сережа хватает трубку и подает ее Поэту. Тот, тяжело дыша, кричит в трубку:

— Любаня, это ты, ты?

На том конце провода ему отвечают. Его лицо яснее, и теперь он уже не кричит, а шепчет:

— Любаня, со мной все в порядке. Как у тебя? Я тебя буду ждать, Любаня. Слышишь? Буду ждать.

Мы снова едем по Б. Сережа останавливается возле книжного магазина «North

Palmira», я выскакиваю из машины, а он едет дальше, по своим делам. В магазине никого, нет не только посетителей, но и продавца. Видно, он где-то поблизости, в подсобке. Интересно, кто здесь сегодня? Сам хозяин? Когда-то... впрочем, пора уже забыть, давно это было. А, вот кто здесь сегодня! Из подсобки выходит милая женщина Мила, и мы радостно киваем друг другу. У Милы был свой небольшой магазинчик неподалеку, она торговала видеокассетами, матрешками, русскими книгами. Среди прочих на полке у нее стояли и две мои книжки «Итальянский карнавал», и я при случае всегда к ней заглядывала, втайне предполагая, что книжек на месте не увижу, одну действительно очень быстро купили, вторую же я видела еще долго...

А сейчас Мила на паях объединилась слевой, владельцем «Северной Пальмиры», и, кажется, попала в подчинение. Он человек капризный, уклончивый, преследующий свой интерес. При таком характере... впрочем, не уверена, что именно с характером связана та странная история, что приключилась у меня с ним в давно прошедшие годы. Подхожу к полкам с современной литературой, рассматриваю названия, имена. В запасе у меня час, и, скорее всего, этот час я потрачу в книжном, хотя хотелось бы и погулять, и купить что-нибудь в русском продуктовом магазине «Рынок», что в двух шагах отсюда. Но как оторваться от такого богатства! Тут и часу не хватает.

В дверь входит невысокий человек в распахнутом полушубке, кудрявый, в темноте не видно его лица. Здоровается со значением: «Здравствуйте, Кира». Ага, это он, Лева, собственной персоной. Но с тех давних пор утекло уже столько воды, что можно спокойно ответить ему в тон: «Здравствуйте, Лева» — и повернуться к книгам. А он, что-то негромко сказав Миле, уходит в подсобку.

Мы тогда только приехали на Восточный берег, в Большой Город. Нужно было начинать жизнь заново — в который раз! В том возрасте, когда люди уже снимают урожай, мы не имели ничего: ни урожая, ни денег, ни собственности — мы вдвоем с Сережей да двое неоперившихся отпрысков.

У меня к тому времени не было напечатано ни строчки, хотя писала я с юности, в основном в драматическом роде, однако в ответ на посланные в театры пьесы получала приблизительно такие отзывы: «Уважаемый автор, вашу пьесу, без сомнения, захочет поставить любой театр, в нашем же, к сожалению, репертуар утвержден на пять лет вперед». Или: «Уважаемый автор, мне понравились ваши пьесы, в них есть что-то живое, однако репертуарную политику театра делает режиссер, а отнюдь не завлит, я указал ему на ваши пьесы, но у него нет времени их прочитать. С уважением...» Или: «Уважаемый автор, если хотите, приходите, мы с вами пообщаемся. Ваши пьесы показались мне талантливыми. Но в театре сейчас возобладал “верняк”, и поставить что-нибудь неизвестного автора не представляется возможным. С уважением...» И я радовалась уже тому, что завлиты писали мне такие хорошие теплые письма.

Если чуть-чуть углубиться, то было еще кое-что.

Однажды, прочитав мою пьесу, позвонил знаменитый, любимый мною актер, очень ее хвалил, правда, о постановке речи не вел. На подходе была его собственная пьеса, подписанная псевдонимом, прозрачным для театральных кругов.

Известный московский режиссер, осваивавший современный репертуар, прочитал другую мою пьесу, вызвал меня к себе, обласкал, сказал, что ее будет ставить его молодой помощник. Ни имени, ни внешности помощника я не успела запомнить, очень быстро он исчез из театра и вообще с горизонта.

Было и такое: провинциальный уральский театр на родине Сережи заинтересовался третьей моей пьесой. Меня вызвали, я читала пьесу труппе; на вокзале,

прощаясь, перед самым третьим звонком, уральский режиссер проникновенно меня поцеловал и поздравил с хорошим началом. Конец, однако, был похуже. В театре поменялось начальство, новый директор мою пьесу из плана выбросил.

Так складывался мой «театральный роман».

Книжный магазин «Северная Пальмира» мы проводывали довольно часто. Кто-то сказал, что у ее владельца, Левы, есть в России издательство. Терять мне было нечего. Собрала книгу своих рассказов и пьес, сложила все тексты в папку и однажды подошла с ней к зевсоголовому Лева, он хмуро на меня взглянул, пробурчал, что отдаст мою папку на прочтение «экспертам», и отошел. Через какое-то время, увидев в магазине нас с Сережей, он позвал нас к себе в подсобку и с непривычно светлым, даже радостным лицом сказал, что «эксперты» мои тексты одобрили и он возьмется их издавать. Помню его вопрос, меня почему-то окрыливший: «У вас есть что-нибудь еще, кроме этой книги»? Была зима, я сидела в душевной подсобке в теплой куртке и красной вязаной шапочке, лицо мое пылало от духоты и волнения, я только смогла кивнуть и выдохнуть:

— Конечно, это же путь.

Не знаю, понял ли он меня.

Работа закипела. Книжка была отдана редактору из издательства «Северная Пальмира». Через небольшое время с некоторой опаской я ей позвонила, но нашла такое понимание и сродночувствие, что наше общение стало походить на дружеское. Редактор оставила в текстах все на своих местах, внесла какие-то незначительные и необходимые поправки. Осмелев, я спросила, нравятся ли ей мои рассказы. Помню, она ответила, что нравятся, но что самое интересное в книжке — это пьесы. Мне тоже так казалось.

Следующим этапом было оформление, я сочинила художнице издательства большое письмо, описав свое видение обложки. Писала примерно следующее: «Не мое дело, милая художница, указывать художнику, как он должен выполнить свою работу. Он делает ее так, как считает нужным. Но если вы не против, я могу описать ассоциативный ряд, который связан у меня с этой книжкой: берег моря, дурная погода, прибрежные заросли, одинокая женщина на морском берегу.

В итоге родилась чудесная обложка, присланная в трех цветовых вариантах, где было именно это: морской берег в пасмурную погоду, заросли, женщина. Казалось бы, работа двигалась к концу. Но что-то в ней застопорилось. Я не понимала что. Зевсоголовый Лева сначала говорил, что какой-то важный в издательстве человек уехал в Грецию и почему-то не может оттуда вернуться. Потом перестал вообще на меня реагировать.

Каждый раз, приезжая в «Северную Пальмиру», я с замиранием сердца пыталась отгадать, на месте сегодня Лева или нет и в каком он настроении. Может, все же скажет мне что-то про мою книжку. Но Лева про книжку не говорил и смотрел куда-то мимо меня. Так прошло несколько лет. Книжка так и не появилась. Отчего — Бог весть. Может быть, тот важный для издательства человек так и не вернулся из Греции? Несколько лет я в «Пальмиру» не заходила, саднило сердце. Но потом, особенно с выходом «Итальянского карнавала», который Лева довольно успешно распродавал, возобновила посещения, правда уже нерегулярные.

А «Итальянский карнавал» был издан через шесть лет, в Америке, и способом, который, увы, стал общераспространенным в наши дни, — на деньги автора.

* * *

Сереза позвонил, когда я уже собиралась выходить из книжного. До его приезда успела забежать в русский магазин «Рынок», где схватила пачку гречки и пакет пельменей.

Когда-то в этом магазине работал немолодой мужчина, серьезного и слегка отрешенного вида, никак не подходящего к должности продавца. Он всегда замечал, когда мы с подростком-сыном входили в магазин, выражение его лица заметно менялось, веселело, он подзывал Даньку к себе и протягивал из-за прилавка вкусный пирожок с мясом. А мне при этом делал знак, что платить не надо, это подарок. Мы тогда только приехали с Западного берега, никого здесь не знали, денег было мало, так что пирожок был для Даниила самым настоящим лакомством, подарком, к тому же полученным просто так, «за красивые глаза».

Через какое-то время в местном рекламном бюллетене я увидела неброское объявление о смерти некоего Бориса Р., работавшего продавцом в магазине «Рынок». Дирекция магазина скорбела об утрате прекрасного человека и образцового работника. Я сразу подумала о серьезном продавце, он был единственным мужчиной среди простоватых юниц и светловолосых матрон, обслуживающих покупателей. Мне стало грустно, и вовсе не из-за пирожка, которого лишился Данька, подумалось: был человек, для которого мы с сыном представляли какой-то интерес, и интерес не шкурный, а чисто человеческий, он нам симпатизировал. Может быть, я напоминала ему кого-нибудь? Или Данька? Может быть, мы ему просто понравились? Бывает такая безотчетная симпатия, которую даже трудно объяснить. Когда-то давно, в Грузии, в древней ее столице, где сливаются «струи Арагвы и Куры», встретила нам с сестрой старушка еврейка, художница, ни за что не хотевшая взять деньги за вкусные сочные сливы из ее сада.

Сереза подъехал — я села со своими скромными покупками, и мы отправились в обратный путь. Всю дорогу мне дремалось, и сквозь дрему в сознании рисовались странные картины, все почему-то связанные с древним миром. То представлялась Клеопатра, она беззаботно спала в лодке, а сицилийский рыбак весело греб в направлении Сицилии, то царица Тамара, совсем не коварная и не злая, убегала из своей тесной башни с молодым пастухом, то Брут с криком «Папа!» бросался наперерез убийцам Цезаря, защищая того, кто, по слухам, мог быть его отцом.

Но дрема моя была прервана, Сереза неожиданно резко затормозил, я в испуге открыла глаза — и увидела в окно машины небольшого размера, но ладного индюка, гордо вышагивающего посередине проезжей части. Мы были уже возле дома. И индюк, возможно, приходил к нам в гости. Ужасно я ему обрадовалась. Дело в том, что прошлой зимой, прямо под Рождество, к нам наведальсь целое племя диких индеек, шесть особей. Утром мы увидели их из окна — они обошли кругом нашу голубую елочку, потом разбрелись по участку, но через короткое время снова выстроились в линию и друг за дружкой стали перебегать через дорогу, направляясь в лес. Сереза успел заснять волшебную картину на видео, и мы все Рождество рассылали знакомым кадры разгуливающих по участку вольных индеек, сопровождаемые бодрой ритмичной музыкой. Потом в холодном ветреном марте, в один из вечеров, я вдруг выглянула в окошко — и встрепенулась: возле нашей елочки прохаживались три крупные степенные индюшки. Было впечатление, что они «на сносях», так громоздко они выглядели в сравнении с теми изящными цыпочками, что приходили к нам зимой. Понимаю, что такое предположение дико: индюшки высиживают цыплят из яиц, но вес они явно нагуляли. Несмотря на свою массивность, они бойко двигались и даже летали. Я не верила глазам: из

другого окна, выходящего на лужайку, огражденную от соседского участка мощными столетними деревьями, можно было видеть, как они взлетают и садятся на толстые ветки, примерно посередине могучей кроны деревьев-исполинов. Огромные деревья шумели на ветру, их кроны качались.

С детства не понимала и не понимаю до сих пор, как эти тяжелые птицы преодолевают земное притяжение. Как они удерживаются среди качающихся веток? И неужели им не страшно при каждом новом порыве сурового борея?

Больше они не приходили. Мы ждали, что к лету «мамаша» пожалует к нам с приплодом, но не было ни мам, ни детей. Алевтина, поэтесса из Филадельфии, с которой почти каждый вечер мы разговариваем по телефону и которой я рассказала про индюшек, предположила, что их съели. Невдалеке от нашей горы расположился целый поселок вьетнамских беженцев. «Вот они их и съели, — услышав о поселке вьетнамцев, сказала Аля, — они едят все, что движется, даже жуков».

Алевтина хорошо понимает и про животных, и про людей. Она прожила долгую и красивую жизнь, где было все: скучное детство в провинциальном украинской городке, но среди книг и музыки, война и принудительная работа на немецких бюргеров в Германии, куда ее привезли подростком, послевоенные лагеря, брак от безнадёги, рождение дочки, ожидание, что выдадут Советам, но вместо этого пароходик «Генерал Балу», на котором «дипийцы» приплыли в Филадельфию, черная работа для куса хлеба и «счастливый билет», вытянутый благодаря полету советского спутника, когда знание русского помогло ей победить многочисленных конкурентов за место библиотекаря в филадельфийской библиотеке, затем бесконечная работа по самообразованию, чтение и писание собственных стихов, непохожих на все имеющиеся образцы. «Моя напасть, мое богатство, мое святое ремесло» — так сказала когда-то Каролина Павлова. Так могла бы сказать и Аля. Вот только пафоса она избегает.

Всю жизнь рядом с нею ее «звери». Собаки и кошки. Она их кормит, дает кров в ненастье, выхаживает тех, кого хозяева выбрасывают на улицу за ненадобность. Один из уличных котов до крови поцарапал ей руку. Теперь она с гордостью говорит, что «Себастьян (это тот самый кот) стал очень красивым и пушистым и занимает половину ее кресла, когда они вместе отдыхают по вечерам». И вот эта необыкновенная Алевтина была убеждена, что наши индюшки съедены вьетнамцами — и ничего тут не попишешь. Вышагивающий по дороге молодой индюшонок внушал надежду: может быть, где-то неподалеку притаились его родители, его соплеменники. Бедное, бедное индюшечье племя, ему, как и индейцам, желающим жить по своим законам, нет места в современном мире. Приходится уходить в леса, в чашу, скрываться в дебрях, но и там отыщутся те, кому хочется «взглянуть на диких индейцев» или «отведать мяса дикой индейки».

Оставалось три часа до вечернего урока. Полчаса занял звонок в Москву, сестре. В этот раз я звонила поздно, в одиннадцать часов вечера по-московскому времени, и разговор, при том, что всякое общение с сестрой — для меня радость, был горький: о несбывшихся планах, о болячках, об ушедших близких и о горстке оставшихся, о том, когда же наконец будем мы вместе...

Поднимаюсь к себе и сажусь за компьютер в тщетной попытке писать рецензию. Но нет, ничего не выходит, нет настроения, да и книга из разряда тяготящих. И вот я на улице — хожу вокруг дома по асфальтированной дорожке и размышляю на тему, близкую вечернему уроку, — о любви.

Пушкин «Египетские ночи» не закончил. Судя по отрывкам, он замыслил найти в современном ему Петербурге женщину, способную бросить мужчинам вызов Клеопатры. И судя по всему, такая женщина находилась. В отрывках ее зовут Воль-

ская. Наяву ей могла соответствовать Аграфена Закревская, жена финляндского генерал-губернатора, любовь поэта Баратынского, избравшая Пушкина своим наперсником. Об этом есть у него стихотворение: «Твоих признаний, жалоб нежных, / Ловлю я жадно каждый крик. / Страстей безумных и мятежных / Как упоителен язык! / Но прекрати свои рассказы, / Таи, таи свои мечты, / Боюсь их пламенной заразы, / Боюсь узнать, что знала ты!» Мужчина, опытный в любовных делах, боится узнать, что знала женщина в страсти... Что же это за страсть такая?! Далеко же современным кокеткам до восточных цариц и до «беззаконной петербургской кометы»!

«Египетские ночи» у Пушкина заканчиваются блистательным стихотворением, якобы сочиненным заезжим итальянцем-импровизатором; в нем описан пир Клеопатры, на котором она бросила всем присутствующим мужчинам свой вызов. Царица устанавливает «равенство» между собой и пирующими. Она — продавец, они — возможные покупатели. Только на кону не монеты, не золото — жизнь. Эту цену нужно заплатить за ночь любви. Ночь любви с Клеопатрой. Вот в чем ее вызов.

Ужасное условие.

Недаром Пушкин пишет: «Рекла — и ужас всех объемлет». Но одновременно «страстью дрогнули сердца». То есть ужас ужасом, но получается, что действительно в ее любви есть нечто бесконечно притягательное, за что можно отдать жизнь. Она называет это «блаженством» («В моей любви для вас блаженство»). Но только ли «блаженство» притягивает? Если говорить о тех трех, что приняли вызов, то их мотивы различны.

Первая ночь по жребию достается римлянину — Флавию. Он смелый и уже немолодой воин, «в дружинах римских поседелый». «Снести не мог он от жены высокомерного презренья». Вызов «наслажденья» он принимает как вызов на бой. Для него унизителен смертный страх, тем более перед лицом женщины, хоть и царственной.

Второй, купивший у Клеопатры ночь, — грек Критон. «Рожденный в рощах Эпикура», то есть поклонник греческого философа, провозглавившего наслаждение высшим благом, он еще и певец любви (певец «Харит, Киприды и Амура»), то есть поэт. Поэт-эпикурец, не раздумывая, покупает ночь наслаждения. И пусть цена запредельно высока, но и наслаждение обещает быть нетривиальным.

Третий — аноним, мы не знаем ни его имени, ни занятий. Это совсем еще юнец, чьи щеки «пух первый нежно отенял». Он неопытен в любви и рвется ее вкусить; скорее всего, Клеопатра — его первая (и последняя) женщина.

Теперь вопрос: для чего этот торг самой Клеопатре? Ей, царице, знавшей любовь римских военачальников: Цезаря, Антония? Зачем ей «неслыханное» — стать «наемницей» незнакомых ей мужчин, утолять их сладострастные желания?

Первая мысль — от скуки. Ей скучно на пиру, где все течет по обычному руслу. И вот она задумалась и «долу поникла дивною главой». И ей пришло в голову... Здесь не только то поражает, что решила стать «наемницей» — мало ли нимфоманок? — но назначила такую цену за свою любовь. Любовь — смерть. То есть эта ночь должна проходить под знаком смерти. Она знает, что он погибнет, и он знает, что утром погибнет. Это намного страшней, чем быть «у бездны мрачной на краю». Там есть у тебя хоть тень надежды на спасение, на выход из узкого прохода на простор, здесь же только эта ночь, а за ней — гибель, мрак, бездна. Без альтернатив. Ужасно. Понятно, что в этом случае Киприда — не легкая, веселая богиня любви и красоты, а «мощная» Киприда. К ней взывает Клеопатра, к мощной страшной Киприде, и к подземным царям — «богам грозного Аида». К тому свету она взывает, к подземному миру, ведающему мертвыми. Ибо за ее любовь следует смерть. И

здесь, похоже, ею движет не только скука, но и сладострастие самки богомола, откусывающей партнеру голову после совокупления.

Лермонтовская царица Тамара еще страшней Клеопатры. Она коварна и зла. Она заманивает всех подряд мужчин: воинов, купцов, пастухов. А затем, после ночи любви, предает ночного любовника смерти. Прямой договор Клеопатры подменен здесь коварной ловушкой, хотя схема остается той же самой — ночь любви, за которой следует смерть. Лермонтов предвосхищает последние строчки баллады о «безгласном теле», несомом волнами, поразительным сравнением. Ночь любви со сладострастной царицей сопровождается странными дикими звуками. «Как будто в ту башню пустую / Сто юношей пылких и жен / Сошлись на свадьбу ночную, / На тризну больших похорон». Сравнение амбивалентно: здесь одновременно и свадьба, и похороны. И в общем — то и другое верно, одно перетекает в другое. После убийства ночного гостя Тамара волей или неволей продолжает игру. Ее «прости», произнесенное из окна спальни и обращенное к «безгласному телу», сброшенному в Терек, звучит странно. В случае Клеопатры любовь завершается смертью. Лермонтов же свою балладу кончает словно бы новым любовным призывом. «И было так нежно прощанье, / Так сладко тот голос звучал, / Как будто восторги свиданья / И ласки любви обещал». Звучит как насмешка, но нет здесь насмешки. Это опять та же самая амбивалентность: смерть обещает любовь, хоть и иллюзорную.

Что это за любовь? И можно ли ей противопоставить что-то другое?

Все же в европейской традиции любовь — это чувство конкретное. Его объект имеет имя. Если тебе все равно, с кем ты имеешь дело, то это уже физиология, секс. И еще одно: от Библии идет: плодитесь и размножайтесь. Человеку заповедана любовь мужчины и женщины, приводящая к появлению потомства. Самый распространенный тип любви на протяжении веков — любовь супружеская, любовь в семье. Эта любовь, сакрализованная иудейской и христианской религиями, получила у них форму одного из священных «таинств» — «таинства брака». То, что изображено в «Египетских ночах», сильно отличается от европейского канона по всем пунктам. Любовь здесь направлена только на удовлетворение сладострастия, на получение удовольствия. Мужчина-властитель должен это удовольствие получить, а женщина должна его дать, вооружившись «всеми тайнами лобзанья и дивной негой».

Что могло привлечь в этой теме Пушкина? Почему он искал среди современниц ту, что могла бы бросить мужчине «вызов Клеопатры»? Я думаю, его влекла *грандиозность требования* женщины. И уже во вторую очередь *грандиозность жертвы* мужчины.

В XX веке в России я, пожалуй, знаю лишь одну женщину, способную поставить перед мужчинами «условие Клеопатры». Это подруга революционного поэта, его ускользающая любовь... А он сам, скорее всего, был бы способен принять ее условие. Да, эти двое точно могли бы. Оба как-то не помещались в свое время, хотя их время было масштабным по катастрофичности происходящего.

А больше и не назову никого.

Противопоставить Клеопатриной любви можно разве что любовь платоническую, рыцарскую, детскую. Детскую, ибо ребенок видит — и влюбляется, и носит этот образ с собой, как «рыцарь бедный» носил с собой образ Пречистой Девы. Именно она, Дева Мария, противостоит языческой Клеопатре. А между этими двумя полюсами — пространство земной человеческой любви.

Останавливаюсь возле разрыхленной удобренной грядки. Вот-вот из-под земли проклюнутся нарциссы и тюльпаны. Что там происходит под землей? Какое колдовство? Какой процесс идет, чтобы свершился это рывок от небытия к бытию?

Начало темнеть, и я почувствовала, что замерзаю. Поднялась к себе и включила рефлектор, чтобы согреться. До занятий с Таней оставался час.

* * *

Таня попала ко мне случайно. Ее маме кто-то дал мой телефон, она позвонила, спросила, не откажусь ли я давать уроки «неординарной девочке» шестнадцати лет. Я поинтересовалась: в чем неординарность? О, она увлечена живописью и скульптурой, школу недолюбливает, хочет делать то, что ей нравится, очень немногие учителя ее устраивают. Не скажу, что такая характеристика мне понравилась, но заинтересовала, это правда.

Из машины вышли две девушки: одна — высокая блондинка, с длинными распущенными волосами, другая — помельче, тоже с распущенными волосами — синевато-фиолетового цвета. Та, что с цветными волосами, и была Таня. Про себя я сразу назвала ее Мальвиной, невестой Буратино. Мама Тани уехала, и мы начали урок.

Первым делом поговорили о жизни.

Оказалось, что в Москве Танина семья жила на Чистых прудах, Таня родилась в том самом роддоме, недалеко от Чистопрудного бульвара, где появился на свет наш Данька. В раннем детстве она гуляла по Чистикам, кормила уток, любовалась белым лебедем...

Поначалу мне не показалось, что Таня какая-то особенная, разве что взгляд у нее был непокорный, даже вызывающий, и со своими голубыми волосами выглядела она, прямо скажем, необычно. Мы начали с ней с Пушкина. Я взяла его неоконченную повесть «Арап Петра Великого», давнюю мою любовь, — и мы читали ее с Таней и после объяснения непонятных слов и темных мест пытались обсуждать. Первое мое «художественное» задание она провалила. Я знала, что Таня художница, посещает специальный кружок, слушает лекции в художественном музее. Вот и попросила ее сделать портрет Пушкина, а предварительно показала череду пушкинских автопортретов и гениальные зарисовки Нади Рушевой, идущей во след Пушкину-художнику в его автоизображениях. Таня принесла мне лицо без глаз. На белом смятом листе был небрежно нарисован контур головы анфас. Я взъерилась. И это Пушкин? Почему ты так лениво и нетворчески работаешь? На вопросы отвечаешь вяло, скучно тебя слушать, и вот у тебя Пушкин без глаз. Разве мог Пушкин быть безглазым? Что ты хотела этим сказать? В следующий раз ты просто обязана меня поразить, а то я подумаю, что ты самая обыкновенная.

Надо сказать, что следующего занятия я ждала с некоторым страхом. Вдруг у девочки ничего нет, кроме самомнения? И вот они с мамой приехали. Таня села напротив меня на свое обычное место. Было видно, что ее бьет дрожь. Мне стало ужасно ее жаль, просто сердце сжалось. Хотелось сказать: «Танечка, да Бог с тобой, что ты так волнуешься?» Но удержалась. Спросила:

— Итак, что ты, Татьяна, думаешь о повести?

И тут она начала. Сначала довольно робко и сипло, но по мере говорения обретая уверенность и звучность голоса. Я не ожидала, что есть у нее и свой взгляд, и нужные слова. Со словами, правда, было хуже, приходилось ей подсказывать, так как первыми ей на ум приходили слова английские. Таня прожила в России, в старинной квартире на Чистых прудах, только три года и потом была увезена в Америку. Закончив ответ, Таня полезла в портфель и вынула оттуда новый портрет Пушкина. Совсем другой. Этот Пушкин был уже далеко не безглазый, глаза у него горели зеленовато-желтым огоньком, как у кошки, и он чем-то напоминал дальне-

го кошачьего предка — рысь. Я таких пушкинских портретов еще не видела. А Таня уже не дрожала, в ее взгляде читалось торжество. Когда за ней приехала мама, я ей громко сказала, чтобы Таня тоже слышала: «Ваша девочка сегодня меня удивила и порадовала. Думаю, нам будет интересно друг с другом».

И вот мы занимаемся уже почти год, и я считаю Таню своей «заветной» ученицей. Сегодня я хочу ей сказать одну очень важную вещь, суть которой про себя обозначила словосочетанием «Афинская школа». Сегодня в шесть часов. Не знаю, почему я так волнуюсь.

* * *

Пятнадцать минут до урока, я уже протерла стол в гостиной, зажгла настольную лампу, положила несколько печений на блюдечко — угощаю ими Таню в конце каждого занятия.

Целый год мы с ней изучаем Пушкина. И целый год над этим столом витает тень моего Учителя, известного пушкиниста, профессора Московского университета, опального, несмотря на все свои заслуги... Мы с сестрой со школьных лет посещали его лекции, он любил читать студентам вслух пушкинские тексты, сопровождая свое негромкое глуховатое чтение коротким и точным комментарием. С тех пор и я полюбила читать вслух на занятиях. С Таней этот метод вполне органичен — ей нужно научиться хорошо читать по-русски. Для чего, с какой целью? Для себя. Это еще одна моя ученица, которая занимается «для души». Надеюсь, она не уйдет так же внезапно, как Джен, Грета Беккер и Бобби...

Сколько за этот год мы получили наслаждения! «Арап», кроме удивительных картин эпохи, кроме потрясающего рассказа о любви «негра» к титулованной француженке, дает читателю некоторые нити к внутреннему миру автора. Все же Ибрагим — предок Пушкина, и есть, есть в этой повести что-то очень личное. А какие благоуханные отточенные фразы: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Сам Пушкин следовал за мыслями Петра, когда работал в архивах над его Историей. Или такое признание: «Сладостное внимание женщин — почти единственная цель наших усилий...» Как драгоценны эти слова Пушкина особенно для сегодняшних людей, живущих в эпоху, когда все перевернулось и мужчины ищут внимания мужчин, а женщины — женщин.

Вслед за «Арапом» мы с Таней обратились к «Повестям Белкина» — и снова наслаждение. Какой язык, какие замысловатые, немислимой крутизны сюжеты, а какие характеры! Герой «Выстрела» Сильвио Таню восхитил, ей понравилось, что, будучи в юности человеком тщеславным и завистливым, впоследствии он сумел морально превзойти «добродетельного» графа, заставив того дважды первым стрелять по себе и отказавшись от своего выстрела.

Следующим был «Дубровский», и здесь, как и в случае с «Арапом», было важно ответить на вопрос: почему Пушкин не закончил так счастливо начатую повесть. В «Арапе», положим, автора могла остановить не слишком красивая история, связанная с неверностью русской жены Ибрагима; автору, правнуку Ганнибала, не хотелось предавать огласке темные деяния предков. А в «Дубровском»? Странно, но выросшая в Америке Таня уловила политическую неблагонадежность пушкинского сюжета: крепостные крестьяне, взбунтовавшись, уходят в разбойники, и во главе их шайки — бывший помещик. Я еще больше заострила ситуацию: представь себе подобный сюжет в современной России — предположим, бунт в колонии, во главе которого ее бывший начальник, — можно ли быть уверенным, что книгу не запретят?

Две недели назад мы подошли к «Египетским ночам».

Они тоже не закончены. Почему? На этот вопрос довольно трудно ответить. Хотя... Судя по наброскам, Пушкин хотел перебросить «сюжет Клеопатры» в современность. Очень смелый ход, очень неосторожное поведение для того, кто, несмотря на то, что сам царь вызвался быть его цензором, все еще на подозрении как человек «неблагонадежный». Задуманный сюжет опасен, «аморален», предполагает картины, неприличные державной столице... И снова, как в «Арапе», но еще в большей мере, Пушкин здесь рисует себя, свой портрет — внешний и внутренний. Он — это Чарский. «Какое слово слышится тебе внутри этой фамилии?» — спросила я Таню. И она не очень уверенно, так как слово было полужнакомое, ответила: «Чара... чары». Значит, услышала и, возможно, даже поняла, что Чарский — немножечко чародей, как все настоящие поэты.

Сегодня нам предстоит прочитать последнюю написанную Пушкиным главу — выступление импровизатора, его стихотворную импровизацию на тему Клеопатры.

И сегодня же я хотела... впрочем, я не уверена, что мне хватит времени и что переход получится мотивированный... но если все совпадет, то я хотела сказать Тане нечто очень важное о наших с ней уроках... Именно Тане, ее я выбрала как свою «заветную» ученицу. Я долго несла это в себе, и, кажется, пришло время для объяснения некоего сакрального смысла того, чем мы с нею занимаемся.

* * *

На часах, висящих на стене слева от меня, ровно шесть. Пока Тани нет, я просматриваю «Египетские ночи». Какое счастье, что когда-то я увезла Пушкина с собой. Маленькие, в ладонь, серые томики уместились на дне чемодана, рядом я положила Библию, а уже сверху накидала белье и одежду. С одним чемоданом я перемещалась из Москвы в Италию, из Италии в Америку — и всякий раз соблюдалась эта диспозиция: снизу Пушкин и Библия, сверху все остальное. Странно, вот уже четверть седьмого, а их нет. Обычно Танина мама звонит мне с дороги, если опаздывает. Половина седьмого. Куда они запропастились? Почему не звонят?

Не хочется думать, что это не случайно. А вдруг? Р-раз — и решили, что хватит, что довольно, что сколько можно тратить деньги на «мертвый» для Таниного окружения язык? Признайся, ты ожидала чего-то подобного, хотя гнала эту мысль, все обдумывала, что сегодня скажешь Тане. Неужели наши занятия оборвались и все, что я хотела высказать, так и останется со мной, так и не достигнет Таниного слуха? И я не покажу ей репродукцию той ватиканской фрески Рафаэля, где на самом верху у колонн стоят два божественно красивых и могучих человека, учитель и ученик, седовласый старец Платон и черноголовый мужественный Аристотель? И не укажу ей, моей художнице, на знаменитых мудрецов древности, разбросанных по пространству фрески: греческих, египетских и персидских. Все они, где бы и когда бы они ни жили, были выучениками тех двух, великих, у всех за спиной стояла афинская школа. И пришел Рим, и все покорило Риму, его мечу и его законам, но подспудно в огромной империи осуществлялась незримая работа, покоренные греки несли в мир свое знание, свое искусство, свой взгляд. И чудо — на фреске Рафаэля, созданной века спустя в Вечном городе, городе победителей, городе Цезаря и Октавиана Августа, в перл создания возведены два мудреца из покоренной Римом провинции — Платон и Аристотель, и прославлена их афинская школа.

Когда-то в детстве я прочитала в исторической книжке, как один греческий актер, мим, убедившись, что греческой цивилизации больше не существует, страна завоевана, храмы разрушены, книги сгорели в пожарах войны, решил, что пока

жив, будет нести в мир сохраненные им священные осколки. Может быть, и нам, живущим в чужой стране, среди тех, кто говорит, думает, шутит на другом языке и все это делает иначе, чем мы, может быть, и нам предстоит этот путь? Путь, начертанный Рафаэлем в его «Афинской школе»?

Неужели я никогда не смогу этого сказать своей «заветной», понимающей меня с полуслова ученице?

Громкий звонок в дверь. Кто это? Я уже словно забыла, что сегодня наш с Таней урок.

Но это они, Таня и ее мама. Танина мама бросается ко мне, скороговоркой начинает объяснять, что на дороге столпотворение, строительство, авария, что на том участке пути, где они стояли, отсутствовала мобильная связь. Таня уже сидит на обычном месте. Яркий свет люстры падает на ее фиолетово-синие волосы, делает их зелеными, под цвет русалочьим глазам.

Танина мама уходит, и, когда я подхожу к столу, Таня вдруг говорит:

— А знаете, кого мы чуть не сбили по дороге? Целое семейство индеек, их было штук шесть; кажется, они шли в вашем направлении.

Мне становится как-то очень легко, я глубоко вбираю в себя воздух и сажусь на свое место у стола. Урок начинается.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Корабельные ростры и в горле ком.
Мне казался остров материком.
Он плывет через океан времен, —
Только памяти волю дай.
На одном конце Тома де Томон,
На другом конце Голодай.

Этот остров с рождения мне знаком.
Он казался в детстве материком,
Где таинственен каждый дом.
Он вместил недолгую жизнь мою:
Старый Пушкинский Дом на одном краю,
Воронихинский — на другом.

Постепенно освоив его потом,
Я читал, как читают за томом том,
Перелистывать не спеша,
Этот остров, похожий на материк,
Где голодных чаек тревожный крик,
Где осталась моя душа.

И когда меня нянька сквозь листопад
На прогулку вела в Соловьевский сад,
И собор надо мной возник,
Где святого Андрея светился лик,
Для меня этот остров, как материк,
Необъятен был и велик.

Не с того ли, когда котелок с водой,
Нес с Невы я, слабеющий и худой,
Той блокадной злой зимой,
И мешал мне ветер, толкая в грудь,
Мне казался тысячеверстным путь
По замерзшей моей Седьмой?

Много раз за отпущенные года
Я менял континенты и города,

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт. Доктор геолого-минералогических наук, участник многочисленных научных океанологических экспедиций. Автор многих поэтических книг и популярных песен и восьми книг мемуарной прозы. Член СП. Живет в Москве.

Мир стремясь обойти кругом.
А теперь очевидно и без очков:
На одном конце этот мост Тучков,
Николаевский — на другом.

Под мостом убегает в залив вода,
И опять недоступны мне, как тогда,
Удаленные те места
Вдоль пути, по которому я прошел,
Где в начале — родильный дом на Большом,
А в конце пути — темнота.

Над рекой Смоленкой стоят кресты.
Здесь окажешься вскоре, возможно, ты,
Если сгинешь невдалеке.
От тебя вблизи, от тебя вдали
Будут плыть кварталы, как корабли,
Отражая огни в реке.

Белой ночи негаснущая заря
Призывает в неведомые моря.
Над Маркизовой лужей дым.
Был ребенком, сделался стариком.
Стал мне остров снова материком,
Необъятным и молодым.

ДОМ КНИГИ

Светлая паркетная дорожка
И собор Казанский за окошком.
У прошедшей жизни на краю,
Вспоминая давнее былое,
В Доме книги, как у аналоя,
Между полок с книгами стою.
Время стрелки неотступно крутит.
Улыбнется с супера Тарутин,
Северный напомнив Енисей,
И опять под солнцем вспыхнет ярко
Снегом заметенная Игарка, —
Вспоминай, печалься и лысей.
Вот, раздвинув классиков легонько,
Между ними влез Агеев Ленька,
Что витает нынче в облаках,
И опять заденут за живое
Бдения над черною Невою
С початой поллитрою в руках.
Слепакова Нонна и Соснора.
Вспомню комаровский лес сосновый,
Берег под опавшею листвой,
Тот роман наивный изначальный

С быстрою развязкою печальной,
Электрички сумеречный вой.
Бронза солнца плавится на Весте,
Радио несет дурные вести,
Потемнела нельская вода.
Неужели все мы были вместе
В те полузабытые года?
Старики седые и старухи,
Стали мы беспомощны и глухи,
Те, кто на Земле еще пока.
Мы идем во тьму поодиночке.
Наши напечатанные строчки
Не войдут в грядущие века.
Ссоры, пересуды, кривотолки.
Век наш завершается недолгий,
И оставит на песке волна
Времени минувшего осколки —
Книжечки, стоящие на полке,
На которых наши имена.

АНГЕЛ НАД ГОРОДОМ

Евгению Анисимову

Ангел, летевший над городом Санкт-Петербургом,
В прежних веках и минувшем столетии бурном,
В здешнем музее пылится, уйдя на покой.
Вместо него, продолжая во времени гонку,
В небе витая с трубою, трубящею громко,
К будущим дням устремляется ангел другой.
Видно, лететь ему далее не было мочи.
Он пролетел сквозь блокадные черные ночи,
Крылья свои обморозив на зимнем ветру.
Он в облаках зависал неподвижно когда-то
Над взбудораженной площадью возле Сената,
Бой барабанный услышав внизу поутру.
Он пролетал, поводя своей женской головкой,
Над усыпальницей царскою и Пискаревкой,
Зимним дворцом и свинцовым разливом Невы.
В дни наводнений и шумных народных волнений
Он избавлял нас от горестных наших сомнений,
И избавлял иногда понапрасну, увы.
Вечно парящий над городом ангел-хранитель,
С ним навсегда нас связали прозрачные нити,
С ним неразрывна нелегкая наша судьба.
И воплотятся надежды в грядущие были,
Если крыло его вспыхивает на шпиле,
В небе трубит, за собой увлекая, труба.

ЛИЦЕЙ

Оставив годы за плечами,
От бед не същешь панацей.
Он снова снится мне ночами
Тот императорский лицей.
Питомцев юных отголоски,
Истории начальный том,
Тот пушкинский и горчаковский,
Что стал ставрогинским потом.
Куницыны и энгельгарты,
Как ваши планы велики,
Пока еще сидят за партой
Послушные ученики.
Пока зима еще не близко
И просвещения ростки
Восходят на земле российской
Реальной жизни вопреки,
Каких ни прилагай усилий,
Не одолеешь естество —
Навеки связаны в России
Чиновники и воровство.
Лет александровых начало,
Эпохи путинской конец.
Зачем он снится мне ночами,
Екатерининский дворец?

КИЕВСКАЯ РУСЬ

Куда ушла ты, Киевская Русь,
Дорогой невозвратною и длинной?
Твоих сказаний перепев былинный
Со школьных лет я знаю наизусть.
Когда Боян твой возлагал персты
На гуслей переливчатые струны,
В какие дали устремлялась ты,
Варяжские перепевая руны?
Без колебаний принимая бой,
В сражениях не ведала ты страха.
Колокола звенели над тобой
Твоим героям славу рокотаху.
Покуда не сожгли тебя дотла
Татары, перебравшись через Волгу,
Для нас окном в Европу ты была
До Питера дождливого задолго.
Куда ушла ты, Киевская Русь,
В какие степи и леса какие?
Твоих закатов сохранило грусть
Немеркнувшее золото Софии.

Пока бежит днепровская вода
И вызревает жито молодое,
Не сможешь ты ужиться никогда
С Московской Русью, ставшею Ордою.

ЕСЛИ НЕТ В СТРАНЕ НАУКИ

На дворе у нас ненастье.
Очевидно всем вокруг:
Разогнать решили власти
Академию наук.
Сдать министрам на поруки.
Только что-то не пойму:
Если нет в стране науки,
Защищать ее кому?
Обещаньям верить бросьте,
Нам сейчас не до легенд.
Бюрократам в горле костью
Стал опять интеллигент.
Не дадим в чужие руки
Нашей будущей судьбы.
Если нет в стране науки,
В ней командуют жлобы.
Нам сдаваться не пристало.
Эта участь не для нас, —
Стать Московией отсталой,
Продавая нефть и газ.
Не простят нам наши внуки
За молчание вины.
Если нет в стране науки,
Значит, нету и страны.

* * *

Нередко я слышал,
Мне слышать это горько,
Что не нужна стихам
Гитарная подпорка.
Что строчка только та
Способна сдать экзамен,
Которая с листа
Читается глазами.
Не слушай это, друг,
В гитаре разуверяясь:
Первичен только звук, —
Все остальное — ересь.
Он шел через века,
От Ветхого Завета,
Печатного станка
Не зная и Интернета,

К поэзии пролог
И нынешним наукам.
И слово было — Бог,
И слово было звуком.
В краю, где нет зимы,
В хамсина жаркой хмари
Слагал Давид псалмы,
Играя на кифаре.
Среди полночных стран
Перепевая руны,
Персты свои Боян
Вначале клал на струны.
Единым был закон,
Державшийся упорно
С Орфеевых времен
До времени Де Борна.
Минуты коротки.
Бесследно канут в Лету
Печатные станки,
Экраны Интернета.
Но снежники вершин
Одолевая снова,
Все так же нерушим
Союз струны и слова.

Екатерина НАГОВИЦЫНА

ЭНГЕНОЙСКАЯ ВЕДЬМА

*Посвящается
тем самым четверым женщинам врагам*

«Как же сильно я устал», — пронеслась в голове Игоря неоригинальная мысль. Последнее время она все чаще не давала покоя. Хотелось спать. Сказывался многодневный недосып. Но все не так просто. Надо собраться. Собрать мысли, силы, волю и добить разработку предстоящего выхода разведрот на зачистку небольшого села. Времени в обрез. Выход, кажется, самый обычный. Можно даже сказать, рядовой, но... Вот это «но» не давало подполковнику покоя. И задача нехитрая, вполне в рамках боевых действий: контролирование зоны ответственности в горно-лесистой местности Чеченской республики. Участок — несколько десятков километров, в масштабах карты совсем не большой и не такой уж сложный. Но то, что хорошо да ладненько на бумаге, то очень заковыристо на овраге. На земле, за которую в данное время нес ответственность отряд подполковника Игоря Андреевича Василевского, орудовала банда. И дело это, в общем-то, обычное, и даже закономерное в условиях идущей здесь войны. Правда, до этого отряд и банда как-то вполне сносно сосуществовали рядом, просто зная о наличии друг друга, особо не контактируя и не досаждая различными неприятностями. Командиры, которые заступали до Игоря, руководствовались простыми человеческими соображениями:

— Война идет, и пусть идет себе тихонечко стороной. Наше дело — отсидеть положенный срок и приехать домой, вернув мамкам и папкам живой личный состав. А подвиги и яростные атаки — это для героев кинолент.

Нет, конечно же, на службу никто не забивал. Все было продумано и отточено до мелочей. Каждый знал, что должен делать в случае неожиданного нападения на расположение. Все же сказывался опыт первой чеченской кампании — выводы делать научились быстро.

Василевский за военной романтикой тоже не гонялся. По опыту знал, что ничего особо здесь не изменишь и войну не победишь, а вот смотреть в глаза убитых горем родителей придется. Он становился старше и, наверное, сентиментальнее: больше стал ценить семью и уют домашнего очага. Да и чего греха таить — с женой ему повезло. Ольга была замечательная женщина. Так сказать, всеми качествами обладала — красивая, ладная, и, даже слегка раздавшись после вторых родов, стала еще привлекательнее в его глазах. Заботливая к нему и детям. Умело и споро вела их нехитрый офицерский быт. Веселая и легкая характером. Жить с ней было одно удовольствие, и последнее время Игорь начал замечать, что в командировках вдруг стал все больше и больше тосковать по дому, по жене, по сыновьям. А ведь раньше этого не было. Уезжал легко, приезжал легко.

Екатерина Семеновна Наговицына родилась в 1978 году в городе Свердловске. Окончила Екатеринбургский техникум и три курса Уральской академии государственной службы, когда поступило предложение служить Родине. Майор спецподразделения. Участник боевых действий. Кавалер ордена Мужества. В 2012 году окончила Юридический институт. В 2011 году заняла первое место в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово». Живет в Екатеринбурге.

«Старею», — подводил итог размышлениям Василевский.

Так вот, в последнее время что-то изменилось в состоянии дел на его линии фронта. Что ни рейд, то какое-нибудь ЧП — то обстрел, то подрыв. Засады устраивались грамотно, и выскакивали бандиты, как черти из табакерки. Что ж за ерунда такая?! Но царапала другая мысль: откуда у чехов информация по маршрутам. И ответом на это было единственное предположение, от которого подполковник пытался внутренне отрешиваться: сливает кто-то, и этот кто-то совсем близко. Доступ к оперативной информации имеет и пользуется этим, паскуда. Игорь Андреевич не привык опираться только на предположения. Его пытливый ум требовал неопровержимых фактов, доказательств, и вот тогда бы рука не дрогнула. Лично бы списал предателя на неизбежные потери. Много мог понять и простить Василевский — сказывалась жизненная мудрость в понимании других людей, их поступков; и лишь когда сталкивался с подлостью и предательством, внутри начинал просыпаться жестокий и безжалостный зверь. Но негласные проверки ничего не давали, значит, утечка может идти и выше, в совсем иных эшалонах власти. От этого на душе становилось совсем тоскливо.

У входа в палатку послышался стук ног о деревянный настил. Даже не оборачиваясь, Игорь легко смог представить, как командир второй разведроты, Саня Крушнов, сейчас безуспешно пытается сбить липкую, пластилиновую грязь с берцев. Василевский мог бы поклясться своим подствольником, что Саня при этом с удивлением разглядывает собственные ноги, как будто никогда ничего подобного не видел. Такое выражение постоянно присутствовало на его лице — крайней степени заинтересованности и легкого удивления. Точно так же он разглядывал новичков, карту, еду в котелке и трупы боевиков. Игорю симпатичен был этот немного флегматичный командир.

В душе опять заворчалось гадкое подозрение — а вдруг именно Саня сливает данные? Но даже под прессом внутренней паранойи не получилось связать Крушнова с боевиками. Невысокий, коренастый, немногословный, умело и спокойно вел он свой счет с бандитами. А счета, по которым надо было платить, были у всех. Тут же вспомнилось, как после первой засады, устроенной боевиками, ходили они среди погибших ребят. Игорь пытался держаться деловито, маскируя подсчетом потерь свою растерянность от нарушенного перемирия. Вот ведь понимал, что нельзя расслабляться с этими шакалами. Сам в душе не верил в то, что постоянно будет так спокойно и ладно, но все равно эта первая засада застала всех врасплох. Не досчитались одного, командира группы, лучшего друга Сани — Федора. Саня метался с несвойственной для него скоростью среди изломанных, исковерканных тел, переворачивая парней лицом кверху и называя каждого по имени. И от этой переключки Василевскому становилось не по себе. Когда пересчет пошел на третий круг, он не выдержал и крикнул:

— Нет его! — И Саня остановился, замер, посмотрел на него с неизменным удивлением и, как будто не слыша слов Игоря, повторил:

— Его нет.

В этот момент их позвал один из бойцов, которые осматривали пути отхода боевиков. Саня бросился туда. У тропы, всего в десятке метров от места засады, лежало истерзанное тело Федора. Окрыленные легкой победой и ощущением безнаказанности, покуражились бандиты на всю катушку.

— Как же так, братан... — шептал Саня, пытаясь оправить форму на друге, но разодранная ткань в засохшей крови не хотела ложиться как надо и все время топорщилась, открывая изуродованное тело.

Вечером Саня попытался выпить. Сидел на камне, вглядываясь в темнеющую

зеленку горного перевала, а водку, которую пил из горла, закуривал сигаретами, одну за другой. К нему никто не подходил. Было понятно, что никто не сможет сказать ему ничего утешающего. Умер его друг настолько страшно, что все слова были пусты и бессмысленны. И только заместитель командира, майор Васеев, попробовал похлопать его по плечу, держись, мол. Саня только дернулся, как будто его ошпарили, но не обернулся.

Игорю тогда тоже хотелось выпить. Сидеть и молчать, а может, наоборот, выговорить всю досаду и внутреннюю боль, но нельзя. Весь личный состав был подавлен этой первой потерей, всем было тяжело, и не хватало еще командиру дать слабину, считай, враги деморализовали противника, а значит, выиграли, победили, добились своей цели. Игорь ввел усиление и сам всю ночь не спал, обходя посты, вглядываясь в темноту, прислушиваясь к беспокойной, условной тишине кавказской ночи.

А на следующий день вывезли тела в Моздок и отправили бортом домой. Саня сам утром подошел и попросился сопровождать груз 200. Игорь дал добро и даже предложил ему остаться дома после похорон, но Саня, отрицательно качнув головой, сказал:

— Я вернусь с заменой.

И вернулся. Привез замену.

А после этого, собранный, готовый к работе, со злым задором выдвигался на зачистки и проверки. Наверное, никто в отряде не искал с таким остервенелым рвением боевиков и не предвкушал «радость» встречи.

Палаточный полог хлопнул и с потоком холодного ночного воздуха, как и предполагалось, вошел Саня и сразу спросил:

— Ну что, командир, во сколько выдвигаться будем?

— Будем, — Игорь поднял красные от недосыпа и давления глаза.

— Предлагаю часиков в шесть, так сказать, с первой зорькой.

— Можно и в шесть, только вот что-то беспокойно мне последнее время.

— Ты знаешь, а мне как раз в последнее время очень спокойно. Так что не переживай. Завтра пройдемся на мягких лапах. Глядишь, и зацепим ублютков.

Игорь грустно усмехнулся:

— Зацепим. Каждый раз сами же на их фокусы нарываемся. Течет откуда-то, Саня, ой течет...

Помолчали. Ротный внимательно посмотрел на Игоря и произнес вслух то, о чем уже давно думал и Василевский:

— Может, у Тамары спросишь?

— Спрошу. Иди, отдыхай, завтра вставать рано. Перед выходом отдельно всем все доведу.

Саша вздохнул и, не прощаясь, вышел из палатки.

Тамара — отдельная история. Приехала она с заменой, после того как погибла первая группа. Снайпер каких поискать надо. Яркая, крепкая, с красивыми волнистыми каштановыми волосами, чересчур заметная для этого места, она внушала благоговейный ужас всем, начиная от командования и заканчивая личным составом. Был у нее, помимо снайперского таланта, еще один необычный дар — предвиденье. Про это на людях молчали, но за глаза говорили про нее просто, по-деревенски — ведьма. Было что-то в ней действительно завораживающее и пугающее.

Вот и когда Саня хоронил своего друга Федора, черный от горя стоял у могилы, подошла она к нему и тихонько шепнула:

— Не рви душу, ты Их найдешь и не ошибешься, знак на Каждом будет.

И сразу как отпустило Сашку, — словно незримый ветерок души коснулся. Снова

стал спокойный, как всегда. Вот только на выходах и зачистках пристально в чехов вглядывался. Пытался понять, что за знак такой предречен.

Игорь почувствовал легкий запах корицы и за секунду до того, как прошуршал полог, понял, что вот и она — легка на помине. На пороге выросла Тамара.

— Разрешите?

— Проходи.

С царской осанкой, плавно подошла и села напротив командира.

— Разговор у меня к тебе серьезный, Игорь Андреевич.

— Ну... — протянул тот, теряясь в догадках.

— Ты только выслушай спокойно, без сердца. Просьба у меня к тебе, считай, что деликатная, личная, — и ошпарив взглядом командира, договорила, — напарница мне нужна.

— А где я ее возьму, напарницу-то? — не понимал Игорь.

— В этом все и дело. Завтра придет девица просить перевод в нашу бригаду, там, дома. Позвони командиру, попроси, чтоб взяли и сюда по возможности скорее прислали.

Василевский аж задохнулся, махнув рукой.

— Да ты что, Тамара! Что ты такое говоришь. Кто придет, куда придет, что я Викторовичу скажу? Да ты себе это представляешь? Как комбригу объясню, чтоб он мне еще одну бабу сюда прислал?!

— Не бабу, — Тамара уперла в него свои огромные зеленые глазищи, и от этого стало не по себе.

— Извини. Ну, не бабу, девицу эту. Ее в глаза никто не видел, да и как ее сюда заслать.

— Будет оказия. Точно.

Игорь вскочил со стула и стал мерить палатку шагами, пытаясь найти хоть какие-то доводы.

— Тамара, ты же знаешь, как мы все к тебе относимся. Ты только пальцем ткни, и любой из пацанов за честь сочтет с тобой двойкой быть. Ну что за блажь такая, а?!

— Я хоть раз у тебя что-то просила?

— Нет.

— Так вот сейчас прошу. Пойми, нужна она мне. Не могу объяснить, но нужна. Вот когда она придет, тогда я тебе вычислю, кто бандитам информацию сливает, а пока силы не хватает.

Игорь поперхнулся.

— Бред какой-то. Такое ощущение, что я сплю. Тамара, ты что — хочешь меня на смех поднять?!

— В чем смех?

— Да во всем! — он почувствовал, что внутри закипает. — Тебе-то здесь не место, а тем паче еще одной. Давай сделаем меня командиром бабского батальона, чтоб чехам веселее воевать было.

— Ты, Андреич, не заводись. Говоришь сейчас не свои слова, да и мысли не твои. А вот чьи?

Василевский промолчал, понимая, что сказал явно лишнее. А Тамара продолжала, глядя ему в лицо:

— Ты просто не видишь эту ситуацию, как ее вижу я. Пойми одно: в жизни мы все время сталкиваемся с выбором, а потом с этим выбором надо будет жить, — и, как будто подбирая слова, добавила. — Сейчас не поможешь мне, потом не кляни судьбу за потерю младшего сына.

Игорь даже головой замотал от неожиданного поворота.

— Ты что! Ты что! Пашка-то тут каким боком?!

— А таким. То, что ты некоторые связи судеб не понимаешь, не означает, что их нет. Так что выбирай. Не хотела я тебе это говорить, но извини — пришлось.

Игорь почувствовал, как защемило душу ледяющим ужасом, ковырнул хорошо скрываемый страх за семью, за сыновей — а вдруг...

И каким -то не своим голосом просипел:

— Да как я комбрига об этом попрошу?

— Не переживай. Скажи Викторовичу, что я просила, а дальше все само устроится как надо. — И направилась к выходу. Вдруг остановилась, прислушавшись к тишине, и, кивнув, пробормотала:

— Пусть Иргин и Буровой завтра на зачистку не идут, мамки за них сильно молили. И выходить надо в пять. Так оно надежнее будет. — И вышла, оставив за собой легкий запах корицы и ошарашенного Василевского. Тот лишь в растерянности пробормотал:

— Мамки какие-то... веревки из меня вьет, ведьма.

* * *

В пять уже всех построили. Сонные солдаты зябли в утреннем тумане и ежились в бушлатах. Игорь довел основную задачу. Раздал последние указания командирам разведрот и, уже перед тем как скомандовать на выход, объявил:

— Иргин и Буровой: выйти из строя!

Два молоденьких солдатика, с непониманием глядя на Василевского, вынырнули из шеренг.

— Заступаете сегодня в наряд по кухне. Остальные — по машинам.

Засуетились. Крушнов первый залез на броню. Удобнее усаживался и вглядывался в предзвездные сумерки, нежно поглаживая автомат, словно охотничью собаку. У Василевского зануло в груди: «Точно старею. Нервы кончились».

На последнем бэтээре взгляд выхватил Тамару, в горке, брезентовой бандане, практически не отличимую от других бойцов. Та кивнула ему, и в это время машины тронулись, быстро выкатываясь колонной на дорогу, ощерили стволы в разные стороны, и, обдав оставшихся гарью выхлопных газов, рванули, набирая скорость.

Василевскому нестерпимо захотелось перекрестить удаляющиеся машины, но он сдержался. Как-то нелепо это будет выглядеть. Игорь Андреевич резко развернулся и быстрым шагом, пытаясь оторваться от щемящего чувства тревоги, направился к штабной палатке. Там, почему-то, не отдавая себе отчета, пристально оглядел все углы. Лишь убедившись, что точно один, достал спутниковый телефон. Посидел и, как бы собравшись с силами, стал быстро, чтобы не передумать, набирать череду цифр. Пока ругал самого себя за несвойственную слабину, щелкнуло соединение. Игорь просиял:

— Оленька, привет. Это — я!

— Здравствуй, родной. Как ты?

— Нормально, не переживай. Как пацаны?

А жена уже торопилась, экономя драгоценные минуты, и, как всегда, пыталась вложить максимум информации в минимальный промежуток времени. Но главное — прочувствовать душой, все ли в порядке.

— Все хорошо. Костя четверть без троек закрыл. Сочинение написал на пятерку, хочет, как ты, быть командиром.

Игорь улыбнулся, она же продолжала, почти не делая пауз, зная, что связь может неожиданно оборваться, и когда опять услышит родной голос, неизвестно.

— Пашка вчера упал в садике, колени в кровь разбил, но даже почти не плакал. Воспитательнице сказал, я — мужчина!

В груди тягуче заныла тревога, и, чтобы скрыть ее от женской прозорливости Игорь заговорил с нарочитой веселостью.

— А ты представляешь, Оль, вчера Тамара подходила и просила напарницу себе прислать, девицу какую-то.

На другом конце провода повисла тишина. И вопреки, а может, наоборот, в поддержку некоему тайному желанию Игоря (он бы и сам сейчас точно не определил), вдруг ответила:

— Тамара просто так просить не будет. Помоги. Позвони Викторовичу.

Разговор с Ольгой утвердил его в уже, в общем-то, принятом решении. Но нужна, нужна была поддержка от самого близкого человека, от той, кому он всецело доверял. Он сразу, чтобы не растерять уверенности, набрал номер командира бригады. Олег Викторович на удивление спокойно выслушал немного сумбурное объяснение и ответил, что если какая-нибудь женщина действительно сегодня придет устраиваться, да еще и будет подходить по всем параметрам, то возьмет. А там будь что будет.

Такого Василевский, честно говоря, не ожидал. Не предполагал, что так легко сложится разговор с комбригом. И, отключив трубку, уставился на маленькую иконку Божьей матери, которую дала жена еще перед первой командировкой.

— Дальше все в воле Божьей, я сделал, что мог.

И стало вдруг Игорю легко на душе, как от правильного поступка.

* * *

Все сложилось так, как, видимо, и должно было сложиться: через три недели бюрократическая машина Минобороны, поразив непривычной скоростью и оборотистостью, прислала в отряд молодую девчонку. Ее уже ждали, слухи о прибытии долетели до отряда и, обрастая фантазиями и домыслами, живо смаковались личным составом.

Сверхъестественного в ней не было ничего: среднего роста, короткая стрижка, серые глаза, волевое лицо, негромкий голос. Ничего, кроме одного: еще никто и никогда из женщин не переводился так стремительно и легко. Да еще сразу в командировку. Все, от Василевского и его заместителей до рядового состава, разглядывали ее даже не как представительницу другого пола, а как некое чудо. Один из солдат, глядя, как она ловко спрыгнула с «Урала», доставившего девушку и продукты из Ханкалы, ляпнул что-то скабрзное. Стоящие вокруг дружки громко заржали, не заметив, как из-за спин вынырнула Тамара.

— Кто еще раз такое скажет или даже подумает, тот до дембеля не доживет. Это я вас не пугаю, а как старший товарищ предупреждаю.

И, не оборачиваясь, пошла к штабной палатке, оставив за собой гробовое молчание.

Больше желания болтать ни у кого не появилось. Все уже знали, по чьей рекомендации новенькая оказалась здесь. Да и не о чем было судить-рядить: пацанка и пацанка, даже имя какое-то не совсем девичье — Кира.

Девчонка оказалась простой, без амбиций и закидонов, спортсменкой в прошлом, мастером спорта по биатлону, решившей пойти по стопам отца и служить Родине. Сама не ожидала, что все так у нее сложится, без препон, явно не понимала, чем вызвала такое пристальное к себе внимание. С детства знала, что уважение надо заслужить. Ощущая некий аванс, выданный высшими силами, пыталась постоянно доказывать, что достойна.

Войдя в штабную палатку, представилась, подала Василевскому документы. Тот быстрым взглядом окинул ее. Внутренний страх (а вдруг прибудет какая-нибудь сногшибательная роковая красотка, и покой во вверенном ему отряде будет утрачен) пропал. Девчонка, по его внутреннему чутью, была правильная. Игорь для приличия задал ей какие-то обязательные вопросы, из серии «как добралась, готова ли нести службу и есть ли какие-либо пожелания?». И, удовлетворившись краткими ответами, кивнул в сторону двери и сказал:

— Ну, тогда, Кира, поступаешь в личное распоряжение капитана Вьюжевой. Знакомьтесь.

Кира обернулась, вздрогнув от неожиданности, — за спиной стояла женщина.

Она улыбалась и, шагнув, протянула руку:

— Тамара. С приездом.

— Очень приятно. Кира.

Василевский остался доволен эффектом:

— Устраивайся, осматривайся и приступай к выполнению своих обязанностей. Тамара тебе все объяснит и покажет.

Обе вышли из палатки. С души словно не камень свалился, а глыба. Пусть будет женская снайперская двойка, вон у чехов полно было прибалтийских и украинских снайперш, и ничего, как-то находили общий язык, а у них вековые традиции и шариат. Правда, такого благодушия не разделил зам и старый приятель, с которым Василевский окончил артиллерийское училище, майор Васеев.

— Ну что за чушь?! Зачем нам эти бабы! Ну вот объясни ты мне, Игорь, почему ты позволил. Насмешка какая-то над тобой. Тамара навязалась на нашу голову, теперь эта пигалица еще приперлась. Дома им, видишь ли, не сидится, подвиги подавай.

— Ладно, Володя, не накручивай себя. За время службы у Тамары никаких нареканий не было. Да и дар ее нам на пользу. К тому же новенькая, вроде, девчонка не плохая.

— Ой, да какой дар! Крутит из вас веревки. Охота себя начальницей почувствовать, вот и наводит тень на плетень. Не верю.

— Однако дело свое знает на пять с плюсом. Есть чему поучиться. Да и счет с врагом ведет. Чего тебе еще надо?

— Мне надо, чтоб этих баб рядом с нашим отрядом не было. Не место им на службе и тем более на войне. Детей пусть рожают и мужиков с работы ждут. А здесь, вот помяни мое слово, устроит еще эта двойка нам делов.

Васеев зло закурил, отвернувшись к маленькому окошку, через которое все равно ничего не было видно.

«Эх, кипит Вовка, устал, начинает раздражаться», — отметил Василевский, глядя в упрямую широкую спину товарища.

Сколько помнил Игорь Васеева, тот всегда быстро заводился. Но всегда по теме. «Темперамент», — говорили про него. Душой болел за дело. Тем более, что спецом был отличным. Можно сказать, воином с плаката «Будь мужчиной — отдай долг Родине». Высокий, статный, широкоплечий, с красивым, немного суровым лицом. Сильный и ловкий. Еще до училища сумел сдать на черный пояс по каратэ и иногда демонстрировал что-нибудь из Брюса Ли и ему подобных. Был в почете среди курсантов и даже преподавателей. Так как всегда стоял за справедливость. Однажды, еще в начале первого курса, чуть не вылетел из училища за то, что крепко поколотил второкурсников, которые пришли к ним в расположение после отбоя и начали качать права перед малолетками, пытаясь указать, где их место и как положено обращаться со старшими. Старшекурсников было пятеро, но это им не

помогло. Утром все были в лазарете, а Володя — перед начальством. Где упорно молчал и не отвечал на все задаваемые вопросы. Чем довел товарища полковника до крика и угроз об изгнании с волчьим билетом. И лишь пришедший командир взвода смог потушить этот взрывоопасный вулкан, в приватной беседе объяснив, как было дело. Впоследствии Володька стал кумиром всех курсов, так как никого в обиду без причины не давал и всегда выступал в роли третейского судьи, быстро и справедливо расставляя точки в спорах, которых всегда хватало в училище, как, впрочем, и везде, где под одной крышей собрана разновозрастная молодежь. Даже руководство училища иногда обращалось к нему, чтоб помог какому-нибудь курсанту младших курсов, который по каким-то причинам не мог найти общий язык с остальными ребятами. Он не просто брал шефство над изгоем, а подтягивал его и занимался с курсантом лично, выделяя для него свое время, которого и так всегда не хватало, чем мгновенно повышал его рейтинг в глазах остальных. Уже тогда проявилось редкое педагогическое чутье Васеева и различные подходы к воспитанию будущих офицеров. Этому богатырю искренне хотелось подражать. Да и чего лукавить: Игорь помнил, как сам невольно копировал его слова, жесты, мимику. Стоя перед зеркалом, сравнивал себя с другом и вздыхал. Юношеский максимализм безжалостно выставлял оценки. Казалось, у Володи нет никаких слабостей. Но Игорь знал одну, так как вместе, курсантами, бегали на дискотеки. Володька, не теряя лица, млея от повышенного женского внимания. Без раздумий бросался в битвы за сердца красавиц и выходил достойным победителем.

После выпуска судьба их развела. Васееву, закончившему с отличием, предлагали остаться и продолжить службу в стенах училища, пророча блестящую преподавательскую карьеру, но он отказался, всей душой стремясь на реальную службу. Легко, без особых трудностей прошел отбор в спецназ, впрочем, никого этим не удивив. Хотя Василевский иногда повторял, что артиллерия изрядно потеряла в его лице. На что Васеев только весело махал ручищей и басил, что не видит себя без спецназа и боевых выходов, и через какое-то время окунулся в водоворот первой чеченской кампании. Слыл смелым и отчаянным офицером. Быстро и заслуженно оброс медалями и уважением сослуживцев. А вот в личном — не сложилось: поменял двух жен и сейчас находился в свободном полете. Правда, воздыхательницы и претендентки на свободное сердце героя стояли в очередь, как в Мавзолей во времена Союза. Но то дома. А здесь поначалу выхаживал Вова павлином перед только что прибывшей Тamarой. Сев на любимого конька, предлагал помощь, различные услуги, а также защиту и покровительство. Тамара весьма холодно отреагировала на его предложения и корректно, однако вполне недвусмысленно дала понять, что в его услугах не нуждается и постоять за себя сумеет сама, — это не первая ее командировка в горячую точку и даже не вторая. Отшив Васеева, она неслыханно удивила Игоря, так как тот честно считал, что мало кто может устоять перед чарами друга, а уж незамужней крепости тем паче не выдержать такой осады. Вот только факт остался фактом, и отшитый Володька открыто злился на Тамару, даже не пытаясь скрывать раздражения и явно не понимая причин своего фиаско.

* * *

— Кира, запомни главное: война — это не спортивные соревнования, а снайперская работа — не стрельба на очки. Здесь каждый твой выстрел означает, чья жизнь ляжет на алтарь войны — врага или кого-то из своих. Потому что платой за твой промах будет смерть нашего пацана. Война не прощает ошибок. Поэтому выстрел должен быть осмыслен: зачем ты его делаешь? Зная ответ перед тем, как нажмешь

на спусковой крючок, ты убережешь себя впоследствии от срывов и мук совести. Поняла? Глядя в прицел, как охотник, ищи цель. А найдя ее, рассчитывай: кто — кого.

Кира внимательно слушала, впитывая каждое слово наставницы. Подружились они мгновенно, с первых минут ощутив легкость в общении. Обучение проходило не в душных классах, а в снайперской лежке, недалеко от лагеря. Выходы эти были учебными. Тамара передавала знания методично и подробно. Показывала на местности, где можно делать лежки. Как лучше выбрать место, чтоб через несколько часов наблюдения самой не оказаться на обозрении. Что может демаскировать, а что, наоборот, скроет от вражеского антиснайперского поиска. Куда уходить, как подходить. Но главное, вкладывала в Киру военные понятия и ценности, отшелушивая с нее гражданский налет. Благо, что учить стрелять нужды не было. В этом опыт биатлона был неоценим. Кира чувствовала СВД как продолжение себя. Четко, быстро, интуитивно выбирала поправки на ветер, осадки, расстояние, деривацию и плавно нажимала спусковой крючок, отправляя пули точно в цели, пока учебные. Выпускной экзамен Тамариной школы — боевой выход — был еще впереди.

— Тамар, а ты женщин убивала?

— Я убивала врагов. Пол и возраст роли не играют.

Кира оторвалась от прицела.

— Но это же как-то... неправильно.

— Война — вот что неправильно. Но если люди до сих пор не нашли иного решения своих проблем, приходится служить жестокой правде: если есть враг — он должен быть уничтожен. Ты или тебя, а лирика хороша для мирной жизни.

Кира уперла взгляд в землю, прошептав:

— Наверное, я не смогу стать хорошим снайпером. Мне кажется, я не смогу так хладнокровно рассуждать и правильно делать выбор — враг предо мной или гражданское лицо.

— Сможешь. Станешь ты отличным снайпером. Внутренний стержень не даст тебе сломаться или ошибиться в выборе цели. — Тамара пристально посмотрела на понурившуюся девчонку и дружески потормошила ее за плечо:

— Брось, не грусти раньше времени. Слушай лучше одну историю... Несколько лет назад, в одной из командировок, наши соседи столкнулись с тем, что по ним работает вражеский снайпер. Выстрелы преследовали в самое неожиданное время и, казалось бы, в защищенных местах. У людей появился страх. Враг казался неуловимым. Но больше всего угнетала изошренная жестокость. Впервые столкнулись с тем, что снайпер использовал бронебойные и зажигательные патроны. А стрелял так, что части тела отрывало напрочь. Первый всегда был ранен, однако так ловко, что от боли и кровопотери самостоятельно не мог проползти и десятка метров. Пока пытались его спасти, теряли еще нескольких. Долбили, конечно, из пулеметов и гранатометов в направлении, откуда могли стрелять. Растяжки выставляли, засады делали, в поиск шли — все без толку, через несколько дней опять потери и вновь тот же почерк. Какой-то заговоренный работал. И притянуло меня к этой истории. Попросилась поработать, помочь. Сначала, конечно, скептически отнеслись, но потом решили: почему бы и нет, хуже точно не будет, а раз мне охота рискнуть, то вперед — билет заказан. Дали добро, нескольких парней-автоматчиков для прикрытия и зеленую дорожку. После очередного нападения выдвинулись, обшарили всю округу. И представляешь, ничего. Даже лежки найти не смогли. Как будто черт с воздуха по нам лупит. Всю следующую ночь маялась, не могла уснуть. Хотя главная тайна для меня была в другом: не чувствовала я Его. Как туманом все прикрыто, только запах какой-то тухло-сладковатый словно витает в воздухе.

Стала в следующие дни сама в лежке замаскированной прятаться. Выждать. Может, чем выдаст себя зарвавшийся от успехов гад, может, оптика где блеснет. Тишина. Даже птиц никто не спугнет. И не давал мне покоя запах этот трупно приговорный. Предчувствие голову сверлило, что силы какие-то схожие работают, да только против нас. Выставила вокруг себя обереги, перед собой землей родной с заговором, еще бабкиным, посыпала и дальше выждать стала. А ждать я умею. Прошла неделя. Без результата. Вдруг вижу, как ворон-падальщик к месту одному, на отвесном скальнике, подлетел и пропал за чахлым кустом. Вроде обычное дело. Еды для них тогда полно было. Вороны жирные стаями кружили. А тут одна птица. Да и что ей делать на скале. Я вся в сплошное чутье превратилась. Глаза закрыла, чтоб не обмануться. Кожей чувствую, как на том склоне трава от ветра колыхнется. Как камушки осыпаются. Понимаю, что лаз за кустом находится, но вот в темноту его проникнуть не могу — не пускает что-то. Лишь веет оттуда так, что у меня по телу мурашки. Ужас какой-то давит и гонит. Прямо силой себя удерживаю, чтобы не вскочить и бегом, в полный рост, не броситься прочь. А мертвечиной прет оттуда так, что нос закладывает. И так мне жутко стало, как мало когда бывало. Даже объяснить тебе сейчас не могу, ведь не видела ничего, а как будто из темноты этой вязкой, почти живой, морда на меня смотрит жуткая, уродливая и злобная. А в это время один из недалеко прятавшихся парнишек-автоматчиков вдруг встает и шепчет: «Не могу я! Не могу тут быть!». И в следующую секунду завыл в полный голос: «Не могу!!!». Меня как подкинуло. Я к прицелу. И в этот миг выстрел грянул. Я сама еще там, у норы этой проклятой, мысленно находясь, увидела, как пуля уходит точно в цель, в пацана этого двадцатилетнего. Обрезал, мразь, пацаненкову судьбу прямо на половинке...

Но и я не растерялась — в ответ пулю послала, да не простую. Нет, ты не смейся, Кирюха, не серебряную. Хотя, ты знаешь, для той твари в самый раз было бы. А заговоренную, чтоб точно — во врага! Специально для такого случая припасенную. Не спастись от нее ни человеку, ни оборотню. И выстрелы наши слились в одно гулкое эхо. А я видела, как медленно оседает парнишка, опрокинутый и сломанный вражеской пулей, знала, что ничем не помочь. Парень падал мертвый. Тело еще не понимало, что случилось, а душа уже освободилась. Но я тоже попала в свою Цель.

Когда добрались до этого проклятого места, нашли отличную лежку. Не лежка, а мечта любого снайпера. В скале был просторный лаз. С одной стороны отлично замаскированный, на высоте, откуда просматривалось все наше расположение. Прикрывался он пуленепробиваемой крышкой. С другой стороны выход в низинку, к ручью. Пойди найди, даже собаки бы не взяли.

Вытащили мы из норы этой девчонку мертвую. Молоденькую и, ты знаешь, жуть какую красивую. Пуля ей в шею попала и весь хребет раздробила, так что голова на жилах и лоскутах кожи болталась. Командир и солдатики словно замороженные на нее смотрели: то ли сраженные ее красотой, то ли молодостью, то ли тем, что так долго поймать не могли. Только я стояла и видела, что не девка это вовсе. Под красивой оберткой была тварь страшная и мерзкая, жрущая жизни наших ребят. Отвернулась и полезла в лежку ее, переборов отвращение и жуть. Нашла, что искала, — шкатулку небольшую с зеркальной крышкой, а в ней оберег — заговоренные куски плоти человеческой и кости переломанные, пересыпанные травой колдовской да вороньими перьями. Из-за шкатулки этой я ее увидеть и не могла, а вот смрад до сих пор помню. Когда вылезла, подошла к ней и под удивленные взгляды ударами приклада отсекала голову от тела. Почему-то захотелось подстраховаться от мороков ночных. Иногда к преданьям старины надо прислушиваться. Просто многие из них искаженными до нас доходят. Но вот штука: когда голову от тела отбила, она глаза

открыла, а тело дернулось, как будто воздух выдохнуло, и пальцы, словно когти, сжались и по земле проскребли. Парни в ужасе отшатнулись, кто-то креститься стал. А я знала — вот она, победа, на моем счету. Не человека победила, а ровню себе — это дорогого стоит. Считай, ее сила мне перешла.

— А зло? — Кира заворуженно слушала, забыв про все на свете.

— А что — зло? Зла самого по себе не бывает. Если человеку дается сила, он сам выбирает, во что ее обратить. Кто-то злобу избирает, а кто-то — доброту, — улыбнулась Тамара, легко щелкнув слушательницу по носу.

— А ты добрая, — и, переборов смущение, Кира добавила, — ведьма...

И как будто испугалась своей дерзости. А Тамара, наоборот, рассмеялась легко, совсем по-девичьи. Отсмеявшись, серьезно и задумчиво глядя вдаль, ответила:

— Я делаю то, что, считаю, должна делать. И тут общей оценки нет. Для своих это добро, а для врагов — зло страшное. Как еще во время Великой Отечественной войны говорил Василий Зайцев, «имя мне снайпер, кинжал в сердце врагов моей Родины». И ты должна стать хорошим клинком, из булатной стали, чтоб боялись и трепетали недруги, и не важно, в каком из обликов они будут. А для этого еще учиться и учиться.

* * *

Не спалось ночью Кире, ворочалась с боку на бок. Во-первых, в палатке не было Тамары. Она заступила в наряд и находилась сейчас где-то в «секрете». Во-вторых, не шел из головы рассказ, подтверждающий болтовню теток из отдела кадров, подслушанную при оформлении документов о переводе.

Те косились на нее любопытными, недобрыми взглядами, шушукаясь за спиной. Из обрывков фраз поняла тогда Кира, что все не так просто в ее трудоустройстве, а всецело обязана она какой-то ведьме. По шипящим пересудам было ясно, что тетки ведьму эту не любят, а вернее, жуть как боятся. И, улучив момент, когда в кабинете осталась одна кадровичка, вроде бы самая не вредная, Клавдия Ивановна, подкатила к ней, предварительно вручив большую шоколадку, так сказать, за хлопоты и скорость в оформлении бумаг. Клавдия расчувствовалась, так как была женщиной скупой и даже прижимистой и истово завидовала своей начальнице, Татьяне Максимовне, которой, обходя рядовых служащих стороной, различные подарки вручали с завидным постоянством. А она с царского плеча иногда выставляла на стол для чаепития коробки конфет и печенье, которые были ей не по вкусу. Клавдия Ивановна торопливым, воровским движением сунула шоколад в сумку и разоткровенничалась. Что, мол, видит она, что Кира девчонка душевная, хорошая, добрая, а идет, как овца, на заклание. Все это темные дела злыдни Тамары. «А Тамара эта — ведьма жуткая. Много чего знает и умеет страаашные дела творить», — нарочито растягивая слова и округляя глаза, вещала Клавка. Кира вроде как удивлялась, охая, провоцируя кадровичку на подробности, и та валила их пригоршней, сама не различая, где правда, а где бабские домыслы. По ее рассказам выходило, что ведьма Тамара змеей заползла в их бригаду и различные слухи шли впереди ее поступления. Люди говорили, что силы колдовской она немалой. Снайперской работой лишь прикрывает дела свои темные. Какие — Клавдии неизвестно, но ясно дело, что не христианские. Как уж они были против, чтоб ее взяли, но тут силы были явно не равны. И, придя в бригаду, стала она в доверие втираться да добрыми делами прикрываться. Например, однажды пришла к самому командиру бригады Олегу Викторовичу и попросила, чтоб он жену с дочкой в гости к свекрови завтра не пускал. Подождет, мол, цирк до следующего раза.

Комбриг опешил, начал горячиться: с чего вдруг она ему будет указывать, но вдруг осекся, удивившись, откуда она знает про то, что жена с дочкой собирались завтра ехать в другой город, к его матери, и что та обещала билеты в цирк купить. Комбриг сказал тогда Тамаре, чтоб не морочила ему голову. А через день сам к ней пришел и благодарил, чуть не со слезами на глазах. Оказывается, рейсовый автобус, на котором собиралось ехать его семейство, попал в страшную аварию: многие пассажиры погибли или были покалечены. И что Бог послал ему Тамару, и что, мол, она уберегла его близких. Спрашивал, чем он может ее отблагодарить, а та лишь улыбнулась и сказала, что когда-нибудь обратится с просьбой, и вот тогда очень важно, чтоб он не забыл про этот день и помог. Дескать, больше ничего не надо. Викторovich заверил, что сделает.

И вот сейчас, видимо, этот день настал, и попросила Тамара ни повышения по службе, ни благ каких-то, а чтоб взяли на службу ту, которая придет, и пришла именно Кира. А теперь все гадают, зачем она нужна этой ведьме.

Кира же удивилась, почему они таинственную Тамару так не любят, ведь замечена она в делах добрых. Помогла сохранить семью комбригу, да и ни в чем другом зла не делала. На это Клавка раздраженно передернулась и, понизив голос, доверительно зашептала Кире на ухо:

— Ага, что ей, ведьме, людей запутать. Раз плюнуть. Ну, сделала добро комбригу, вот ведь невидаль, а взамен опоясала его обещанием, которое тот ни за что не нарушит. А может, она специально эту аварию подстроила и людей погубила, чтоб авторитет свой поднять. А насчет зла, так в этом ты, Кира, еще слишком молода, и опыта у тебя нет, — Клавка со значением посмотрела на Киру и продолжала рассказывать, как недавно, перед этой командировкой, зашла Тамара к ним и сказала начальнице прямо в лицо, что если та еще будет слухи распускать и злословить, то получит такие проблемы, что про нее и думать забудет. Развернулась и ушла гордая, как царица. Начальница тогда плюнула ей вслед и разразилась таким матом, какой еще никто и никогда в их отделе не слышал. А через час, когда Татьяна Максимовна заваривала кофе, у чайника вдруг ручка отвалилась и крутой кипяток обварил ей ноги. Да так, что до сих пор мается. Ожог никак не сходит, все время мокнет и болит. Но и это еще не все. Муж ее на днях объявил, что устал от их совместной жизни и постоянного недовольства жены по различным поводам и уходит к другой женщине. Татьяна, конечно, баба крутая и бывает несдержанна, но все же не ожидала, что муж-подкаблучник от нее сбежит. Так ведь мало было этой ведьме над бедной женщиной так покуражиться, добила она ее полностью. Недавно поставили сынку Максимовны страшный диагноз: диабет.

В этом месте по лицу Клавдии проскользнула легкая злорадная усмешка:

— Правильно, а как ему не заболеть, если мать с работы постоянно тащит то конфеты, то торт, то шоколад. Все дитяtku своему родному. Как будто у других детей нет. — Но тут же спохватилась, взяла себя в руки и добавила со скорбной миной на лице, — Малец-то чем перед ней, ведьмой, виноват!

Так что сейчас Татьяна Максимовна в их диспутах участия не принимает, быстро уходит в свой кабинет и практически до конца рабочего дня оттуда носа не кажет. Слышно только, как иногда плачет, как будто собака скулит. Сникла и подурнела. А другие сотрудницы обзавелись оберегами и молитвами — выбросили кучу денег на разные заговоренные вещицы и поэтому могут себе позволить посудачить о делах ведьминых, злобных и недостойных. Надеются, что не подведут талисманы и не услышит Тамара их пересуды.

А Киру ей, Клавдии, дескать, искренне жаль. Сразу понятно, что задумала Тамара что-то ужасное и нужна ей душа свежая, чистая, незапятнанная. Так что пусть держит ухо востро и будет на чеку...

Пока ехала, думалось всякое. Мысли были мрачные, виделось страшное, да и Тамару она представляла себе почему-то вредной и злобной, сварливой теткой. А по приезде удивилась. Тамаре было за сорок, а выглядела она прекрасно. Еще поразили Киру внимательные, добрые, какие-то совершенно солнечные глаза. И по характеру оказалась легкой, веселой и совершенно не такой, как ее обрисовали. Сначала Кира даже подумала, что наговорили женщины, разыграли и напугали новенькую для своего развлечения, но быстро смекнула, что не так все просто. В отряде поглядывали на них с легкой опаской и уважением, держались подальше и ни с какими глупостями не подкатывали. Ее это удивило и порадовало — одной проблемой было меньше. Но вот колола душу мысль: зачем нужна ей Кира.

К утру вернулась Тамара. Вошла, сразу наполнив палатку запахом ночного влажного горного кавказского леса и корицы. Прислонилась к кровати винтовку, раскинула на стул маскировочную сеть и шепотом спросила:

— Ты чего не спишь?

— Тебя жду. Тревожно как-то.

Тамара подошла к Кириной кровати:

— Да ты что, не накручивай себя. Все хорошо.

Кира вздохнула и задала вопрос, который не давал покоя:

— А ворона, та, что к снайперской лежке прилетела, куда делась?

— Ворона, — Тамара задумалась на секунду, — думаю, что как таковой вороны и не было. Просто нас, — и она улыбнулась, — ведьм, видят иногда в образе несколько ином, необычном. С кем по духу ближе, в том образе и появимся.

— А ты в каком?

— Придет время, может, и увидишь. А сейчас спать давай. Утром головы не оторвешь.

Но Кире надо было удовлетворить любопытство до конца:

— Том, подожди, а шкатулку ее ты куда дела?

— Ну, Кирюха, любопытной Варваре сама знаешь что сделали. — И, не раздеваясь, легла, прикрыла глаза, закинув руки за голову, договорила, — все, что внутри было, по ветру развеяла, а саму шкатулку разломала о камни и выбросила в обрыв.

И, словно предчувствуя следующий вопрос, продолжила:

— А девку ту заминировали и подорвали, как будто она сама на мину наступила.

Так что и сейчас душа ее черная в образе вороны где-то кружит и к любопытным девчонкам ночью прилетает и в макушку клюет. Вот и все, давай спать.

— Есть, товарищ капитан.

Но через несколько секунд Кирюха не выдержала и, приподнявшись на локте, глядя в предрасветном сумраке в напарницу, спросила главное, в чем нестерпимо хотелось поставить точку:

— Том, а ты знаешь, что тебя тетки в бригаде не любят и болтают разное?

Женщина усмехнулась и ответила, не удивившись повороту в разговоре:

— Знаю. И некоторые мужчины тоже. Но я же не леденец, чтоб все меня любили. Боятся они меня, а главное зло в них самих сидит. Все, быстро спать.

И Кирюха, откинувшись на скатку, заменяющую подушку, мгновенно провалилась в сон.

* * *

— Парни, Крушнова никто не видел? — Тамара обратилась к проходившим мимо солдатикам второй роты.

— К связистам пошел. Пытается с Ханкалой связаться, чтоб подтвердить прилет вертушек для предстоящего выхода.

— Вертушки — это хорошо, «Крокодилы» — это то, что надо, — как будто сама с собой пробормотала Тамара и, кивнув в сторону командирской штабной машины, позвала Киру, — пойдём, поздороваемся. Может, Саню там найдем.

Он действительно был в «шишиге». Вместе с двумя радистами пытались наладить связь, но что-то не получалось. Прием фонил и шумел, то и дело выхватывая обрывки каких-то чужих переговоров. И вдруг, в тот самый момент, когда Кира с Тамарой поднялись в кузов, связь стала чистой, как будто говоривший стоял рядом.

— Эй, русский Ваня, слышишь меня? — голос был приглушенный, с сильным кавказским акцентом. Парни, до этого беззлбно ругавшие технику, от неожиданности замолчали, как будто тот мог услышать их без аппаратуры. — Знаю, слышишь. Так вот, запомни: я с моими людьми приду и буду тебя и друзей твоих убивать. Горло тебе медленно резать буду, да.

Крушнова аж передернуло. Задел его бандит за живое, сдернув тонкую корочку с душевной раны, и он, схватив тангенту, сдавленным от злобы голосом просипел:

— Слышь, ты, скотина, я тебе сам глотку перегрызу, когда найду.

На другом конце гортанно засмеялись, довольные эффектом.

— Боишься, Ваня! Правильно делаешь. Я много ваших убил и дальше буду. Я рядом, кафир. Ближе, чем ты думаешь.

У Крушнова заходили желваки от кипящей ярости. Было видно, что он сдерживает себя, чтоб не разбить радиостанцию одним ударом, сорвав на ней злобу от бессилия:

— Кто ты, шакал? Как тебя зовут? Я тебя найду, сердце вырву и собакам отдам. А уши отрежу и засуну в глотку, как ты это делал с нашими парнями.

Чеченец смаковал ситуацию, отвечал протяжно и пафосно:

— Имя мне народ, и ты меня никогда не найдешь, это я первый с тебя кожу сдеру и в землю закопаю по шею. Слышишь, да.

Тамара резко подошла и с силой вытянула из плотно сжатых пальцев тангенту:

— А ты народом не прикрывайся. Имя твое Арби, а фамилия Юсупов. Ты помощник главаря банды Касумова. Хочешь, еще кое-что расскажу, например, что родные твои живут в Самашках. А старшая дочь сейчас в Моздоке. Сказать при твоих дружках, чем она там занимается? И еще: этот Ваня, с которым ты сейчас говорил, найдет тебя и слово свое сдержит.

В рации забулькало, послышались проклятия. Было понятно, что Тамара попала в цель.

— Кто ты, русская тварь?!

— Я, Арбиша, твой ночной кошмар. Я та, кем тебя пугала бабка в детстве.

— Шайтан, — взревел чеченец.

— Нет, я всего лишь русская ведьма, и я знаю, чего ты боишься.

В рации послышалась ругань, и уже другой голос просипел:

— Эй, что ты гонишь? Тебе нас не запугать, мы вас всех уроем.

Тамара улыбнулась.

— О-о, здравствуй, Мустафа. Вот ты сейчас с нами время теряешь, некрасивые слова говоришь, а лучше бы домой поспешил, с сыном попрощался. Умрет он завтра. Так что беги, беги быстрее. — Чеченец вскрикнул, и связь прервалась. Все присутствующие замороженно смотрели на женщину, стоящую у аппаратуры. Первым в себя пришел командир второй разведроты:

— Тамара, откуда?.. — только и смог выдавить Саня.

— ...я все это знаю? — она обернулась и посмотрела ему в глаза, — Юсупова — с одной из прошлых командировок. Его тогда задержали, и он в ногах у командира

валялся, клялся детьми и женой, что чист перед нами, что простой овцепас и никому ничего плохого не делал. А после того, как его отпустили, продолжал по ночам обстреливать наши позиции, пока не столкнулся в лесу с чем-то страшным. Теперь вот по ночам по лесу не бродит. Опасается.

— А про сына? — не удержалась Кира.

— Знаю, и все. Иногда бывает такое озарение. — И тут же обратилась к Крушнову, — Саша, мне надо с тобой переговорить. Пойдем выйдем.

И Крушнов пошел за ней, все еще под впечатлением от радиоэфира.

* * *

А через день по темным улицам села шел чеченец. Не торопясь, с чувством собственного достоинства вышагивая по грязной жиже, покрывающей дорогу, Арби размышлял. На свежем воздухе ему всегда лучше думалось. Он считал, из-за того, что он отличный воин, привыкший к жизни в горах и длительным переходам. Сейчас ему было о чем подумать. Сомнения, страхи и доводы разума стекляшками калейдоскопа вертелись в душе:

«Что может сделать эта урус баба? Мне, джигиту, воину?!» В какой уж раз он задавал себе этот вопрос и сам же отвечал:

«Ничего! Меня не запугать этими штучками. Знает она, видите ли, меня. Так много кто знает. Люди боятся и уважают. Что известно соплеменникам, то обязательно узнают эти неверные псы. Ну и пусть! Всех задушу, как давил этих щенков все эти годы. Группа у нас сильная. Нохчи в ней все правильные, проверенные, не выдадут!» По лицу проползла самодовольная ухмылка, которая быстро слетела от неприятно царапнувшей мысли:

«Знают, значит, где моя семья. Надо весточку дать, чтоб покинули Самашки. И с Марьям разобраться, чтоб не позорила род».

Здесь он не был своим. Жил на окраине села в доме, принадлежавшем когда-то осетинской семье, которая в начале девяностых оказалась нерасторопной, не поняв, что бежать, бросая все, надо было не только русским. А кто не спрятался, как говорил его сынишка, играя в прятки, — я не виноват. Но было еще одно непонятное и оттого особенно пугающее. Возвращался он с похорон единственного сына очень уважаемого человека. Смерть не редкость на этой земле. Но здесь дело было иное. Умер парень глупо. В подполе родительского дома, куда запер его собственный отец, пытаясь уберечь от неизвестной беды. А там, от спертго воздуха или еще от чего, стало парню плохо, и он упал, да так неудачно, что зашиб голову о бетонную заливку, где был схрон с оружием. И можно было еще парня спасти, но отец строго-настрого запретил подходить ко входу, закидав его сверху коврами. А когда минула полночь, и он, откинув крышку, позвал сына, довольный, что обманул рок, ответом ему была тишина и скрюченное остывшее тело. Мустафа даже рассудком немного повредился. Стоял на коленях перед зияющей пастью погребя, медленно раскачиваясь и все время повторяя:

«Гиеш!!!» — так на родном языке испокон веков зовется ведьма. Пока на вой женщин не сбежались соседи и не оттащили его в сторону. Вот ведь как бывает.

На похоронах Мустафа так и не пришел в себя. Плакал, хоть не подобает это правоверному, и все время беззвучно уговаривал ведьму сжалиться и вернуть ему сына. Глупец. Нет никакой ведьмы. Стечение обстоятельств и только, неизвестно как угаданное той бестией. Нет, его этим не напугать. Он вообще ничего не боится. Но тут не кстати вспомнилось, как однажды заморочило его что-то в ночном лесу, подымая из глубины души суеверный ужас. Громадная тень кружила вокруг, при-

свистывая и постукивая, не громко, а как будто гвоздь в доску забивая — тук...тук...тук. Он затыкал уши, но стук и свист пробирались через сжатые ладони и впивались занозами в мозг. И от этого такой мороз по спине пробегал, что хотелось броситься со скального обрыва, на котором он устроил лежку. Даже очередь из автомата не помогла — не услышал звука выстрелов. Мрак поглотил их. От наваждения он пополз на четвереньках, мотая головой. А потом не выдержал и побежал, как мальчишка, до лагеря, не оборачиваясь, спиной ощущая, как скользит что-то темное и непонятное следом. То, что не боится металла и быстро проговоренных молитв. То, про что рассказывала давным-давно старая прабабка, остерегая его от ночного леса. Тогда, с рассветом, лежа в землянке, списал все на крутую афганку, которой вдосталь насыпали братья арабы. Трава была забористая, крепкая, вот и накатила на мозги, выковыривая детские, давно забытые страхи, путая в липком ужасе. На этом и порешил. Но обстреливать позиции русских по ночам перестал — ну их к псам!

От неприятного воспоминания по телу пробежал озноб. В это время со спины послышался легкий шорох, и тихий голос сказал:

— Ну, здравствуй, Арбиша, — Оборачиваясь, чеченец очень удивился блеснувшей в холодном свете полной луны полоске стали.

Наутро тело бандита Арби Юсупова найдут соседи. Сбежится народ, и все в ужасе будут смотреть даже не на затолканные в рот отрезанные уши, а на дыру в груди, где раньше билось сердце помощника главара банды Касумова.

А через несколько часов после расправы в расположении отряда Василевского, около вольеров, где жили овчарки кинологов, к одиноко стоящей фигуре подошел разведчик.

— Ты была права, Тамара, — он встал рядом, тоже глядя на низко блестящие звезды, — Знаешь, у этого чеха были часы Федора. Он скулил и уверял, что это его, еще отцовские. Но я-то точно знаю, чьи они. Я сам эти «командирские» Федьке подарил на день рождения, пожелал, чтоб долго и исправно отсчитывали его жизнь. И вот друга нет, а часы есть. Этот ублюдок трофей себе на память оставил, — и, словно спохватившись, протянул то, что сжимал в руке. — Это тебе. Как просила.

И Крушнов, отдав ей мертвое сердце, развернулся и пошел прочь.

Тамара окликнула его:

— Саша, сколько времени?

Разведчик, скользнув взглядом по всегда точным «командирским», не оборачиваясь, крикнул:

— Десять минут четвертого.

Когда силуэт скрылся за палатками, Тамара равнодушным взглядом скользнула по тому, что держала в руках, и вдруг с такой силой сжала ладони, что сердце лопнуло, и ошметки плоти и сгустки крови стали падать в вольер, где на них жадно набросились вечно голодные собаки. Тамара одним движением вытерла ладони о деревянную перегородку и не торопясь пошла к своей палатке. Пора было ложиться спать.

* * *

Напасти не оставляли отряд. Во время следующего выхода на проверку территории группа опять нарвалась на засаду. Бандиты пропустили головной дозор, а когда основное ядро невольно растянулось на трудно проходимом горном участке, ударили с нескольких стволов. Васеев ничего не успел понять, как пуля попала ему

в грудь и опрокинула с неожиданной силой, будто невидимая кобыла ударила в грудь копытом. В голове промелькнула мысль, от которой бросило в жар: неужто подрыв?

Несколько минут он лежал, как рыба, выброшенная на берег, хватая вмиг пересошим ртом воздух. Грудь при каждом вздохе ломило так, словно в легких разбили бутылку и она разлетелась на тысячи маленьких острых осколков, впившись в грудину, мешая дышать и двигаться. И без врача было понятно, что сломано ребро, а может, и не одно. Володя мысленно похвалил себя за то, что не брезговал надевать на все выходы бронезилет. Пуля пробила два полных автоматных магазина и завязла в броне. Все это были цветочки по сравнению с тем, что могло бы случиться. Немного успокоив рвущееся из груди сердце, со стоном перекатился в сторону и, только оказавшись за ближайшим деревом и отдышавшись от вновь резанувшей кипучей боли, через пелену красных, плавающих в глазах пятен наконец смог осмотреться. Скоротечный бой прошел без него. Парни, которых он лично натаскивал и тренировал, не подвели. Слаженно отбили нападение. И сейчас, рассредоточившись, залегли за укрытия, выбрав самые выгодные позиции. По нависшей тишине, которую разрывал только крик двух раненых бойцов, было понятно, что бандиты сбежали. Напакостили и смылись, не дожидаясь последствий. Опираясь на собственный автомат, Вова тяжело поднялся. От нехватки воздуха и обжигающей рези голова закружилась и в глазах потемнело, но он смог удержаться на ногах и уже секунду спустя нашел в себе силы начать отдавать команды. Радист вызывал подмогу. Раненых перевязали и вкололи им промедол. Васеев от помощи отказался, понимая, что тем двоим она важнее. Только, морщась, стянул с себя разгрузку и бронезилет. Уже в расположении ему стало хуже. Видимо, растрясло в машине. Док, осмотрев внушительную гематому и прощупав место удара, сокрушенно поцокал языком, пробормотав, что могло быть хуже и еще, успокоительно, про то, что эта неприятность однозначно до свадьбы заживет. Когда Василевский предложил ему ехать вместе с остальными ранеными в госпиталь в Ханкалу, Володя отказался, но командир был непреклонен.

— Езжай, Вов, здоровье одно.

— Андреич, ты чего меня рано списываешь?! Я еще из-за такой ерунды по госпиталям не мыкался! — И дружок, насупившись, отвернулся, смяв в сердцах сигарету и отбросив ее в сторону.

Игорь усмехнулся и протянул ему целую.

— Не психуй. Покажись врачам. Возьми справку, будет не лишнее. И обратно. А чтоб ты не думал, что я хочу тебя скинуть, то проследи, чтоб парней нормально отправили в госпиталь, и заодно продукты получи.

— Вот это другое дело! — просиял Володя и осторожно, чтоб не закашляться, затыкнулся.

* * *

Его радужное настроение как водой смыло, когда он увидел, что с ними в Ханкалу едут девчонки.

— Это еще чего? — недовольно протянул он Василевскому.

— Вовка, не кипятись. Пока ты парней будешь оформлять, девчата с парочкой бойцов на рынок смотаются. Закупятся. Надоела казенщина, сил нет. Как ни крути — скоро Новый год.

До Ханкалы доехали не проронив ни слова. Парни, обколотые обезболивающим, спали. Кира с тревогой всю дорогу вглядывалась в их пожелтевшие лица.

Она как будто сама дышала вместе с ними. Очень тщательно вымеряя каждый вздох и сравнивая его с тем, как неслышно, почти незаметно дышат раненые. Сдерживая себя от простого человеческого порыва — сесть прямо на дощатый пол «Урала» и гладить их по голове, в голос уговаривая потерпеть еще немного: все обязательно будет хорошо и они поправятся. Но почему-то ей было стыдно этой слабости. Не хотелось показаться размазней и сопливой девчонкой перед заместителем командира. Тот, когда залезал на борт, сделал привычный рывок, но аж задохнулся от накатившей боли и, не совладав с собой, со стоном осел. Кира учтиво поддержала его, но он отпрянул от нее, скривившись, как будто съел что-то кислое. Чем очень сильно расстроил и даже обидел ее: она же от чистого сердца хотела помочь. Но Васееву не нужно было такое участие. Всю дорогу он просидел, привалившись к борту и устало прикрыв глаза, только иногда, когда машину сильно подкидывало на ухабах, морщился и почти незаметно вздыхал. Кира изредка украдкой поглядывала на него. Мужественное лицо притягивало к себе взгляд. Она искренне не понимала, за что заместитель командира так их не любит. Ведь ничего плохого они не совершили и ни в чем никого не подвели. И вдруг поймала себя на детской мысли, что ей бы очень хотелось, чтоб этот суровый дядька оценил и похвалил ее когда-нибудь как хорошего бойца, но было ясно, что это из разряда мечтаний.

Тамара же все время пристально вглядывалась в окружающую местность, держа наготове автомат — удобно уложив его на колене и направив ствол в проплывающий мимо лес, готовая в любую секунду открыть огонь, если того потребует обстановка. Но было пустынно и спокойно. Она не смотрела ни на парней, ни на Васеева, ни на Киру. По ее отрешенному лицу было видно, что она вообще отсутствует и сейчас находится где угодно, но только не с ними. Когда они добрались и, спрыгнув с борта, молча наблюдали, как солдатики отнесли раненых в госпиталь, Кира наконец-то вздохнула облегченно. Ей на секундочку показалось, что теперь с бойцами все будет хорошо и они обязательно выздоровят.

— Ты знаешь, Кир, если бы ты погладила их по голове и сказала добрые слова, им точно стало бы легче, — задумчиво сказала Тамара и, не оборачиваясь, пошла догонять бойцов. А Кире вдруг стало до такой степени горько от всего навалившегося за эту поездку, что на глазах предательски заблестели слезы.

«Ну почему я такая несуразная? Прав Васеев, что так презрительно хмыкает. Никогда не стать мне настоящим снайпером. Вон и Тамара все про меня поняла и слабость мою почувствовала. Да и парням, получается, не помогла, хоть и могла. Испугалась собственного сострадания. Захотелось быть суровой и сильной, а на самом деле — какая же я глупая».

Но на размазывание соплей не было времени. Не хватало еще, чтоб Тамара, выйдя, увидела ее в таком расклеенном состоянии. Или, того хуже, чтоб вообще пожалела о том, что за нее попросила и поручилась. Кира быстрым движением смахнула накатившую слезу и, сердитая на саму себя, залезла обратно на борт «Урала». Через несколько минут вышла Тамара, и они поехали на закупку. Кира всю дорогу, понуро уперев глаза в пол, молчала и по приезде без желания поплелась к уличным прилавкам. Но рынок сразу навалился гономом, ослепив и заворотив разнообразием фруктов и сладостей. Отвыкшие от вкусов, все невольно растянулись, разглядывая товар. Парни ушли вперед. Кира, наоборот, отстала, залюбовавшись аппетитно-оранжевыми апельсинами, и невольно вздрогнула от непонятного шипящего звука, сразу интуитивно выхватывая взглядом напарницу. Источником отвратительного змеиного шипения была скрюченная, жуткая старуха, одетая во все черное: уперев в сторону Тамары скрюченный артритом указательный палец, что-то гневно бормоча, она издавала этот мерзкий сипящий крик.

Кире почему-то стало не по себе. По спине пробежал озноб оттого, что Тамара стояла как вкопанная, не шелохнувшись, в оцепенении глядя, как отвратительная старуха приближается к ней, вытягивая костлявые, все в синих жгутах вен, руки. А пальцы, в старческих ржавых пятнах, хищно то сжимались, то разжимались, как будто старуха в темноте пыталась что-то ухватить желтыми от времени, длинными, плотными ногтями.

— Ты-ы-ы!!! Я знаю, это ты-ы-ы!!! Это ты-ы-ы убила мою девочку!!! — страшная бабка стала подвывать и шумно втягивать воздух, как будто пытаясь учуять Тамару, словно не видела, а только чувствовала ее.

— Я убью тебя-я-я!!!

Кира явственно увидела, как руки старухи стали длиннее. Смахнув это наваждение, она, сама не осознавая, вдруг кинулась в просвет между подругой и страшной бестией, с силой оттолкнув последнюю, где-то в душе испугавшись, что перешагнула табу и сейчас древняя, замшелая бабка упадет и обязательно расшибется. Но старуха не упала. Она очень ловко посемила ножками, устояла, нелепо раскачивая неестественно длинными руками, как балансиром, и стала злобно озираться. Было понятно, что случилось что-то для нее непонятное. А к ней уже спокойно подошла пришедшая в себя Тамара и, что-то шепнув на ухо, ловко выдернула из-под черного платка несколько седых жестких волосков. Резко развернулась, подхватила Киру под руку и быстро направилась в сторону машины. Кира, еле поспевая за подругой, на ходу обернулась и поразилась тому, что никто из покупателей и торговцев не заметил, что что-то произошло. Все шло своим чередом, словно этой стычки и не было вовсе. Как, впрочем, не было и самой старухи со страшными длинными руками. Парни догнали их уже у машины, так и не поняв, в чем дело.

— Поехали быстрее. Там какой-то непонятный ящик валяется. Может быть, фугас, — скомандовала Тамара, указывая наугад куда-то в толпу.

— Да мало ли здесь ящиков валяется! Ничего же купить не успели! — ворчали парни, залезая на высокий борт.

— Разговорчики! Нам еще Васеева забрать надо и до расположения добраться.

* * *

На следующее утро Кира проснулась рано, резко вынырнув из какого-то тяжелого, глубокого сна без сновидений. Немного полежала, приходя в себя и разглядывая потолок палатки, и решила встать, так как желания валяться больше не было. Спросонья кутаясь в запахнутый бушлат и щурясь от утреннего морозного солнца, вышла из палатки. И тут же вздрогнула, чуть не наступив на брошенную почти у самого порога растрепанную тушку старой вороны. Голова птицы была свернута и аккуратно лежала рядом, удивленно поглядывая на ошарашенную Киру белесым, ничего не видящим глазом. Черный матовый клюв приоткрыт в застрявшем крике. Требуха, раскиданная по мерзлой земле, составляла какой-то непонятный орнамент. Кира попятилась и уже в палатке кинулась к кровати Тамары, задыхнувшись оттого, что с ходу не нашла слов:

-Там! Там! Ворона там!

Тамара на крик еле открыла заспанные глаза, потянулась и, улыбнувшись, покачала головой:

— Ну чего ты кричишь? Подумаешь, коты ворону растрепали. Вот невидаль. А когда на твои крики все сбегутся, решив, что тебя здесь режут, тогда действительно весело будет.

Кира прикусила язык. Действительно, что это она? Вот только взгляд выхватил

застрявшее в каштановых волосах напарницы черное перо. Кира развернулась и быстро вышла из палатки, уже спокойно перешагнув через птичьи останки.

* * *

Проверка Киры на профпригодность выпала на ночное дежурство, куда ее начала брать с собой Тамара. С наступлением темноты они скрыто выдвигались в дальний замаскированный окоп, откуда удобнее было осматривать окрестности. Кира быстро приоровилась к наблюдению через прицел ночного видения. Яркий зеленый свет НСПУ изменял окружающее, делая его каким-то нереальным, фантастическим — картинка словно складывалась из изумительного изумрудного снега, летящего прямо в тебя. Правда, долго наблюдать через него было невозможно. Начинало резать глаза. Поэтому по совету Тамары, которая не одобряла такого технического наблюдения, какое-то время Кира сидела с закрытыми глазами и пальцами легко массируя веки. Потом зрение привыкало к темноте, она не казалось уже столь непроглядной, да и хорошую подсветку давали звезды, иногда видные через набегавшие тучи.

В ту ночь, около четырех утра, Кира почувствовала легкое движение недалеко от леса — словно ветерок пробежал, пригибая сухостой. Вгляделась. Ничего, тишина. А через несколько минут опять. И вроде нет ничего, но как-то беспокойно. Засосало под ложечкой. Тамара, почувствовав беспокойство напарницы, тихонько сказала:

— Без паники, Кирюха. Вот теперь включай свою чудо-технику, пришло ей время поработать.

В ночном прицеле два силуэта вырисовывались четко, как на картинке. Только не понятно было Кире, что они делают. Вроде как пьяные валяются у леса, но непогода сейчас, да и не то это место. А Тамара уже инструктировала:

— Ишь чего удумали. Досылай, Кира, патрон и считай, что это твой выпускной экзамен. Обоих сможешь достать — считай, отлично. Одного, ну, тоже неплохо. А вот если уйдут, значит, подведешь меня, и впусую все, чему я тебя учила.

— Не подведу, — Кира дослала патрон в патронник и срослась с винтовкой. Два выстрела прозвучали так ладно, что почти слились в один. По склону прокатилось эхо. Почти сразу взлетела осветительная ракета. Ощупывая окружающую территорию, заскользили прожекторы. Зашипела рация, запрашивая, почему стреляли. Тамара спокойно, по-военному отчеканила, что пресекли попытку разминирования взрывного заграждения. Когда дали отбой, Кира отпустила винтовку. У нее заметно дрожали руки.

— А если они случайно там оказались? — прошептала она побледневшими губами.

— Ага, случайно... ягодку ползунику собирали, — и, взглянув на Киру, поняла ее терзания, — эй, девочка, а ну-ка стоп, — Тамара легко встряхнула ее за плечи.

— Слушай меня внимательно! Повторяю последний раз. Ты приехала на войну. На том берегу друзей нет. Либо ты их, либо они нас. Без вариантов. Третьего не дано. Быть здесь сейчас — это твой осознанный выбор. Вот и прими его с честью. Путь война тяжел и тернист, но богоугоден. Поэтому соберись. Ты сдала этот экзамен на отлично. Толк будет.

Кира молчала. Накативший мандраж сам собою начал проходить, словно впитавшись в Тамарины ладони. Ее перестало трясти. Через несколько минут стало легче.

— Том, а что они делали?

— Пытались проход сделать по нашему минному полю.

Тамара задумалась о чем-то своем, а напарница сидела тихо, не мешая, разглядывая при свете проглянувшей луны раскинувшиеся тела. К ним никто не спешил — кандидатов на ночной подрыв, видимо, не нашлось.

Позднее, когда их сменили, девчонки ушли в свою палатку. Не сговариваясь, молча сели за стол и какое-то время сидели, глядя на горящую в алюминиевой кружке свечу. Понимая, что сна не будет, Тамара заговорила:

— Ты знаешь, Кира, вся суть даже не в том, что сегодня чехи пытались сделать себе тропинку, а в том, что кто-то ведь им подсказал, откуда лучше подойти и где можно разминировать, а куда лучше не соваться. На самом деле там больше половины Лева ставил — он сапер матерый, у него незаметно фиг что извлечешь. А вот там, где ты сегодня счет свой открыла, — там Ванька, солдатик молоденький, самые простые растяжки сделал. И вот вопрос: откуда духи узнали про это слабое место?

Кира удивилась такому повороту:

— Случайность... наверное, — и внезапно сама осеклась.

— Что-то последнее время слишком много случайностей, — и, секунду подумав, то ли подбирая слова, то ли решая, говорить Кире это или не стоит, продолжила:

— Предатель у нас сидит. Сликает душкам информацию... — И, как бы открываясь перед напарницей, жестко закончила, — вот ведь что самое паскудное: не вижу я его, нет картинки. Гнетет это меня, из себя выводит, но сделать ничего не могу. Оберег какой-то сильный у него. — И помолчав, добавила:

— Слушай, Кирюха, еще одну историю... Говорят, что женской дружбы нет. Не согласна. Была у меня подруга старинная — Рита. Женщина редкой душевной доброты. Врачом, военным хирургом, работала. Начинала еще в Афгане. Стольким парням жизнь сохранила. Почти безнадежных вытягивала. Ноги, руки по косточкам собирала. Был у нее в этом талант. Всегда веселая, легкая, светлая и совершенно бескорыстная. Больных оптимизмом заражала, так что сразу жить хотелось. Такая мощь в ней была и еще любовь христианская к ближним. Редко таких людей встретишь. Бриллиант.

А какая она подруга была. Представляешь, вот вроде дар у меня, а она всегда знала, когда ко мне в гости прийти надо. Если тоскливо на душе, маета, гнетет что-то — придет, и как рукой все снимет. Если радость какая, так больше меня радуется, смеется. А знаешь, как она под гитару пела, как будто душу нараспашку разворачивала. На всех праздниках первая заводила. Настроение создать умела, так, чтоб всем тепло было.

Когда первая чеченская грянула, Рита в командировку вновь засобиралась. На работе сначала отпускать не хотели: таких врачей еще поискать надо. К ней на операцию люди в очередь записывались на несколько месяцев вперед. Большие деньги предлагали, только ей на это наплевать всегда было. Добилась все же, чтоб опять в пекло ехать. Врачей тогда на передовой не хватало. А у нее опыт в военной хирургии огромный. Нужна она там была. Так бывает, когда человек чувствует, где его место. Никогда не забуду, как прощались на перроне. Был поздний вечер, и состав освещался желтыми яркими фонарями. С неба неожиданно начал падать снег, густыми, огромными хлопьями, и асфальт быстро стал весь белый. Кругом суета. Народу полным-полно. Прощаются, пьют, смеются и плачут. Включили «Славянку». Все стали загружаться по местам. Она грустно улыбнулась, обняла меня и прошептала: «Я вернусь». И запрыгнула на подножку вагона. Поднялась и махала рукой, долго, пока состав не скрылся из виду в начинавшейся метели. А я махала в ответ, в темноту, и слезы душили меня, разрывая грудь. Уже тогда в душе было понимание, что не вернется. Видение было, как лицо ее покрывает снег, словно саван, и не тает.

Рита написала только одно письмо, подробно и страшно описывала, что там происходит. А потом тишина, ни строчки. И вдруг, через два месяца после отправки, звонок. Это была ее старенькая мама. Она плакала и просила прийти. Сердце зашлось от предчувствия беды. Когда вошла к ним в квартиру, там стоял мужчина в камуфлированной форме, с перевязанной головой. Он был только что оттуда. Уже на улице, закудив, чтоб унять нервную дрожь, рассказал, что Рита и еще три женщины медперсонала были прикомандированы к их мотострелковому полку. Делали сложнейшие операции, чудеса творили, спасая парней. А когда выбирались из операционных еле живые от усталости, валились спать в отведенном им кунге. И вот однажды ночью чечены вырезали часовых и угнали этот прицеп. Вот так, просто. Заблокировали снаружи дверь, подцепили к машине и укатили в неизвестном направлении. Через месяц в пригороде Грозного наткнулись на голову одной из женщин, она была надета на палку, а про остальных так ничего и не известно. Понятно лишь одно: смерть приняли они такую, что врагу не пожелаешь. А еще, из собранной информации, узнали, что продал их кто-то из своих и деньги за это получил немалые. Вот только кто эта тварь, так и не вычислили.

Помню, слушала его, а в душе все переворачивалось. В глазах чернота. Из груди как будто кусок сердца вырвали. Температура зашкалила. Ночью, когда во сне бредовом забылась, Риткин плач услышала, хотя в жизни никогда она не плакала, стойкая была, как кремь. А тут тихонько, как ребенок, всхлипывает, зовет меня и просит за нее отомстить. Очнулась, а мольба ее в ушах звенит.

Горевала я тогда долго. Такая черная тоска накатывала от жалости к подруге и тем троим врачам, что передать тебе не могу. Запрещала себе даже заглядывать в ту сторону, боялась, что сознание не выдержит: не дай Бог увидеть, что с ними случилось. А когда немного отпустило, безысходность злостью сменилась, стала искать мразь эту, что девчат продал. Но только сейчас, чувствую, в цель попала. Знаю, что предатель этот паскудный, который здесь орудует, он и подругу мою тогда на смерть лютую отправил. Только кто он?

* * *

— А я вам еще раз говорю, Игорь Андреевич, что Ханкала недовольна, как мы боремся с бандой. А вернее, никак не боремся. Хвост поджали и сидим ровно, — горячился начальник штаба, подполковник Лимонов. Соответствовал он своей фамилии и легкой желтизной кожи, и постоянно кислым выражением лица. Василевский слушал его, силой подавляя раздражение. Игорю давно были ясны амбициозные потуги этого вояки. Хотелось тому, ох как хотелось признания и государственных наград.

Начштаба расхаживал по палатке, размахивая руками и накручивая себя все больше, пытаясь донести главную мысль командования, живописал дальнейшее направление действий отряда.

— Генерал не простит нам нашего малодушия и потерь, которые мы несем. Если, Игорь Андреевич, вы не боитесь потерять должность, можете и дальше мириться с тем, что у нас под носом боевики безнаказанно что хотят, то и делают.

Лимонов остановился и требовательно посмотрел на командира отряда. Он уже сел на любимого конька и был в роли обличителя трусости и профнепригодности. Помимо подвигов и орденов, хотелось ему еще и соответствующую должность. Один близкий родственник, не последний человек, кстати, в Министерстве, обещал походатайствовать перед кем нужно и советовал самому не теряться и проявлять разумную инициативу, но аккуратно, без фанатизма.

Все это Василевский знал, а также понимал, что несостоявшийся политрук Лимонов хоть и зазывает пойти и всех победить, но сам надеется, пока другие будут жилы рвать, отсидеться в КШМ на прямой связи с руководством. Игорь взглянул на скучающего Васеева: тот увлеченно разглядывал шариковую ручку и, казалось, пламенную речь начштаба не слушал, но, почувствовав взгляд друга, с наигранным подобострастием в голосе вдруг заявил:

— Абсолютно с вами согласен, уважаемый Константин Владиславович. Распоясались бандиты, дальше некуда. Пора их депортировать, по примеру, который подал нам дорогой вождь Иосиф Виссарионович, в двадцать четыре часа. И я, как истинный сталинист и почти коммунист, готов хоть сейчас выдвинуться под вашими знаменами. Вы, товарищ подполковник, какого коня предпочитаете, белого или каурого?

Лимонов остановился, не поняв с ходу речи майора, пробормотал:

— Какого коня?

— Того, на котором вы нас в смертельный и несомненно праведный бой поведете.

Майор преданно смотрел на ошарашенного Лимонова. Через минуту до него дошло Вовкино шутовство, и, побагровев, он рявкнул:

— Издеваетесь! Что ж, вынужден доложить руководству о вашей трусости и некомпетентности, — и почти бегом выскочил из палатки.

Игорь и Володя проводили его взглядом.

— Вот ведь дурака кусок на нашу голову, — процедил Васеев, с которого моментально слетело идиотское выражение лица, — вояка хренов, хочет чужими руками жар загребать и дырки себе на кителе сверлить.

Игорь вздохнул:

— Да уж, Вов, один такой соратник — и врагов не надо. Стучать, сука, побежал. Так что через пару дней к выходу готовься. Он сейчас эту тему грамотно в уши вдует. А я, наверное, буду к пенсии готовиться, хватит, навоевался.

Друг только рукой махнул:

— Остынь. Бодливой корове рогов по штату не положено. Но выход не за горами, ты прав. Давай, командир, карту, будем думать, откуда этот пирог откусить.

* * *

Лимонов слово свое сдержал, и кому надо нажаловался. Через несколько дней Василевский имел весьма неприятную беседу, а также получил распоряжение в ближайшее время провести операцию по выявлению и уничтожению орудующей на его территории банды. Срок на все про все — месяц. В противном случае строптивому офицеру пообещали самый что ни на есть пристрастный разбор полетов и рассмотрение вопроса о соответствии занимаемой должности. Еще через день начальник штаба, с полным сознанием собственной значимости, преподнес неизвестно откуда взятую секретную информацию о возможном нахождении активных членов бандформирования.

Василевскому по-мальчишески нестерпимо хотелось превратить в сочный фарш его высокомерную морду, но приходилось сдерживаться. Игорю в беседе настоятельно посоветовали отношения с Константином Владиславовичем не обострять.

Приступили к разработке предстоящего выхода, расстановке сил и средств. По имеющейся вроде как агентурной информации, духи последнее время отсиживаются в селе по трем адресам. Решили разделить на три группы захвата и ударить

одновременно по всем. Первую, которая должна была штурмовать дом, где, по сведениям, находился сам Касумов, возглавил майор Васеев. Игорь, хоть и переживал из-за недавнего ранения друга, понимал, что лучше Володьки с заданием не справится никто. Тот лишь кивнул, невольно коснувшись рукой скрытой свитером повязки. Вторую — капитан Крушнов. Третью — командир первой роты, майор Лозовой. Общее руководство было за Василевским и Лимоновым, который мысленно уже примерял себя на новую, вожделенную должность.

Ранним воскресным утром выдвинулись настолько скрытно, насколько было возможно при проведении такой масштабной операции. Перед населенным пунктом разделились, рассредоточив подобие заслона на случай, если бандиты попытаются прорываться из села через заходящие с разных направлений группы захвата.

Одновременный штурм, конечно, хорошо, но... Первым отрапортовал Васеев: адрес был пустым. Последующая зачистка дома и прилегающей территории не дали никакого результата: не было и следа главаря банды и его подручных. Выгоняя из проломленных ворот БТР, Володя запрашивал, нужна ли помощь двум другим группам. Но у остальных была такая же пустышка. В доме, куда ворвалась группа Лозового, обнаружили старика и несколько женщин непонятного возраста. Те уверяли, что никого, кроме них, в доме нет, и беглый осмотр это подтверждал.

Крушнов, выйдя во двор после бесполезного штурма, в полной растерянности разглядывал абсолютно пустой дом. Внутреннее чутье подсказывало, что совсем недавно здесь были бандиты, но наспех собрались и убыли в неизвестном направлении. Опыт не давал расслабиться, и он крикнул солдатам, чтоб внимательнее смотрели под ноги и остерегались сюрпризов. Вдруг интуиция заставила резко развернуться в сторону сараев, вскидывая автомат, но ощущение, что опаздывает на доли секунды, уже придавило своей неотвратимостью. Замаскированная крышка лаза с грохотом и отлетающими комьями грязи распахнулась, и оттуда выскочил чеченец с зеленой повязкой на голове и наведенным пулеметом.

— Аллах акб... — и тут боевика с разворотом резко рвануло в сторону. Снайпер четко всадил пулю в плечо, а калибр 7.62, хорошо зная свое дело, практически оторвал руку, еще мгновение назад сжимавшую рукоятку ПК.

Крушнов, не удивляясь столь быстрой смене неудачи удачей, в два прыжка достиг поверженного бандита. На ходу забросив автомат за спину и вырвав из разгрузки нож, всем весом навалился на извивающееся тело и с нажимом упер клинок в небритый кадык.

— Где остальные, гад? — прошипел в побелевшие глаза капитан.

Чечен трясся под ним, сдавленно сипя. Саня потряхнул бандита за полуоторванную руку и, когда тот наконец смог вдохнуть после собственного крика, приставил острие ножа к его глазу:

— Либо ты говоришь, где банда, либо я тебе сейчас глаза вырежу и отпущу на все четыре стороны.

Нохча, гортанно забулькав и инстинктивно пытаясь отодвинуться от нависшей угрозы, затараторил:

— В горы ушли. Предупредили нас, что зачистка будет. Я один остался, чтоб отход прикрыть.

— Кто предупредил? Говори! — уже почти орал Крушнов.

— Не знаю! Я рядовой боец. Ничего не знаю, мамой клянусь, — он обреченно заскулил.

Крушнов, убрав от его глаза сталь, одной рукой приподнял за лямку оснащения и уже спокойно спросил:

— Знаешь, падаль, чья это разгрузка?

По лицу бандита проскользнул нескрываемый страх:

— Нет, клянусь!!!

— Врешь. Вижу, что знаешь, — как — то слишком спокойно ответил капитан. — Разгрузка эта друга моего, Федора.

И, без паузы, с силой вогнал лезвие по рукоять в глотку врага, перебивая пульсирующую артерию.

— Ну как, легче стало? — сзади стояла Тамара.

— Стало. — Крушнов тяжело поднялся, отпустив лямку разгрузки, и еще дергающееся в агонии тело мешком плюхнулось к его ногам, забрызгав берцы кровью. — Спасибо тебе.

— Это не мне, а Кирюхе спасибо. Не реакция, а взрыв. Я понять ничего не успела, как она уже на крючок надавила.

— За уверенность, что найду их, спасибо... и за знак тоже, — и благодарно, одними глазами улыбнувшись Тамаре, устало пошел к машинам.

* * *

Лежка никуда не годилась. Не удобная и плохо маскирующая с одной стороны, но только с этой точки была хорошо видна небольшая поляна в низовье горной реки. Тянуло туда Тамару ее никогда не подводившее чутье. Подсказывало, что надо ждать и результат будет. А ждать она умела и Кирюху этому учила. Уже не первый раз они скрытно от всех выдвигались в это место. Знал об их выходе лишь Василевский. Переживал и неодобрительно покачивал головой из-за таких долгих одиночных походов за территорию расположения. Но Тамара была непреклонна, опасаясь очередной утечки.

— Все будет хорошо, Игорь Андреевич, мы второй фронт открывать не будем. Будем только тихонько ждать и наблюдать. Очень уж удобное место для тех, кто пытается прятаться в горах. Чувствую, что должны они там появиться. Вот тогда разведку подключим и зайдем к ним в гости, когда бандиты меньше всего ожидать будут. А сейчас что, может, подводит меня озарение?

— Тебя-то? Ладно, действуйте, но осторожно. Никаких подвигов. — И подполковник дал добро, организовав им скрытый выход и вход. И вот уже который раз лежали они, устроившись для длительного наблюдения. Все кругом как обычно. Небольшие шапки снега покрывали огромные валуны по берегам незамерзающей горной реки. Деревья стояли, замерев, не шелохнувшись. Горные хребты кутались в низкие, тяжелые облака. Зима все же добралась до этих мест, замедлив быстро текущую жизнь. Протяжно вскрикнула какая-то птица. Хрустнула ветка, потянуло дымным запахом от пропахшей у костра одежды. Все это моментально вырвало из задумчивости и умиротворенного созерцания природы. Снайперы поняли: дождалась. Тихо и осторожно со стороны пологого горного склона спускалась одетая в натовские пятнистые маскхалаты группа. Остановившись на поляне и оглядевшись, разделились. Каждый занялся своим делом. Несколько человек что-то полоскали в зимней спокойной реке, ловко балансируя на скользких камнях. Трое быстро откопали у кустарника оружейный зеленый ящик и пытались его вытащить на поверхность. По их усилиям было понятно, что он полон. И только один, закутив, спокойно стоял и задумчиво разглядывал противоположный берег. Вдруг все напряженно замерли, подтянув к себе оружие. Стоявший главарь резко обернулся. Из леса появилась фигура в армейском камуфляже. По тому, как все быстро опять занялись прерванными делами, стало понятно, что этот человек им знаком и угрозы не представляет. Тот подошел к главарю, и они, поздоровавшись, отошли в сторону, о чем-то тихонько разговаривая.

— Вот ведь мразь! — протянула Тамара, узнавая вышедшего из леса человека. — Лежи здесь и наблюдай, а мне переговорить с ним надо. По счетам платить пора, — шепнула она Кире, когда человек, спрятав за пазуху внушительный сверток, быстрым шагом направился в лес, откуда вышел. И выскользнула из лежки.

Кира кивнула и продолжала в прицел всматриваться в копошившихся неподалеку людей, пока не услышала шорох, удивившись, что напарница так быстро вернулась.

— Ну что? — Она обернулась и вздрогнула от неожиданности, увидев над собой бородатого мужика. Улыбнувшись, он с силой ударил ее по голове прикладом автомата.

* * *

— Зарплату получил, Иудушка? — издевательски протянула Тамара, бесшумно выходя на тропу из-за деревьев.

Мужчина шарахнулся, занятый своими мыслями, и чертыхнулся:

— Тьфу ты! Следишь за мной, ведьма?

— Сам на меня набежал, но я не в обиде. Вот только одно понять не могу: чем тебя зацепили бандиты, что ты всех нас предал?

— Чем, — протянул он, пытаясь незаметным движением стряхнуть с плеча убранный за спину автомат, но тот, зацепившись за погон, качнулся, да так и остался на месте. — А тем, что ненавижу вас всех. И размазю Василевского, на месте которого должен быть я. Я больше его заслужил быть командиром. И тебя, тварь всезнающую, за то, что строишь из себя недотрогу. И солдат этих убогих, трусливых, которые только и мечтают домой попасть да под подол мамкин спрятаться. Всех вас ненавижу.

— Ты слюнями не брызгай. Хочешь, расскажу, как я все это вижу? История твоя банальна до невозможности. Был ты офицером грамотным и смелым. Лихим и бесстрашным. Делами доказывал, что ты лучший. И в какой-то момент поверил, что поймал военную птицу удачи за хвостик. Да вот только в этот самый момент осечка вышла, и на одном из заданий нарвалась твоя рота на засаду. К тому моменту, когда кончились патроны, погибли почти все, кроме тебя да еще пары молодых пацанов, но и вам выхода не было. Зажали вас грамотно и жестко. Смерть твоя стояла перед тобой, ожидая, когда ты разожмешь ладонь с гранатой. Да только не смог ты этого сделать. Чеченец у тебя гранату забрал. А потом ты же ему и рассказал, кто ты да откуда, а он предложил то, от чего ты не смог отказаться, — жизнь, да еще деньги, до которых ты всегда охоч был. Взамен, правда, заставил убить тех двоих солдатиков и все это на видеокамеру снял. Вот так поступил ты на службу к бандитам. И все у тебя ладненько пошло. Только вот совесть иногда, в самом начале, еще будила по ночам, но потом ты сумел и ее придушить. Действовал ты талантливо да изворотливо, так, что даже друзья подумать на тебя не могли. Вон, не побоялся и засаду сам на себя устроить, чтоб все взаправду выглядело. Парней подставил. Ну да тебе не привыкать сослуживцев в расход пускать. Так что ты мне здесь военные песни не пой, касатик. Лучше расскажи-ка, каково тебе было деньги тратить, которые ты за Ритку и остальных девчат получил. Это после того, как она тебе осколки из руки вытянула и от гангрены спасла.

— С удовольствием! — взвизгнул предатель и, некрасиво скалясь, рывком попытался перекинуть автомат. Не успел. Тупорылая pistolетная пуля, свернув переносицу, с характерным хрустом лопнувшего арбуза вынесла затылок. Он невразумительно хрюкнул, закатил мгновенно остекленевшие глаза и тяжело опрокинулся навзничь, проломив снежную корку.

Тамара, убирая «Макарова», подошла и пристально, как бы сканируя, вгляделась в распростертое тело. Потом наклонилась и резким движением сорвала с шеи какой-то старинный оберег.

— Магия, твою мать, — усмехнулась она и поспешила обратно.

* * *

Кира несколько раз с трудом выныривала из липкого, пульсирующего забвения. Но дикая, разрывающая голову боль ввергала обратно, так что она успела только ощутить, что тащат ее за лямку от разгрузки, волоком по мерзлой земле. Страх птицей бился в груди, опять и опять заставляя приходиться в себя. И, собрав силы, она смогла наконец сфокусировать взгляд и увидеть, что ее окружают бородатые чеченцы и, глядя на нее, довольно щерятся:

— Попалась, ведьма!

Стон прорвался от понимания произошедшего, и она тщетно попыталась вырваться, но, когда один из бандитов ударил ботинком в лицо, тошнотворная темнота опять окутала ее. Правда, перед тем, как сознание в очередной раз потухло, успела заметить затуманенным от боли взглядом, как мечется за прозрачными ветками кустарника и обледеневших деревьев, преследуя их, огромная, бесформенная, черная тень.

— Спаси меня, — прошептала она беззвучно разбитыми губами и провалилась во мрак.

Шли бандиты долго, все дальше углубляясь в труднопроходимые места. Пока, выдохнувшись, не решили сделать привал. Удивляясь, как такая маленькая и на вид хрупкая девушка может быть настолько тяжелой. Подумали, что сам шайтан тянет к земле, мешая им тащить ее до хорошо скрытой базы. Когда обессиленно расселись на поваленных деревьях, с проклятиями швырнув окровавленную добычу на мерзлую, припорошенную землю, и закурили, стали вслух решать, надо ли тащить ее дальше или лучше разделаться с ней прямо здесь. Но легкой смерти снайперу никто не желал, поэтому сошлись на том, что надо собраться с силами и дотянуть до базы, где и ответит эта тварь за все. И вот когда они решали, как медленно и с удовольствием будут резать эту русскую на куски, к ним, не пошевелив на ветках снег, вышла женщина, настолько нереальная здесь со своими распущенными ярко-каштановыми волосами и изумрудными глазами, что чеченцы сначала подумали, что это наваждение от усталости, и лишь секундой позже вскинули автоматы, уперев в нее черные стволы.

— Отпусти ее, Усман. Это не та, которую ты искал, — сказала она бесстрастным, спокойным голосом.

Главарь в непонимании уставился на нее.

— Слышишь, что я тебе говорю, Касумов? Я, Ведьма.

Он уже оправился от неожиданности и, вскочив, попытался выстрелить, но оружие дало осечку. Судорожно передернув затвор, пробормотав проклятие, повторил попытку, но тщетно: ударник опять щелкнул вхолостую.

— Отпусти ее, и мы с тобой сможем поквитаться, а иначе не взять вам меня.

Равнодушно окинула присутствующих холодным взглядом, остановилась на самом молоденьком и, уперев в него указательный палец, сказала:

— Слушай ты, Макка Дадаев, сын Руслана Дадаева, внук героя отечественной войны Хамзы Дадаева, и запоминай. Сейчас ты возьмешь девчонку и потащишь обратно, до самого расположения отряда. Передашь ее часовым и вернешься домой, там родные тебя заждались. Не твоя это война. Но запомни: если остановишься и выпустишь из рук разгрузку до того, как доберешься до нашей базы, в тот самый момент умрет твоя мать. Веришь мне?

Парень кивнул, судорожно дернув острым кадыком, и, как завороченный, взялся за разгрузку и потащил снайпера обратно — туда, откуда они пришли.

Усман удивленно проводил его взглядом, но ничего не сказал.

Когда парень с тяжелой ношей скрылся в сумраке темнеющего леса, Тамара оглядела всех бандитов, и по ее лицу скользнула еле заметная ухмылка.

* * *

— Товарищ подполковник! Товарищ подполковник! — в палатку вбежал запыхавшийся солдатик и, встав как вкопанный перед ошарашенным Василевским, судорожно начал хватать воздух, чтоб восстановить дыхание, — там чеченец какой-то приполз ненормальный. Кирюху притащил. А сам бормочет ерунду какую-то и намертво в разгрузку ее вцепился, так что оторвать не смогли. Пришлось Киру из нее доставать. А после того как майор Лозовой ее в медчасть унес, вообще не в себе стал: рыдал и кому-то все время объяснял, что он все выполнил, что должен был, и просил пожалеть его мать. На расспросы не отвечает и, по-моему, вообще не совсем понимает, где он находится.

— С Кирой что? — накидывая на ходу бушлат, кинул Василевский.

— Не знаю. Голова разбита. Без сознания. Сейчас у врачей, — докладывал солдатик, поспешая за быстро идущим командиром.

— А Тамара где?

— Не знаю, товарищ подполковник.

Молоденький чеченец, весь грязный, в разодранном маскхалате, был в самом деле на грани помешательства. Обессиленно привалившись к блоку, размазывал слезы грязными руками, из которых так и не выпустил разгрузку, и разговаривал с темнотой. Добиться что-либо от него не представлялось возможным, и Василевский, махнув рукой, сказал:

— Этого тоже в медчасть!

Солдатики его еле подняли и, поддерживая под локти, повели в сторону палатки медиков. Он понуро, пошатываясь как пьяный и спотыкаясь, плелся, продолжая прижимать к груди окровавленную Киру разгрузку, что-то тихонько бормоча и всхлипывая.

А Игорь уже отдавал команды, снаряжая группу для поиска, пытаясь уgomонить рвущееся из груди сердце

* * *

Кира пришла в себя на следующий день, ближе к вечеру. Со стоном вынырнула из болезненной, мутной темноты и, сразу все вспомнив, стала испуганно оглядываться вокруг. Еще не понимая, где находится, попыталась приподняться, но сил не хватило, и она обессиленно рухнула обратно на подушку. Липкий холодный пот тягуче скатывался по лицу и телу. Жар затуманивал сознание. Страх попавшего в западню зверя душил ее, прихватив спазмом горло. Даже оглушительная боль не могла заглушить единственную мысль, пунктиром бьющуюся в мозгу: надо бежать! К ней метнулся док, удержав от порыва скатиться с кровати, и начал шепотом, улыбаясь, доходчиво, как ребенку, объяснять, что все хорошо и она у своих, что все будет хорошо. И сейчас ей надо только немного отлежаться и подлечиться. На его слова, что у нее на удивление крепкая голова, а с виду он бы и не сказал, она впервые за эти сутки улыбнулась, чем несказанно обрадовала дока, и тот начал шутить и балагурить, чтоб отвлечь ее от мрачных мыслей. И только когда Кира, успокоен-

ная дружеским участием, опять провалилась в беспокойный сон, заменил лекарство в капельнице и, вздохнув, отошел от нее, сокрушенно пробормотав:

— Ох, девчонки — девчоночки...

В следующий раз, когда она пришла в себя, к ней зашел Василевский. Тихонько сел на стул рядом с кроватью и по-отечески, с теплотой в голосе, спросил, как она себя чувствует.

Чувствовала она себя плохо. Голова кружилась и разламывалась от пронизывающей острой боли. Рассеченная кожа, стянутая швами, нестерпимо ныла. Перед глазами плавали чернильные пятна, и при каждом вздохе к горлу подкатывала тошнота. Но Кира прошептала обметанными от жара губами, что хорошо. А еще спросила, где Тамара? Игорь вздохнул и, немного помявшись, решая, рассказывать Кире или подождать, когда ей станет лучше, поведал, как притащил ее полоумный чеченец. Как они поспешили по оставленному следу и шли долго, ночным лесом, только к утру выйдя на небольшую поляну. И, как следовало из увиденного, Тамара подорвала себя вместе с бандитами. Вот и все, конец банде Касумова. А еще пропал Вовка Васеев. Правда, до этого всего, днем.

Кира сглотнула и, еле разлепляя запекшиеся губы, прошептала:

— Васеев предатель. Он сливал все бандитам.

После того, как оглушенный последней новостью командир, пожелав скорейшего выздоровления, ушел, к ней зашел Крушнов и рассказал, что не все так просто в исчезновении Тамары. Он лично возглавлял группу поиска, и когда они вышли на эту злополучную поляну, то по ней, действительно, были раскиданы разодранные тела бандитов, но вот останков Тамары не было, как не было и воронки, которая, судя по разрушительной силе взрыва, должна была быть внушительных размеров.

— Может, жива, — прошептала Кира, проваливаясь в спасительный сон.

А ночью резко повеяло корицей и ночным зимним лесом. Кира открыла глаза, обрадованно попыталась приподняться навстречу подруге. Но голова закружилась, и она обессиленно откинулась обратно. Тамара, вынырнув из темноты, бесшумно подошла и села на край кровати, погладив ее по голове. От этого прикосновения боль и тошнота стали проходить.

— Кира, девочка моя, пришло время прощаться. Только не будет мне покоя, если не передам силу свою. Возьми меня за руку, освободи меня. — И женщина протянула ей руку.

— Не уходи, — прошептала Кира, со слезами глядя на подругу.

— Не могу. Прости. Я все сделала, что должна была. Больше здесь делать мне нечего. А ты будешь служить дальше.

И Кира, не отводя глаз от лица напарницы, протянула руку и сжала теплую, живую ладонь.

— Прощай, — пронеслось в голове, и видение растаяло, как будто и не было ничего. А девушка провалилась в крепкий, без сновидений, спокойный сон.

Эпилог

Год спустя. Пятилетний Пашка играл в парке в пограничника. Сначала, конечно, он очень расстроился и даже всплакнул из-за того, что старший брат с друзьями не взяли его играть с ними в футбол. Но он действительно был мал и не так быстр и ловок, как девятилетний Костя и его товарищи. Поэтому быстро взял себя в руки и решил играть самостоятельно. Правда, иногда украдкой поглядывал на мальчишек, которые увлеченно гоняли мяч и на Пашку не обращали внимания.

— Я пограничник. И я охраняю границу нашей Родины, — приговаривал он, сжимая пластмассовый автомат и отмеряя шагами прочерченную прямую.

— Товарищ пограничник, разрешите мне нарушить государственную границу и пройти на сопредельную территорию.

Пашка обернулся и увидел улыбающегося мужчину, стоявшего перед чертой. Свел на лбу бровки, всем своим видом изображая тяжелое раздумье: что надо делать с нарушителем границы? Мужчина подсказал, что, несомненно, он должен сдать его своему командиру, и уже тот будет решать его дальнейшую судьбу. Тогда Пашка важно сообщил, что он и есть командир погранотряда. Мужчина удивленно, восхищенно всплеснул руками и, смешно запричитав, коверкая слова на иностранный манер, сказал, что сдается на милость такого юного, но определенно очень отважного командира.

Мальчику очень понравился этот взрослый дядя, который не спешил уйти и легко втянулся в игру. Мужчина подошел и, протянув руку, пожелал познакомиться с героем, сказав, что его зовут Игорь. Мальчик заулыбался, радостно сообщив, что и его папу зовут Игорь. Только он сейчас на службе. Мужчина кивнул и, вдруг заговорщически подмигнув, спросил:

— А почему у такого замечательного пограничника нет собаки?

Пашка задумался. Ему ужасно хотелось собаку, немецкую овчарку, как у соседки Юльки. Но мама не одобряла его желания.

— Понимаю. Родители против. И у меня в детстве так же было. Но однажды я принес домой замечательного маленького щенка, он был такой хорошенький, что родители разрешили его оставить.

Мальчик слушал, приоткрыв рот, забыв про все на свете.

— Знаешь, Павел, а ведь тут недалеко живут несколько чудесных щенят. Можно выбрать одного, и тогда я сам схожу к твоей маме и уговорю ее оставить маленького песика.

Пашка кивнул и доверительно вложил ладошку в большую, немного шершавую ладонь незнакомого мужчины, только мельком взглянув в сторону старшего брата и решив, что они быстро сходят, возьмут щенка и вернуться, так что Костя даже не заметит, что он куда-то отлучался.

* * *

Кира возвращалась со службы. Выйдя за территорию бригады и глубоко вдохнув морозный воздух, решила пройтись и свернула в парк. Не торопясь, девушка шла по расчищенным аллеям, размышляя о предстоящем Новом годе и подарках для родных и друзей. Недолго постояв и полюбовавшись на лихо играющих футболистов, решила купить мороженое и направилась к киоску. Прошла мимо увлеченно разговаривающих отца и маленького сынишки. Скользнула взглядом по лицу мужчины. И, сделав по инерции еще несколько шагов, встала как вкопанная и медленно обернулась. Незнакомец, несомненно, не был отцом ребенка, а то, что она увидела в глазах мужчины, всколыхнуло отвращением все ее нутро, вызвав из глубин жуткую, неконтролируемую злобу. Мужик, почуяв что-то и увидев ее изменившееся лицо, быстро выпустил руку мальчика, кинув:

— В другой раз, — и быстро скрылся в густом заснеженном кустарнике.

Мальчик растерянно проводил его взглядом, не понимая, что произошло и почему его новый взрослый друг так быстро убежал. К нему подошла Кира и, сев перед ребенком на корточки, доверительно сказала:

— Пашка, не огорчайся. Потерпи немного. В этот Новый год подарят тебе родители самую замечательную собаку на свете. Только, чур, об этом молчок. Идет?

И мальчик, улыбнувшись, так что на румяных щечках обозначились глубокие ямочки, скороговоркой пообещал:

— Честнопограничное!

— Верю, боец. А сейчас беги, а то тебя брат ищет.

И мальчик, быстро кивнув на прощание, побежал к брату, не желая того огорчать. Девушка проводила его взглядом, несколько раз махнув на прощанье, а через секунду, затвердев лицом, отточенным движением хищника рванула в заросли, где скрылась нежить в человеческом обличье. Кира точно знала, что догонит и что в судьбе ублюдка уже поставлена жирная точка.

Валерий СКОБЛО

* * *

Сколько хватит мне силы и мужества
Среди сломленных, слабых, больных
Не застыть от тоски и от ужаса
На просторах Твоих ледяных,

Где с мечтою о солнечном лучике
В темном царстве с разливами рек
С топором и в негодном тулупчике
Бродит страшный лихой человек.

Вот раздолье угрюмым историкам:
По земле, незнакомой с сохой,
Этот самый... в рванье и с топориком...
Так и бродит — лихой и бухой.

Снеговая, бескрайняя, топкая...
Что искал здесь святитель Андрей?
Этот самый... все топчется, топая,
У избушки без всяких дверей.

Что я здесь? Буреломом... сугробами...
Без пищали, шубейки, огня?
А мужик — все кругами... с притопами,
И... топорик смущает меня.

Вот уж скоро Тебя я порадую
И молчанием встречу правёж.
Надели меня Вечною Правдою,
Обличающей всякую ложь.

Валерий Самуилович Скобло — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил матмех Ленинградского университета. Работал научным сотрудником в НИИ Ленинграда–Петербурга. Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Стихи, проза, публицистика публиковались в отечественной и зарубежной (США, Англия, Франция, ФРГ, Израиль, Финляндия, Болгария, Беларусь и др.) литературной периодике. Основные публикации последних пяти лет в журналах «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Север», «Слово\Word», «Урал», «Юность» и др.; еженедельниках «Литературная газета», «Новое русское слово» и др. Сборники стихов «Взгляд в темноту» и «Записки вашего современника». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Премия им. Анны Ахматовой за 2012 год (номинация «Поэзия журнала „Юность“»). Живет в Санкт-Петербурге.

Перед тем, как все вихрем закружится,
И увижу отца я и мать,
Дай мне сил, укрепи мое мужество,
Чтоб за правду Твою постоять.

* * *

Не хочу вникать во все детально,
Но скажу тебе в который раз:
Как это прекрасно и печально,
Что никто... никто не знает нас.

В целом свете, малом мире этом
Неприметны наши имена.
Дело не исправишь Интернетом,
Да и слава разве нам нужна?

Помнишь — мы мечтали о счастливом
Мире, где любой другому брат,
Истинном — простым и справедливым...
— Что есть истина? — Его спросил Пилат.

Я б ему ответил... Слава богу,
Не меня прославил шум молвы.
Даже эту краткую дорогу
Я б достойно не прошел... увы.

Силу или слабость, так уж вышло —
Выбирать пришлось тебе и мне.
Помнишь, «С кем вы?..» — он спросил чуть слышно
В громкой неподвижной тишине.

Да... негромко — залу дрожь пронзила.
Слава богу, не было нас в ней.
Но, ты знаешь, есть у слабых сила,
В чем-то силы сильных посильней.

...Я не знаю, что такое счастье,
Но встречался с ним и не во сне,
Потому что жалость и участие
Все-таки на нашей стороне.

* * *

Итак: сраженье с земляными осаами
Я проиграл вчистую... был разбит.
Лил кипяток, забрасывал отбросами,
В какой-то миг я вспомнил динамит.

Чингис, Аттила — страх берет от имени!..
Но поражение потерпеть от ос?..

Я применял все достижения химии,
И в их числе, конечно, дихлофос.

Я норку затыкал землей, булыжником,
Из шланга воду лил на все подряд...
Я был покусан, хоть одет был лыжником —
Скажу: укусы эти не бодрят.

Ну да — в сражение с земляными осаами
Я отступил... и больше — я разбит.
Не доставайте глупыми вопросами:
Хоть не был трусом, мой позорен вид.

Гринписовцы... поганые экологи!
Не на меня обрушьте вашу злость:
Природу... вашу мать... сберег я, олухи...
Мне победить ее не удалось.

* * *

Я, представьте, застал времена
Бань, авосек, печей, керосинок...
Только кончилась эта война,
И другая просилась с картинок.

Дядя Сэм своей бомбой грозит —
В полосатых и узких брючонках.
Как он мерзок и страшен на вид!
Не боюсь его — что я — девчонка?

А на самом-то деле — боюсь.
Не его — эту бомбу, скорее...
В дальний угол, бывало, забьюсь,
Про бои чтоб не слышать в Корее.

Я болтлив был, как горный ручей —
Лет действительно было мне мало.
Мать с отцом шепотком про врачей...
Все ж и мне что-то в душу запало.

Выйдешь в кухню — соседи молчат,
Смотрят в сторону... Что тут виною?
А у них — ни детей, ни внучат,
И обычно играли со мною.

В коммуналке шесть комнат... больших...
Там уборная... два коридора...
А на кухне шесть столиков... Их
Я назвал бы полями раздора.

Да об этом чего говорить?.. —
Все поумерли дяди и тети...
И какая-то порвана нить.
Зря стараюсь я... Вы не поймете.

* * *

Из огня таскают каштаны,
Видя маршальский жезл во снах,
Лейтенанты и капитаны...
У фортуны в младших чинах.

Сколько их полегло до срока,
И что значит тот самый срок?
Загребущие руки рока
Их так любят смахнуть в песок.

Только вновь поднимаясь строим
Под кинжальный напор огня —
Нет, и я в этот мир не встроен —
Не забудьте, ребята, меня.

Не равняюсь ни с кем талантом,
Я свободен... мы все не рабы...
Снова стать бы простым лейтенантом
Из железной когорты судьбы.

* * *

И задумавшись — в кои веки —
Я не сразу в ответ скажу,
Кто мне ближе — древние греки
Иль соседи по этажу.

Очевидно совсем не сразу
За слепящим мельканьем дней,
Кто роднее мне — техник по газу
Иль мечтательный Одиссей?

Головою бейся о стену,
Избавляясь от всех химер:
И про Троию, и про Елену,
И — про нас — написал Гомер.

Притворяясь, что европеец,
Улыбается мне хитро
Мой случайный попутчик-ахеец,
С кем я еду сейчас в метро.

Чей он лучник и чей лазутчик?..
Что ж, укрась его, жилмассив.

И — удачи тебе, попутчик,
У ворот семивратных Фив.

ИЗ ЦИКЛА «НЕ ПО ИОВУ»

* * *

Боже, Творец мой шепчущий, дарящий слова в ночи,
Воззри на людей отверженных... Господи, не молчи!

Голодом истощенные, в степь убегают они,
Хлеб их — трава и ягоды. Дальше их не гони!

Ущелья, утесы, рытвины — это их дом и кров.
Найди и для них, о Господи, хоть несколько верных слов.

Люди без роду и имени, отребье земли Твоей...
Надежду и утешение, Господи, им навей!

Ручьев припаси для них, Господи, и диких плодов земли,
И ягодой можжевельника вдоволь их надели.

К плачущим между кустами, вжимающим тело в терн
Пошли меня, правый Господи, пускай я сомненьем полн.

Дай стать мне их песнью печальною, последнею из утех
И другом шакалам и страусам, братом изгнанников всех.

* * *

...Возьми меня за руку и проведи через эту
ночь. Чтобы я не чувствовал, что я один...

Рей Брэдбери

Почему вы все решили, что я стану
Утешать вас, обнадеживать?.. — противно.
Отношусь я к телевизору, экрану
Голубому — чрезвычайно негативно.

Тешат вас на Первом пусть канале,
Предлагая сладкую приманку.
Если б вы почувствовали... знали
Жизни этой грустную изнанку.

Вот полнеба молния скосила,
Ливень бьет наотмашь птицу... мошку...
Я не в силах вас спасти, но в силах
Взять вас за руку... за потную ладошку.

Провести сквозь жизнь, грозу ночную,
Сквозь сверкающие огненные нити.
Я не меньше вашего рискую.
Как хотите... Впрочем, как хотите.

Вот опять сверкнула мерой полной
Яростная, грозная, косая...
Мне не привыкать идти сквозь полночь,
Вас от одиночества спасая.

Тьма кромешная... и снова света вспышка.
Снова тьма... Но дело не в погоде.
Это лишь отсрочка... передышка...
Жизнь на доньшке, и лето на исходе.

Елена РОДЧЕНКОВА

РАССКАЗЫ

ДИКИЙ РУЧЕЙ

Зеркала иногда ошибаются, искажая действительность. Так же бывает и с оконными стеклами. Егор Тимофеевич очень страдает от такого искажения. Поскупился один раз, а мучается каждый день, в глубине души ждет, чтобы кто-нибудь ему окна перебил, и тогда придется новые стекла вставить. Взял он пятнадцать лет назад, когда менял оконные рамы в доме, упаковку уцененного стекла, а оно оказалось «гулячее». Идешь по дому, глядишь в окно, а там деревья плывут и извиваются, как гады на своих хвостах. Порой кажется, прячется за ними кто-то или ползет мимо дома. Уже пятнадцать лет не может привыкнуть Егор Тимофеевич к своим стеклам, и терпеть их не хочет, и разбить не в силах, и поменять возможности нет: жена не дает.

— Что тебе с ихних гулянок? Гуляют, и пусть гуляют. Тюль на них повешена, шторы хорошие им куплены, пусть дальше гуляют. Привязался к окнам. Это ж какие деньжищи надо выложить, чтобы поменять их! Иди на крыльцо, сядь и гляди, кто идет, кто стоит, кто летит. Там ничего не гуляет, когда трезвый. Пил бы меньше...

— Маня, ведь это ж можно испортить все нервы! Вот, кажется, Нинка пошла. Эта вот рябинка на опушке, как будто Нинкина пальтуха. Вишь? Гляну — нету Нинки. Психика моя нарушается с годами от такого обмана.

— А ты зачем за Нинкой следишь? — настораживалась жена Маня. — Что тебе надо от Нинки? Она замужняя баба. Вот если кто и «гулячий», так это ты, а не наши окна.

— При чем тут Нинка?! Это к примеру! Твои вот лилии в палисаднике — будто стадо овец мимо дому. Ужаснешься тут! Какое стадо? — у нас в деревне нет овец. А в голове-то моей, когда иду да косым взглядом зыркну — стадо!

— Это от водки.

Жена Маня завешивала шторы, поправляла тюль и включала свет.

— Ну, теперь нету овец?

— Теперь электричества нажжешь на сотню. Давай, давай, пенсия большая.

В субботу после бани Егор Тимофеевич захотел выпить. Дело было уже к вечеру, темно, жена Маня смотрела телевизор и не предлагала мужу после бани стопочку. Егор Тимофеевич подошел к окну, чтобы занавесить штору, глянул на улицу, да так и обмер:

— Мать честная! Заяц идет!

Елена Алексеевна Родченкова родилась в г. Новоржеве Псковской области в 1965 году. Окончила библиотечный факультет ЛГИК им. Крупской и юридический факультет СПбГУП. Член СП России с 1997 года, поэт, прозаик, публицист, детский писатель. Лауреат нескольких премий, в том числе Всероссийских литературных премий имени В. Белова, им. Э. Володина «Имперская культура», автор 25 книг. Живет в Санкт-Петербурге, работает адвокатом ГКА СПб.

- Где? — подхватила с дивана жена Маня.
— По улице идет, на задних лапах, как человек!
— Скорей стреляй его!
Жена Маня бросилась в сени за ружьем.
— Беги, Егор, а то ускачет!
— Мать честная! — прилипнув лицом к окну, изумлялся Егор Тимофеевич. — Где ж это видано, чтобы зайцы по деревне на задних лапах ходили? Мань, а может, это чей-то кролик?
— Кролик? — жена Маня на секунду замешкалась. — Все равно, на нем не написано, чей это кролик, на ружье.
— И ты глянь, на задних лапах, по сторонам поглядывает... Не, ну как я в такого стрелять буду? Я не смогу, Мань...
— Ну-ка?
Жена Маня, отпихнув большим боком мужа от окна, прижала нос к стеклу:
— Не видать...
— Под фонарем смотри, на дороге.
— Дорога белая, заяц белый, ничего не вижу, все слилось. А ты не пьяный?
— Откуда? Ты ж не наливаешь с бани? Что мылся — что не мылся. Смотри, вон подскочил... Глянь, Маня, а он ведь пляшет... И присядку...
— Где?
— Я в такого стрелять не смогу, Маня, нет, не смогу, — вздохнул Егор Тимофеевич, давя оконное стекло распаренным в бане лбом.
Жена Маня вновь уставилась в окно и вновь ничего не увидела, кроме извивающихся, как змеи, жердей штакетника.
— Не вижу ничего. Ну и оставайся без мяса. Добрый такой.
Она махнула рукой и отошла от окна. Егор Тимофеевич подставил стул к окну и сел поудобнее, чтобы наблюдать за зайцем.
— Вот до чего дожили, Маня, зайцы. На задних лапах по деревне ходят, будто они тут живут. Еще и пляшут присядку.
— Чего ж не плясать, охотники теперь такие пошли, что и ружье боятся в руки взять. Он завтра еще и медведя тебе к дому приведет, вместе плясать будут. А ты сиди, смотри на них из окон, пока стекла не перебьют.
— Как же они перебьют? Не догадуются.
— Плясать догадались и стекла перебить догадуются. Поди застрели зайца, слышишь? Я с картошкой натушу. Большой заяц-то? Чего он делает там?
— Да стоит пока. Думает. Во, глянь, глянь, развернулся... Не иначе, и правда к нам в гости решил пойти. Ну как я такого пристрелю?
— Ну-ка...
Жена Маня все-таки бросила вязание, снова подошла к окну.
— Где он?
— Под забором, идет вдоль жердей. Может, случилось у него что, помощи просить пришел?..
— Какой помощи? Он же заяц, а не человек. Не вижу я никого...
Жена Маня так разволновалась, так разнервничалась, что накинула на плечи фуфайку и вышла на улицу. Там, повернувшись лицом к окну, стала махать руками, мол, нет зайца, не видать нигде.
Егор Тимофеевич указательным пальцем направил жену в сторону леса, туда, где по бокам узкой тропки пухли нехоженые огромные сугробы. Жена Маня послушно обошла кругом двор, через калитку вышла на дорогу, оттуда махнула мужу головой и развела руки в низком поклоне, мол, нет зайца, ускакал.

Егор Тимофеевич строго ткнул указательным пальцем в темнеющие сосны на опушке леса, и жена Маня послушно направилась к соснам по натоптанной тропинке, то и дело наклоняясь и пристально разглядывая снег то справа, то слева.

Егор Тимофеевич занавесил шторы, открыл охотничий сундучок с порохом, достал оттуда полбутылки медицинского спирта, развел часть кипяченой водой и спокойно, как свободный и неженатый человек, сел за стол. Налил стопку, выпил, крикнул, хрустнул огурцом, сладко зажмурился, фукнул вправо. Налил стопку, выпил, крикнул, хрустнул огурцом, сладко зажмурился, фукнул влево. Налил стопку, выпил, крикнул, хрустнул огурцом, сладко зажмурился, фукнул прямо перед собой и чуть не заплакал — как же хорошо жить одному!

Когда жена Маня вернулась из леса, Егор Тимофеевич пел. Пел он громко, слышно было и в лесу.

— А, хорошо, что ты пришла, а то некому слушать, — заметил Егор Тимофеевич и продолжил песню. Он любил длинные песни, грустные, печальные, тягостные. Ему от таковых становилось сладко и вольно на душе. Пел он про ямщика, про златые горы, про лучинушку и не позволял, чтобы его прерывали. А жена Маня постоянно прерывала, перебивала вопросами и советами. Поэтому Егор Тимофеевич разбил заварной чайник об печку, стопку — об пол, а несколько чайных чашек — об дверь. Потом он собрал вещи и ушел из дома, объяснив свой уход тем, что все ведьмы живут одни, а нормальные люди — отдельно от ведьм. И что лучше зимовать у Горыныча.

Горыныч — это старый одинокий бобыль, неизвестно откуда прибывший и поселившийся в заброшенном доме на краю деревни. Его звали то ли Альбертом, то ли Ринальдом, то ли Эдуардом, то ли Рудольфом, потому деревенские дали ему официальное имя попроще — Додик, а кличку — Горыныч. Он был толстый, пузатый, ленивый, кудрявый, наглый и вороватый. Таким быть в деревне было не принято.

Горыныч был змееловом, ловил с весны до осени змей, складывал в сундук, кормил их мышами, крысами, прочей живностью, доил, выпаривал на электрической плитке яд и сдавал его неким скупщикам, приезжавшим на черной блестящей машине раз в месяц.

Сундук с ядовитыми змеями был объектом суеверного страха всей деревни. Началось все с его появления в доме Горыныча.

Сундук был вытаскен Горынычем из старого дома бабы Ньюши Комихи после ее смерти.

— Кто тебе разрешил воровать? — пыталась его остановить одинокая молодуха Верка.

— Чего тебе, Вер, не лезь. Дел других нет? Кому этот сундук нужен? Скоро и твой будет валяться посреди улицы, — бубнил Додик, примериваясь, как поудобнее установить сундук на ржавую тачку, взятую в огороде дачника Моряка.

— А тачку где взял? Не твоя ведь тачка! Как не стыдно?! Зачем ты хозяйничаешь в деревне, воруешь у людей? — не унималась Верка.

— Успокойся, тачка моя. Я ее купил.

— Как ты мог ее купить, если Моряк не продавал ее, он ведь уехал на зиму! Ты ее из сарая у него украл, что ли?

— Верка, — пыхтел Додик, — ты неугомонная. Наверное, замуж хочешь. Пойдешь за меня замуж?

— Придунок...

— Слышь, Вер, приходи вечером, я тебе стопочку налью. Бесплатно почти. Ну, сама понимаешь.

Верка хоть и одинокая баба, хоть и неудачница, а ярилась, как замужня, подзащитная:

— Свинья ты жирная! Не боров даже, а свинья! Мне твоя стопочка нужна? Замок выломал в бабы-Нюшином доме! Я в милицию позвоню!

— Чего ты на него кричишь, брось, — махал рукой подошедший дед Леша. — Пусть он этот сундук берет, ему змей некуда деть, старый мал им. Могут по деревне расползтись.

— Как это — пусть?! — удивлялась Верка. — Он ведь так всю деревню растащит. Развел питомник. Я в санэпидстанцию позвоню!

— Ташит, ага, это есть... Везде побывал. Додик, и когда ты наешься?

— Никогда. Давай-ка, дед, помоги поставить.

Верка не могла успокоиться:

— Ходит по огородам, морковку тягает, свеклу. Где что увидит, то и берет. Ты сажал ее, эту свеклу? А?! Лук ворует, картошку копает целыми мешками. Это что ж такое?!

— А ты видела? — рассердился Додик.

— Видела! И все видели.

— Врете! Вы тут все друг у друга воруете, а валите на меня!

— Мы?! Да никогда! Пока тебя бес не принес в деревню, никогда такого не было!

— Он по ночам тягает, не увидишь. Так, Додик? — спросил дед Леша.

— Так, — кивнул Додик.

— Как это — по ночам? — задыхнулась от негодования Верка. — А вот же — днем! Ташит сундук из бабы-Нюшиного дома. Замок сломал на наших глазах!

— Ну? Ташу! Это мой дом теперь. У меня документы есть!

Додик пытался, привязывая старой лохматой веревкой огромный сундук к маленькой тачке. Ему мешали большой живот, толстые короткие ноги и пухлые, заросшие черной щетиной щеки. Однако ему нравилось привязывать запутавшуюся веревку, он пытался и не сердился на нее.

— Кто же это тебе дом продал? У Комихи дети в другой стране живут.

— Не переживай, Вер, все нормально, Вер. Подержи-ка вот тут... Ага, вот тут подержи, Вер, давай, давай, а то упадет сундук.

Верка по доброте своей не смогла не помочь, сундук придержала с одной стороны, дед Леша — с другой стороны, а Додик стронул тачку с места и покатил вперед.

— Держите, держите крепче. Упадет, разобьете, а он ценный! Будете платить мне. Еще не дай бог, ноги мне раздавит, будешь ухаживать потом за мной, Верка.

Дед Леша, хромой на левую ногу, ковылял позади, а Верка, жалея деда, тоже не могла бросить сундук. Так они все вместе и прошли вдоль всей деревни.

— Ну, спасибо, спасибо вам, друзья мои. Идите теперь домой, а то все подумают, будто я Верку с вещами к себе жить перевез.

— Что?! — охнула Верка. — Старое чучело скрипучее, вонючее!

— Не ругайся, Верка, зато у меня денег много. Но я тебя замуж не возьму, ты глупая и старая уже. А за сундук спасибо. Если что, теперь втроем отвечать будем. Соучастники вы теперь.

— Ты, малец, вороти, да не растопыривайся, а не то я тебя скоро зацеплю и вытащу с корнем, — медленно прищурился дед Леша.

— Дед, отруби голову моему гусю, — миролюбиво попросил Додик, отвязывая сундук, — а мы с Веркой пока сундук в дом занесем.

— Пойдем, дядь Леш, — попросила Верка потерянно.

— Сам-то не можешь, что ли, ему голову отрубить? — поинтересовался дед Леша, изучая глубину души Додика.

- Жалко. Свой же все-таки гусь. Я тебе стопочку налью.
- Две, — сказал дядя Леша.
- Ну, две, лови его, Верка, гони гуся к дому. Возьми у крыльца топор-то. Вон того лови, Вер, самого крупного.
- Счас! — зло скривилась Верка и пошла ловить гуся, потому что деду Леше очень хотелось выпить, а с хромой, негнушейся ногой гуся ему было не поймать.

Когда Егор Тимофеевич ушел из дома, он пошел к Горынычу, просто чтобы позвать его на охоту. Охотник, конечно, зимой из Горыныча никакой — больно толстый, но он имеет машину «ниву», а она почти что вездеход. На ней в два счета можно доехать до глубинной чаши, а там подкараулить кого-нибудь, может, зайца, может, лису, может, кабана, а если волка подстрелят, то в районе премию дадут.

Горыныч к Егору Тимофеевичу был ни холоден, ни горяч после случая с роспуском змей по деревне. Когда года два назад Горыныча по финансовым делам вызвали в Москву, Егор Тимофеевич был в ссоре с женой Маней и потому согласился пожить в Горынычевой избе неделю, покормить змей.

Совершив последнюю дойку, дав Егору Тимофеевичу все ценные указания, Горыныч завалил свое круглое тело на переднее сиденье «нивы» и завел машину.

- Жор, траву скоси до самой реки. Она сочная, своим козам возьмишь.
- У меня возле дома козам трава.
- Свезешь как-нибудь, бензин купим подешевле, ты коси, коси, мне не жалко.

Егор Тимофеевич два дня вел себя размеренно, спокойно: почти не пил, почти не пел, а на третий день пришел хромой дед Леша, и тут уж они что-то разгулялись. И даже не поленились в деревню за гармонью сходить. Напелись от души. А утром Егор Тимофеевич проснулся от того, что что-то ледяное и слюнявое трется об его щеку. Глаза открыл — гад! Крышка сундука не до конца прикрыта, а вдоль щели, как плети, висят змеиные хвосты. Весь пол — будто на гажьем болоте в солнечный полдень в праздник Воздвижения...

— Вох! Вох! — по-бабьи тонко завопил и затрясся весь Егор Тимофеевич. — Дед, просыпайся! Погибель... Вох... Дед!

Он взвизгивал, скидывая с себя плети гадюк и задирает ноги вверх.

— Чего? — недовольно с похмелья переспросил его дед Леша, — Расползлись, что ли? А чего? Не закрыл, что ли? Во как... Открывай подвал, скинем их туда.

— Вох! Вох!

Дед Леша медленно и равнодушно открыл подвал, подмел веником пол, и десятки змеиных клубков оказались в подвале.

— Чего делать-то будем? — колотился Егор Тимофеевич. — Расползутся ведь, они такие...

— Да кинем им мяса в подвал, пусть жрут. Возьми в холодильнике.

— Расползутся!

— Ну расползутся и расползутся. Что ты их — остановишь, что ли? Расползутся, так он их опять соберет. Он же змеелов.

С тем и ушли они домой.

Когда Горыныч вернулся из Москвы, змеи уже расползлись из подвала через вентиляционные отверстия.

Егор Тимофеевич и дед Леша ничего никому о своем упущении не рассказали, потому в деревне почти месяц удивлялись, откуда такое нашествие змей? Ползут кто в лес, кто к реке прямо вдоль деревни.

Горыныч требовал от обоих денежной компенсации, был в ярости, тархтел, как трактор, но тоже никому ничего не сказал. Егор Тимофеевич и дед Леша ни на

какие его условия не согласились, согласились только с тем, что у сундука заржавели петли, и предложили отремонтировать старый сундук. Странное дело, но Горыныч спорить не стал.

* * *

Егор Тимофеевич пришел к Горынычу вроде как с предложением вместе с утра поохотиться, но понятно было, что за выпивкой и с ночлегом.

Самогонку Горыныч продавал деревенским дешево, Егор Тимофеевич отдал ему деньги, взял бутылку.

— Жор, расчисти пойдя снег возле крыльца, а я пока печку затоплю. Лопата на веранде.

Снег сырой, тяжелый, прилипал к лопате. Егор Тимофеевич разработался так, что не заметил, как расчистил подъезд к дому аж до самого большака. Бутылка к тому времени опустела, настроение поднялось, и Егор Тимофеевич запел.

— Ну, чего горлопанишь? — выглянул с веранды Горыныч. — Делать нечего? Сходи за водой да дров наноси на веранду. Давай, Жор, дрова в сарае, мне тяжело носить, живот мешает.

До самой ночи Егор Тимофеевич помогал Горынычу. И крючок новый прибил к двери, и щели в стене в сенях заделал, и розетку исправил. А потом вдруг ему все надоело и захотелось домой, стало как-то жалко жену Маню, которая уже месяц просила поправить розетку возле стола и грозилась убиться насмерть током.

Егора Тимофеевича потихоньку начала мучить совесть.

— Слышь, Горыныч, завтра давай на охоту съездим на кабанов.

— Не хитро.

— С утра на Дикий ручей съездим, там их много. Завалим, змеям твоим корм будет, и я Маню, свою жену, порадую. А то я ее очень огорчил.

— Давай-давай, порадуй Маню. Родина тебя не забудет, — закивал Горыныч.

Утром Егор Тимофеевич слазал на телеграфный столб, подкрутил в обратную сторону по просьбе Горыныча электросчетчик, который электрики перенесли из дома Горыныча на столб, устав бороться с воровством электроэнергии. Горыныч ковырялся в моторе «нивы» и давал изредка указания:

— Много не крути, лучше через недельку еще подкрутим с тобой. А то могут приехать на днях, повяжут обоих. Слышь, Жор?

— Да я сто киловатт снял.

— Ну, сто — это нормально, незаметно.

* * *

На Дикий ручей в глухую чащу они приехали быстро. Снега было мало. За ночную оттепель он отяжелел, сник, осунулся и не мешал машине мчаться по лесной дороге.

Дикий ручей, или маленькая речушка, петлявшая по низинам и оврагам, каменистая, говорливая, была еще подо льдом, но кое-где видны уже были промоины.

Егор Тимофеевич с Горынычем устроили засаду в кустах недалеко от ложбинки, где обычно всегда караулили кабанов. Сразу захотелось есть. Достали сала с хлебом, зачавкали. Было скучно и тягостно. Егор Тимофеевич любил ходить на охоту со своими мужиками, но тут пришлось с чужим. И что ж, надо терпеть. Егор Тимофеевич постоянно отталкивал липкое ощущение, что он сидит в одном окопе с фрицем и стережет своих.

Вдруг Горыныч заерзал, замахал толстыми руками, заворочал широкой жующей мордой в разные стороны и наконец вытолкнул сквозь зубы и сало с хлебом:

— Чуешь? Идут!

Егор Тимофеевич схватил ружье и нагнул голову, напрягая слух, согласился:

— Идут...

Едва различимые дальние треск сучьев, фыркание, топот ног, приближались очень быстро, и вот между деревьев по натопанной тропе прошествовала огромная кабаниха с выводком. Кабанята были разного помета: два или три постарше, один средний и трое совсем маленькие — нынешние, из последнего помета.

— Во попали! — прошептал Егор Тимофеевич. — Детский сад...

— Ты стреляй в кабаниху, а я выберу кабаненка, — прошептал Горыныч, целясь.

— Не смей! — сказал Егор Тимофеевич. — Про кабаниху забудь! Забьем кабаненка, и хватит. Какого покрупней. Я выберу, сиди.

— Не дурачься, Жор, забьем всех.

— Не смей, говорю! — повысил голос Егор Тимофеевич. — Подпустим поближе, и не лезь!

— Ладно тебе, Жор.

Горыныч заерзал на пузе, одна нога его застряла под корягой, и он тяжело засопел, вытаскивая ее.

Кабаниха вела свой детский сад вдоль реки. Вдруг она, не различая дороги, свернула направо и пошла по льду. Кабанята, как ниточка за иголочкой, след в след поспешили за матерью.

— Провалятся же, блин... Стреляй, Жор! — завопил Горыныч.

Егор Тимофеевич заворуженно смотрел, как кабаниха направляется напрямиком к промоине, собираясь перейти ручей.

— Ошалела, дура?

— Стреляй! Все равно утонет!

Лед под кабанихой треснул, и она в одно мгновение исчезла под водой.

Второй и третий кабанята, не замедляя хода, камнями попадали в полынью следом за матерью.

— Стреляй! Все потонут!

Третий крупный кабаненок тоже кувыркнулся в воду бесстрашно, будто был пловцом.

— Е...! Каво они?! Ослепши?

— Стреляй!

— Четвертый... Пятый... Шестой... Короче, все, — шептал Егор Тимофеевич, растирая нос. — Ты глянь, все за ней пошли. И погибли. Во как. Втонули...

— Я тебе говорил: стреляй, дурак ты! — вопил Горыныч.

— А сам чего ж?!

— Сам! Да я промазал бы! Я ж слепой! Вон у меня и пальцев нет. Пальцев-то сколько? Тут вон — три, а тут — два с половиной! — кричал Горыныч, брызжа слюной, топыря перед носом Егора Тимофеевича остатки пальцев.

В молодости Горыныч ловил змей в горах Татарстана, и были там особо ядовитые, против яда которых сыворотка не помогала. Спасти жизнь можно было только отрубив самому себе укушенный палец, пока яд не пошел по руке.

— Глянь ты! — прошептал вдруг заворуженно Егор Тимофеевич. — Выходят!

Из полыньи на другом берегу показалась мокрая кабаниха. Она рывком выскочила на берег, отряхивая на ходу воду со шкуры.

— Она брод знает! Е-мое! — заулыбался счастливо Егор Тимофеевич, — Глянь, и эти... Во, выходят за мамкой-то. Они тоже брод знают! Под водой шли... четыре... пять... А где шестой? Нет шестого... А где?..

Горыныч с недоумением смотрел на мокрых кабанов, сбившихся в кучу на берегу в ожидании шестого.

Вдруг кабаниха рванулась в воду и скрылась подо льдом. Через минуту показалась снова, толкая перед собой мордой вялого, бездыханного маленького кабаненка. Она выпихала его на берег, подталкивая носом под живот, стала заставлять встать на ноги. Она бодала, подбрасывала его, снова заваливала и опять подталкивала под живот носом, пока кабаненок не засучил задними ногами и не зафыркал. Остальные кабанята окружили их и тряслись, освобождаясь от воды.

Егор Тимофеевич не понял, что произошло раньше: падение кабанихи на передние ноги перед спасенным кабаненком или выстрел. Егор Тимофеевич обомлел и похолодел, будто упал рядом с кабанихой.

— Ты что сделал, урод?! — прошептал он растерянно.

— Стреляй, Жор, стреляй! Быстрее, а то разбегутся. Они все равно без мамки пропадут, Жор!

— Она ж его спасла... Как человек, спасла! Ребенка своего!

Горыныч отскочил, как мячик, в сторону и стал перезаряжать ружье.

Егор Тимофеевич поднялся, подошел к Горынычу и равнодушно, медленно, с широким размахом, как по столу, стукнул сверху кулаком по потной голове Горыныча, всадив ее по самую макушку в лохматый воротник овчинного тулупа.

Горыныч крикнул одобрительно и завалился на бок.

Егор Тимофеевич взял ружье из рук Горыныча и, не оглядываясь, пошел к машине. Он подошел к вишневой блестящей «ниве», похлопал ее зачем-то по капоту, как доброго коня по спине, и направился в деревню.

— Жор! Куда ты! — донеслось из кустов. — Жор! Помоги мне ее хоть до машины дотащить!

— Живой, гад... — прошептал Егор Тимофеевич облегченно.

— Жор!

— Ну, тогда вот — на тебе.

Егор Тимофеевич круто развернулся, подошел к «ниве» и, вытащив из кармана охотничий нож, с большим сожалением пропорол все колеса, потом постоял в нерешительности, пристально глядя на лобовое стекло, сложил нож и пошел в деревню.

Возле своего дома он замедлил шаг, разглядывая сверкающие окна, прошел мимо. Дошел до конца деревни, до дома Горыныча, сбил прикладом замок на двери, вошел в дом и открыл сундук со змеями.

— Идите гуляйте. Увольнительная вам.

Сначала он хотел выволочь сундук на улицу и перевернуть его там, в сугроб, потом пожалел змей, оставил ползать в тепле.

Закрыв дверь и пошел домой. Возле кухонного окна постоял, выглядывая, где ж его жена Маня. Не увидел ее. Мозданул прикладом ружья по окну. Посыпались звонкие осколки. Потом мозданул по другому, потом по третьему. Пошел на торцевую сторону дома, невзирая на крики жены Мани, расколотил там еще два окна, потом вошел в дом. Снял с себя всю одежду, открыл шкаф, вытащил выходной костюм, сберкнижку, паспорт, оделся и сурово, как на войну, пошел в город покупать новые стекла.

ДОМ ДУРЫ

Поначалу ездить на велосипеде на городскую помойку Инка стеснялась, старалась по темноте — или с утра, или под вечер, чтобы никто не видел. Когда наступила зима, снег завалил бесплатный Инкин магазин, а после того, как она

позвонила Президенту России на горячую линию, и вовсе закончилась ее дармовая добыча.

Позвонила зимой. Была почти трезвая, не злая, не голодная, просто сбил ее с толку сияющий на экране телевизора номер телефона. Может, проверить хотела, обманывают или нет, с этим номером-то, может, надежда какая появилась... Сама не знает, как так получилось. Правды захотела.

Позвонила и с ходу спросила: «Скажите мне, пожалуйста, как нам выжить? Старшего сына прислали из Чечни в гробу. Голова была положена отдельно, отрезанная, а тело чужое. Не его тело. А его, наверное, послали другой матери. Что? Да, я открыла запаянный гроб. Открыла... Что вы говорите? Неважно, как его зовут. Его нет. Остался младший. Батяка их спился. Муж мой. Похоронила. Колхоз распустили, деревня вся вымерла, работы нет. У нас здесь зима, дорога нечищенная, живут пять семей, одни старики. Школу в соседней деревне закрыли. В лесу волки. Вожу ребенка в город с ружьем. Мальчик у меня, Витя. Ружье нелегальное, отцовское. Можете, конечно, изъять. Работы нет. Никакой. Только домашняя: печки, вода, дрова. Скажите, как нам выжить? Ну как? Что? Да, сама я иногда пью. Злоупотребляю алкогольными напитками... Но ведь и таким надо выживать как-то, всем надо жить!»

На том конце с ней говорили вежливо и тепло, потому она рассказала не только о своей жизни, но и о работе районной администрации за последние лет десять.

Всю следующую неделю по утрам, просыпаясь, Инка ощущала какой-то холодный и неудобный мрак в желудке, так бывало после длительного запоя или перед посещением участкового. Но потом она затапливала печь, шла на колодец за водой, грела чай, пила его, тихо брякая ложечкой, глядя в окошко, и дожидалась, когда проснется Витя. Холод постепенно теплел, тяжелед, таял, как сугроб, и переставал ее мучить.

Через неделю к Инке приехала комиссия из района, человек восемь на двух старых козелках. Ввалились в дом без стука, по-хозяйски, стали рассматривать комнаты, заглядывать в шкафы, писать какие-то бумаги и одновременно проводить с ней беседу, говоря громко и хором. Были в комиссии представители из собеса, из роно, с биржи труда, из управления сельского хозяйства и несколько человек незнакомых, те стояли возле двери и молчали.

Инка не испугалась, хотя сердце ее колотилось и пыталось выпрыгнуть из груди. Она обозлилась. Уперлась сухими кулаками в костлявые бока, выставила вперед ногу в тапке, насупилась, набычилась и молчала, будто была глухонемой. Если бы она была пьяная, то оба козелка взлетели бы прямо от ее дома, как два реактивных самолета, несмотря на то, что дорога в деревню была нечищенная, но Инка была трезвая, а когда она была трезвой, она была разумной, расчетливой, спокойной и осторожной.

— Разве я неправду им сказала? — спросила она наконец умолкнувшую комиссию.

— Она еще спрашивает! — снова хором загалдели, как пара трехголовых драконов, члены комиссии.

— Разве я что-то сочинила или приукрасила? Товарищ начальник сельского хозяйства, Фрол Ильич, наш бывший председатель колхоза, не дашь соврать, где колхоз?

— Это все понятно, Инна, что нет колхоза, — согласился Фрол Ильич, — но зачем же выносить сор из избы? Подвела весь район.

— В избе у нас столько сору, что дышать нечем, хоть помирай. Я бы померла, да Витю некуда. Кто ж его на ноги будет поднимать?

— Не переживай, Витю мы заберем, — успокоила ее Дарья Марковна, директор

приюта, — лишим тебя родительских прав, и он прекрасно проживет на государственном обеспечении.

И тут у Инки исчез ум. Показалось ей вдруг в какой-то момент, что она стала не только пьяная, но и внезапно научилась летать, а когда она очнулась и обнаружила себя в облаке черной гари отъезжающих козелков, то увидела в своих крепко-накрепко сжатых кулаках клоки черных, длинных волос директора приюта.

Вечером Инка слегла с высокой температурой, послав Витю за бабой Аришкой, одинокой старой знахаркой, на другой конец деревни.

Бабка Аришка прибежала быстро. Шустренькая, сухенькая, ясноглазая, колдуней ее назвать язык не поворачивался, скорее походила она на плясунью из районного хора при доме культуры. Говорили, что она ведьма, но детей порченных, больных возили к ней лечить и не боялись. Бабка Аришка мудрым сердцем да зорким глазом всех видела насквозь, но ни на подозрения, ни на хулу не откликнулась, знай себе делала свое дело, собирала с людей всякую дурь и отправляла ее в сухой лес или в поганое болото, снабжала травами, водичкой, заставляла учить молитвы и в конце лечения всех направляла в церковь за семь километров к отцу Василиску.

Бабка Аришка очень уважала и побаивалась старого священника отца Василиска, отец Василиск бабку Аришку тоже любил, как и его отец, и дед, и прадед, тоже священники, любили Аришкину мать, и бабку, и прабабку, тоже знахарок..

— Ну что ты смотришь так, батюшка, как мышь на крупу? — спрашивала его бабка Аришка.

— Да ведь неплохо бы тебе эти дела заканчивать, помирать по-христиански будешь, исповедуешься, причастишься...

— Мне рано пока помирать, делов много, — отмахивалась бабка Аришка.

* * *

— Ох, касатик, мамушка-то твоя как нехороша, — прошептала бабка Аришка, подходя к кровати с распластанной на ней горящей Инкой. — Ох, девка, сколь дури на себя взяла! Зачем? Для чего взяла? — спросила она.

— Не знаю, — прошептала Инка.

— Не надо было брать. Сказала бы им: на свою голову! И пусть бы пошли. Сами бы справлялись. А теперь гори, что ж... Переможешь сама-то?

— Не знаю ничего...

— Ладно. Гори пока. Мы с мальцом печку затопим, блинов спечем. Авось справишься, а нет, так подмогну.

Но Инка не справилась, и посреди ночи бабка Аришка прогнала расстроенного Витю в сени, чтобы не мешал ей своим неверием. Она склонилась над горящей Инкой, а Витя надел отцовскую фуфайку, вышел на веранду, сел на провалившуюся старую оттоманку между несколькими выпирающими пружинами и стал смотреть в темный двор.

Привычное дело — бабкины сказки. С детства он помнил, как она несколько раз заговаривала ему ангину. Бывало, водит клочком колкой травы по горлу и шепчет себе под нос: «Ангинка-ангинка, колкая щетинка, тебе тут не быть, кровь не пить, кости не сушить...» Вите было щекотно и смешно, он фыркал, хватал бабку Аришку за руку и смеялся от души.

— Ну! Чего? — восклицала бабка. — Глупый какой! Сбил меня... Давай снова.

И опять шептала свои стишки, собирая с Вити ангинку и отправляя ее в поганные болота к змеям и скорпионам, в глухие горы под сухие пни, в гнилые леса, на кривые коряги, в омуты, болота и трясины.

Витя хохотал до упаду от щекотки, а то и плакал:

— Отстань ты от меня, баб! Страшно, я в лес буду бояться ходить! — но послушно вытягивая длинную худую шею.

— Тьфу ты! Опять сбил. Вот дурень...

Бабка Аришка садилась, обессиленная, на лавку перед Витей и осуждающе качала головой.

— Вот ведь вишь, непростой ты. Ишь как черти-то тебя ломают. Мешают мне. Ну-ка давай, малец, опять...

Упрямая была бабка Аришка, упертая. Плюясь по сторонам в конце заговора, торжественно провозглашая: «Собаки не лают, петухи не поют!..», она становилась похожей на маленькую первоклассницу Надьку Семенову, нарядившуюся старушкой для новогоднего представления. Махала ручками, крепко зажимая в кулачках сухую траву, суропила гневно белесые бровки, выпячивала сердито и грозно вперед нижнюю губу, и белый платок ее сбивался набок, от чего концы его висели над бабкиным плечом, как поникшие заячьи уши.

Витя хохотал, утирая слезы, и мотал головой от восторга:

— Зайчиха! Ой, не могу...

— Во, вишь? — таинственным шепотом прерывала его смех бабка Аришка. — Полезли бесы... лезут, вишь? Смейтесь, смейтесь, я вам устрою...

— Уши у тебя как у зайца, — заливался Витя радостным, легким смехом.

— Давайте, давайте, я вижу вас, вижу, — грозно и многозначительно кивала бабка Аришка, бросая в печку клочок скатанной травы. — Счас я вам устрою, погодите...

Она чиркала спичкой, поджигала траву и начинала разговаривать с огнем. Бежевый, как густое топленое молоко, дым валил клубами в избу.

— Трубу-то не открыла! Открой трубу-то, химик! — советовал Витя бабке, громко икая от смеха.

— Икай, икай... Выходят они из тебя....

Витя сам торопливо отодвигал печную заслонку, и дым послушно направлялся в печку.

— Иди теперь домой, сама справлюсь, — велела бабка Аришка. — Ему добро делаешь, а он все смеется надо мной, дурень. Не был бы ты мне мил, не стала бы тебя лечить. Всю душу вымотал, два дня теперь работать не смогу.

Правда, после заговоров Витя ангиной не болел. Один раз Инка водила его к бабке Аришке выгонять испуг, — тогда Витя нашел в лесу осиное гнездо и решил, что в нем есть мед. Пока принаравливался, как забрать, не заметил медведя. Хорошо, что медведь оказался медвежонком. Разбежавшись в разные стороны, они оба испугались так, что Витю пришлось вести к бабке Аришке.

Бабка путала его ноги и руки в толстых, круто крученных льняных нитях, как бы измеряя длину и ширину его тела, ног, лица, рук, ушей, что-то бормоча, будто считая, плюсуя-минусуя, приговаривая про месяц и солнце, день и ночь, жизнь и смерть, и также обязательно про своих собак-петухов. Как только она отворачивалась, Витя начинал хихикать. Он брал моток и изучал, чем это она его обматывает, в какие сети полоняет.

— Да что ж это такое? Олух какой! — сердилась бабка Аришка, нервно выхватывая моток из его рук. — Не води его ко мне больше, Инна, лезет везде, хватает все. Отдай!

Витя цепко держал моток и смотрел в глаза бабке, едва сдерживая смех.

— Отдай нитки!

— А ты портниха? Зачем меряешь меня? Что будешь шить? — спрашивал Витя.

— Я ж говорю, сглаженный. То есть испуганный. Испугал его медведь, — виновато оправдывала сына Инка.

— Никакого дела с ним. Мешает, и все тут, — жаловалась бабка Аришка, наматывая спутанные нитки на свой моток.

— Потому что я тебе не верю, — пояснял свое поведение Витя.

— Надо верить, сынок, а то испуг не пройдет. Будешь плохо спать, плохо кушать, плохо расти. Маленький останешься, все будут большие, а ты маленький, — тараторила Инка, чтобы Витя не вставил какое-нибудь глупое слово, — в армию не возьмут, девочки смеяться над тобой будут. Давай еще раз, стой спокойно, не смейся.

— В армию его... — сопела недовольно бабка Аришка, — в армию-то его возьмут... Давай стой и не шевелись, не то я тебя прутком нахлестаю, боец. Подставляй руки!

И снова путала его в свои заботливые, щекотные, льняные, ласковые сети, от которых на душе у Вити было тепло, мирно и весело, как от припекающего родного весеннего солнца.

* * *

— Чего сидишь? — услышал Витя шепот бабки Аришки из темноты сеней.

— Ты ж меня сюда прогнала, — прошептал он в ответ.

— Замерзнешь.

— Как мамка? Ушла болезнь?

— Ушла. Не бойся, не помрет.

Витя подвинулся, приглашая бабку посидеть с ним на оттоманке.

— А ты помирать не боишься, баб Ариш? — спросил он вдруг.

Бабка присела на оттоманку, покрепче завязала концы платка и шмыгнула носом.

— Не боишься? — повторил Витя.

— Не. Нажилась уже, не боюсь.

— А если в рай тебя не пустит Бог?

— Чего ж Он меня не пустит? Чем я плоха? — насторожилась бабка Аришка.

— Колдуешь ведь. Про сухие болота да дикие топи с кем ты договариваешься?

— Ишь ты! — рассердилась бабка — Мал еще советовать мне! Подслушивал? А ведь я просила тебя: выйди и не лезь!

— Не подслушивал! Я твои стихи давно все знаю. Божьи молитвы не такие.

— Всякие хороши, — вздохнула бабка.

— Не могу тогда понять, кому верить? Врачам, тебе или отцу Василиску? Все разное говорите. Вот ведь когда я рисую, я же не пользуюсь дегтем, хотя он и черный, или сметаной, хоть она и белая?

— Сравнил! Дегтем! Вонять будет картинка-то!

— И мелом не рисую там, где масляными красками нужно. Осыплется мел, сотрется, грязь одна получится, хоть он и белый.

— К чему ты это? — насторожилась бабка. — Раньше ничего не рисовали, а добро жили. Теперь рисуй да радуйся, а ума ни у кого не прибавлось.

— Время было другое. Хочешь, я тебе свои рисунки покажу?

— Хочу. Чем рисовал-то, не сметаной?

— В универмаге краски купил, как и положено художнику, — улыбнулся Витя.

* * *

А на следующий день приехал участковый Борис Иванович, худой, скуластый, сероглазый, сердитый мужик. Он громко постучал в окно кухни. Инка боялась стука в окно. Вскочила, подбежала, отдернула штору. Увидев фуражку Бориса Ивановича, обмякла и села на стул.

— Сынок, открой дверь. Да не пугайся, там милиция.

Борис Иванович вошел неохотно, устало поздоровался, сел к столу, достал папку, начал раскладывать бумаги.

— Ну, чего молчишь, гражданка Егорова? — спросил он. — Язык проглотила?

— Что говорить...

— Понятное дело, нечего. Собирайся в тюрьму.

— Витя, иди в свою комнату, — попросила Инка сына.

Витя подошел и сел рядом с ней.

— Иди, иди, Витя, — сказал Борис Иванович.

Витя прижался к матери.

— Иди, Витя. Мамка накричала на начальство, вот меня и прислали. Это ничего, не страшно... Ты был ведь, слышал все?

Витя молча смотрел на участкового.

Борис Иванович напряженно выдохнул.

— Несовершеннолетним присутствовать при допросе запрещено. Запрещено — значит не разрешено. Шагом марш в свою комнату.

Когда Витя ушел, Борис Иванович долго исподлобья смотрел на Инку.

— С бодуна? — спросил он наконец.

— Заболела.

— Угу. Заболела ты крепко, девка. Ум потеряла. Комиссии погромами и поджогами, расстрелами и повешением угрожала? Волосы рвала? Щеки царапала людям при исполнении? Это ж в психушке можно очутиться!

Инка кивнула.

— У тебя вот тут... — Борис Иванович гулко и безжалостно больно постучал себя крепким кулаком по лбу, — есть что? Или нет?

— Нет, наверное...

— При Сталине тебя уже сегодня к вечеру расстреляли бы...

Он вздохнул.

— Давай писать твою историю. Неси паспорт.

— При Сталине их всех бы самих еще вчера расстреляли, — слабо возразила Инка.

— Кого?! — грозно завопил Борис Иванович. — Девка! Их никто никогда не расстреляет. Они везде и при всех выживут, им при любой власти хорошо. Понимаешь, что такое хо-ро-шо?

Борис Иванович шмыгнул носом:

— И что такое плохо... Ты ребенка подставила под расстрел. Сама-то ладно, такое пережила, что уже теперь ничего не страшно, а его-то за что в детский дом определила?

— Почему же — в детский дом? — спросила Инка.

— Потому что посадят тебя, девка. Посадят, и правильно сделают, потому что больно на язык ты гадкая. И руками не по делу машешь. Не там где надо. Поняла меня? И по телефону любишь звонить. Не тому, кому надо.

Борис Иванович поднялся за столом.

— Я при исполнении, конечно, ведь я — тоже власть, Инна. Родителей твоих

уважал и твою семью жалею... Скажу как русский мужик тебе сейчас. Никому твоя правда не нужна. Бросаться на дуло пулемета надо только, если ты один. Если за тобой дети — будь мудрее. Ты же баба. Куда ты прешь под пули? И его тянешь.

— Так ведь... Я только позвонила... Спросить, как жить?

— Они научат. Будешь жить хо-ро-шо, на всем казенном. Задаром. И Витя тоже. Давай носи паспорт, будем писать рассказ про тебя... Чайник поставь.

* * *

Борис Иванович сочинял долго, писал медленно, расспрашивал Инку подробно, тщательно, обстоятельно, повторяя одни и те же вопросы по несколько раз в различной последовательности, будто хотел поймать ее на лжи. Но Инка не врала, вину признавала, в содеянном раскаивалась, обещала исправиться и поступить на работу, какую дадут, любую. В результате были написаны одна куца страничка протокола и целая тетрадка личного черновика Бориса Ивановича.

— Давай признавай вину полностью, — сказал Борис Иванович.

— В чем же? Я не собиралась никого расстреливать. Хотя и надо бы.

— Ты хоть иногда думай, что говоришь! Признавай вину, так и запишем: глупая я, плохо образованная, позвонила президенту с целью совместного решения проблем жизни страны. Желала посоветоваться о планах на будущее, а также выразила готовность поддерживать его на выборах и впредь...

— Счас! — прервала его Инка. — Поддерживать я никого не буду, я на выборы, как Петю похоронили, не хожу.

— Инна, я говорю о том, что ты обычная хулиганка, глупая русская баба. Ну, выпила, ну, позвонила, ну, поругалась с другой бабой. Может, у вас одна симпатия. И подралась. Надурила, понимаешь? Из хулиганских побуждений! Поняла? Так и будешь говорить.

— Не знаю... — загадочно процедила сквозь зубы Инка. — Пусть ходят и оглядываются некоторые. Если кто коснется Вити, я говорю прямо — что сказала, то и сделаю.

— Ну, опять за свое. Ты что, действительно можешь поджечь, разгромить, повесить и расстрелять от имени народа России живых людей?

— Вы меня удивляете, Борис Иванович! — всплеснула руками Инка. — Как я могу стрелять, у меня ведь пулемета нет!

— Кстати, о пулемете... А им ты сказала, что имеется таковой. Где?

— Сказала? Ну, под кроватью, — сникла Инка. — Отцовское ружье. Охотничий билет принести?

— Еще одна статья, — крикнул Борис Иванович. — Неси.

Инка пошла из кухни в другую комнату и принесла оттуда затрепанный, почти тряпочный охотничий билет из картона.

— Ружье надо изымать, — вздохнул Борис Иванович, разглядывая мутные разводы чернил и трещины на мелком фото Инкиного отца. — Не, девк, ты совсем дура...

— Хватит вам, Борис Иванович, что вы заладили: дура да дура. Просто я неудачница. Семья была крепкая, ладная, батя — лесник, мама — полевод в колхозе, мы с братом учились хорошо, старались... Не пил никто, не курил. Что ж, раз все так вышло с Петей... Покатилось... Как привезли его гроб солдаты и командир, как поставили возле дома на табуретки... Встала я, перекрестясь, тогда рядом, Борис Иванович, стою, и ни слез у меня, ни слов, и вдруг будто слышу, говорит мне кто: «Кончилась твоя родина, Инка. Кончилась твоя родина».

Борис Иванович крепко крикнул и отвернулся к окну. Инка кивнула самой себе:
— Она и кончилась. Вместе со мной. Нету нас.
— Ты это брось, — сказал Борис Иванович, — родина — она навсегда.
— Нет, — помотала Инка головой, — она есть, когда ей веришь. А я больше не верю никому. И мама, и батя, и Степан — они ушли в один год за Петей. Потому и ушли, что у них тоже кончилась родина. Только они никому о том не сказали, а я тебе говорю.

Борис Иванович стал нервно чиркать в своих бумагах:

— Ладно, Инка, давай подписывать.
— Давай. Но только знай, скажу тебе прямо: попробуют Витю забрать — исполню все, что стгоряча пообещала. Я свое слово держу. Как Петя и вся его шестая рота, буду держать свою высоту. Без боя не сдамся, Борис Иванович. И будь уверен, я крепко стою. Хрен меня сдвинешь.

* * *

Когда Борис Иванович уехал, Инка вытащила из сарая лыжи, приказала Вите никому не открывать, кроме бабки Аришки, быстро собралась и поехала.

— Мама, а ты куда? — крикнул вслед ей Витя.
— Буду поздно, не переживай, я к отцу Василиску!

Не успела она скрыться за горизонтом, как в доме возникла бабка Аришка, выросла, словно гриб из-под пола посреди кухни.

— Ушла мамка-то? — спросила она деловито. — В церкву небось пошла? Не сказала?

— К отцу Василиску.

— Ну да, я и чую. А чего так холодно у вас? Топить надо. А ты мне картинки-то свои собирался показать, не забыл?

Витя обрадовался, глаза его засияли, будто увидели что-то необыкновенное. Он поспешил в свою комнату, приглашая жестом бабку идти за ним, схватил с книжной полки пачку альбомных листов, вырезки из журналов, книжки, — все выгрузил на круглый стол.

— Витя, а никто не приезжал? — спросила бабка Аришка, разглядывая из-за его плеча картинку.

— Участковый, — кивнул Витя. — Сначала я свои эскизы покажу, а потом уже готовые вещи, ладно?

— Ладно. Милиционер один приезжал, боле никто?

— Никто. Вот смотри, баб Ариш, это карандашные наброски. Тут и ты есть. Вот найди себя.

Витя радостно подносил ей к лицу рисунки, руки его чуть дрожали, он волновался, будто бабка была строгим экзаменатором. Голосок Вити звенел от напряжения, как колокольчик, он то и дело судорожно вздыхал, всхлиывая, будто недавно плакал навзрыд.

— Хо-ро-шо-о, добро-о-о рисуешь, — хвалила его бабка Аришка, вытягивая вперед руку с рисунком, — жалко только, что нет очков, карандаш-то плохо видать. А красками рисуешь?

— А как же! — воскликнул радостно Витя. — Сейчас покажу!

— Добро-о-о, — протягивала бабка Аришка, причмокивая беззубым ртом, — красивые какие все люди. А так и не скажешь, гляючи на них. В жизни-то все не такие. Это кто — это я?!

— Ага!

— Красивая... Нос только... Чего такой маленький? Ну, какой есть, теперь уж не вырастишь. Из опеки не приезжали?

— Да сказал же, не приезжали. Узнала себя? Похожа?

— Похожа. Ты, малец, настоящий художник здесь растешь... Вот как оказывается... — сказала задумчиво бабка Аришка. — А я и думаю, чего ты не такой, как другие, а ты вишь — художник, значит... Дар у тебя. И правда как взрослый рисуешь, не скажешь, что маленький еще, — приговаривала она задумчиво, перекладывая рисунки один за другим, разглядывая их то вблизи, то далеко отстраняя от глаз, — Во как, ага... лес наш... яблоневый сад, улы, цветет сад-то как, ай-яй-яй... Борис-то Иваныч когда в город мамку вызвал?

— Не знаю, пока не звал. Смотри вот портреты. Это я на уроках рисую. Кого к доске вызовут, того и рисую. Вот учителя наши — Валентина Ивановна по литературе и Иван Евдокимович по пению.

— Похожи...

— А ты же их не видела...

— Не видела, да знаю. А это кто? Черный лист пустой? Чего замарал-то его?

— Это тоже картина.

— Что за картина — сажей лист замаран. Или дегтем?

Бабка понюхала квадратный кусок твердого черного картона.

— Это черный квадрат. Есть такая известная картина художника Малевича. Я ее хочу исправить.

— Малевича? Где он живет-то? Надо было не президенту, а ему позвонить да сказать, чтоб глупости не рисовал. Разве ж такие картины бывают?

— Бывают, — улыбнулся Витя, — и многие видят в этом квадрате большой смысл.

— А-а, смысл... Все равно как в печке сидишь да в закопченную заслонку глядишься, — заворчала бабка Аришка. — Ничего не выглядишь, одно только бока поджаришь.

— А вот и нет! Как раз и выглядишь! Распахнешь заслонку, а оттуда — свет, радость, дом, — сказал Витя.

— Так надобно ее раскрыть, сынок! Ты эту картонку-то пополам разрежь, давай я подмогну, ножницами не получится, а мы ножиком, давай? — оживилась и заволновалась вдруг бабка Аришка.

— Зачем? Не надо резать, можно белой краской нарисовать отсветы, видно будет, что ворота распахнулись... Вот смотри, у меня есть наброски: ворота как бы изнутри распахиваются, а в просвете видишь — кто?

— Кто?

— Это Бог, — сказал Витя.

— Ты не боишься Бога рисовать, может, нельзя? — засомневалась бабка Аришка.

— Не боюсь. Почему нельзя?

— Ну, не знаю, ты ведь не святой... Иконы могут писать только святые люди.

— Это не икона, это картина. Многие художники рисовали Бога, и ничего. Умерли, конечно, но ведь все когда-то умирают.

— В ад небось пошли... — решила бабка Аришка. — Скажи, ну вот как же так можно: грешить и братья Бога рисовать?

Витя оторопел.

— Разве я грешу? — спросил он. — Если только отговариваюсь да школу пропускаю, печку вот топить не хочу...

— Я не про тебя. А ты вишь какой, напугался! А сам меня давеча спрашивал, не

боюсь ли я помирать! — язвительно сказала бабка Аришка. — Хотя я и печку топлю, и не отговариваюсь, и не ленюсь.

Она стала аккуратно складывать рисунки в стопки.

— Что уж, рисуй. Дело твое верное. Садись и рисуй. Надобно ворота ада открывать, а не то они на нас лежат, всех придавило. Одолеем мы их, а они нас не одолеют. Садись за стол, а я пока блинов напеку.

Бабка Аришка пошлепала на кухню, а Витя, будто давно ждал ее команды, сел за стол и нетерпеливо разложил краски.

— Я бы пироги спекла, Витя, но руки стали крюки. Все валится, не могу справиться. Напеку блинов, это попроще. Где тут мука? Мука? Ты где? Вот ты куда спряталась... Молоко? Иди сюда...

Витя рисовал за столом, а бабка разговаривала с печкой, с дровами, с огнем, со сковородкой, с бутылкой масла и с каждым пышным блином по-доброму: кого журила, кого хвалила, кого подбадривала, но никого не ругала и не злилась, не сердилась. Вите было сладко рисовать Бога. В печи потрескивали поленья, пугая робкую тишину, будто то здесь, то там, то в одной, то в другой комнате лопались маленькие цветные воздушные шарики или вспыхивали внезапные звезды, тревожно шелестя лучами.

— Баб Ариш, — громко крикнул Витя, — а баб Ариш!

На кухне что-то прошуршало, скользнуло и бабахнулось об пол, покрутилось и, громыхая, покатило по полу.

— Напугал! Ох, тошно мое лихо! Все побила, раззява...

— Баб Ариш! А может, не ворота это, а дверь? Не в центре тогда рисовать надо, а справа. Как будто бы дверь открывается... А? Вот так... Глянь...

— Напугал! — с вызовом повторила бабка Аришка, шлепая по кухне и собирая раскатившееся.

— Дверь-то лучше. А? Откроет дверь, и никто не закроет. Но это не так торжественно. Лучше в центре. Лучше — ворота, да?

— Иду я, погоди! Размажешь сейчас все, краски уронишь, все испортишь, сиди, иду.

Полвека прожив одна, бабка Аришка как-то сразу привыкла к семье и уже стала строжить своих домочадцев.

— Никакого дела не даст. Чего тут у тебя?

И только бабка Аришка уселась на стул возле круглого стола, как в окно кухни постучали. Она вздрогнула, вскочила и, словно была молодая, побежала к двери.

На веранде уже гремели шаги. Бабка выскочила в сени, Витя следом за ней.

— А хозяева на улице. Здрасьте, здрастьте... На улице, говорю! Пойдемте к ним, ага, выходите на улицу, — напирала она сухеньким телом на трех растерявшихся женщин.

— В сарае хозяева, кур, может, кормят, пойдемте, пойдемте...

Женщины не стали спорить и вышли на улицу, а бабка Аришка тут же захлопнула входную дверь и закрылась на большой крючок.

— Откройте, бабушка, — попросили за дверью.

— Не открою. Зачем вы ходите по чужим домам?

— Мы комиссия из районного отдела образования, — сказала одна из женщин, — нам нужно составить акт жилищных условий ребенка.

— Составляли уже. Хорошие условия. Очень прекрасные! Так запишите: очень прекрасные, — сказала бабка Аришка, выглядывая в окошко веранды.

— Извините, но нам нужно осмотреть его комнату, мебель описать...

— Мебель? Какую мебель? Вы сами-то не из дворцов будете? Не знаете, какая

мебель в деревенском доме? Печка, лавка, стол, кровать, шкаф и телевизор. Так и пишете.

— Откройте дверь! — приказала начальница, женщина, которая была толще и старше двух других.

— Не открою.

— Мы вызовем милицию. Вы обязаны подчиняться представителям власти.

— Никому я не обязана, — сказала бабка Аришка, — у меня свое начальство. Вы, видать, не местные, не знаете, что я тут главная колдунья в округе?

— Чшш, — попытался урезонить бабку Витя, но ее уже было не остановить.

— Не знаете? А сейчас узнаете!

— Бабушка Ариша, — звонко закричала тоненькая девушка в беретке, — мы должны свою работу выполнить, нас уволят, если мы не составим акт.

— А! Узнала меня! Вот! Гляди мне! Уволят-то ладно, а вот если замуж не выйду и будешь до пенсии седыми лохмами на танцуйках трясти...

— Пойдемте отсюда, — прошептала девушка и пошла к машине.

— Стой! — приказала ей толстая старшая начальница. — Открывайте дверь! Сейчас звоню в милицию! Так! Вызываю...

Старшая вытаскала из кармана сотовый телефон и стала нажимать толстым крючком указательного пальца на кнопку.

— Вызывай! Я посмотрю, как вы отсюда поедете. Все канавы пересчитаете. Поедете-то в город, а окажетесь на селе, свернете на дорогу, попадете на тропину. Давай вызывай! Я не из пугливых! Витя! Иди глянь блины! Горят...

Бабка вошла в раж, будто вокруг дома стояло много зрителей.

— Ужо я вам! — грозила она сухим кулачком в окошко веранды. — Вдов да сирот обижать? Я вам всем покажу, распущенки! Ишь, моду какую взяли по чужим домам лазить, мебель описывать, детей забирать! Заколдую счас всех, сядете на ноги, поползете домой на пузах своих! Ужо я вам, мыши серые!

Комиссию как ветром сдуло со двора. Они бежали не по тропке, а прямо по рыхлым, подтаявшим сугробам, молча пыхтя и толкая друг друга локтями.

— Охохонюшки, — вздыхал Витя, макая пышный блин в сметану, — не стыдно ли тебе?

— Нет.

— А мне неловко. Теперь опять участковый приедет. Заберут скоро всю деревню в милицию, один я останусь.

— Ко мне участковый не приедет, — сказала бабка Аришка, — я никого не царапала, не била, а про колдовство в законе ничего не сказано.

— Ты и вправду можешь плохо делать людям? — спросил Витя.

— А чего ж... Могу. Если поверят в то, что могу.

— Ты злая. Не надо плохо делать людям.

— Витя, никто не может сделать человеку плохо, кроме него самого. Про себя человек все решает сам. А что не может решить, то должен спросить у отца или матери. Если нет отца и матери — спроси у Бога. Стесняешься у Бога — спроси у святого. А уж если своевольничать любишь, сделал себе плохо, то сам и расхлебывай.

— Все равно ты злая. Ты напугала тетенок.

— Не злая, а справедливая. Я прямая. На язык, конечно, худая, — согласилась бабка Аришка.

— Люди на работе, зачем их ругать?

— Я тоже на работе. Ешь давай, не разговаривай, а то поперхнешься.

Витя тут же поперхнулся блином, закашлялся, чихнул и, вытирая нос рукавом, недовольно пробурчал:

— Да уж, ну и язык у тебя...
— У тебя не лучше. Как скажешь что, так у меня вся сила пропадает. Сразу хочу на печке полежать.

* * *

Весь месяц они втроем держали оборону. Витя в школу не ходил — мать не пускала. Это было еще одним поводом для визитов разных комиссий. Когда к дому подъезжал очередной козелок, они втроем сидели тихо, будто бы никого дома не было. На двери веранды для отвода глаз был повешен большой черный замок, а сами заходили через хозяйственную дверь, ведущую во внутренний двор к сараям.

Участковый к бабке Аришке так и не приехал, видно, ему не сообщили о ее угрозах, и бабка Аришка почти перебралась жить к Инке с Витей. Ходила домой только протапливать печку, чтобы дом не выстыл и не отсырел, а в подвале не смерзла картошка.

Дело Инкино вот-вот должны были передать в суд. Борис Иванович переслал ей с мужиком из соседней деревни, отсидевшим за пьянку пятнадцать суток, записку, в которой корявым почерком было написано: «Инна, приготовься к тюрьме. Что делать — думай сама. Посадят точно». До суда органы опеки и попечительства должны были разрешить вопрос насчет Вити и забрать его в приют.

— Что тебе отец Василиск сказал? — допытывалась у Инки бабка Аришка.
— Сказал, что надобно повиноваться властям. Смиряться.
— В тюрьму идти?
— Вроде так.
— А Витю в детдом?
— Так вроде.
— А мог бы он вас обоих в монастырь какой определить на время? Раз уж все нехорошо получилось, не спросила ты?

— Спросила. Сказал, не надо наводить ссор. Если нас какой монастырь и примет по его хлопотам, то после все равно выдаст милиции, потому что милиция подаст в розыск.

— Ну-ну. Ясно... Нельзя преступников укрывать от властей. Тоже ведь тяжело им там, в монастырях. И вашим и нашим надо, купи-продай.

— Отец Василиск мне денег дал. Сказал, на первое время. А какое первое время, если оно последнее? Говорит: зачем ты меня спрашиваешь, как быть, если больше моего знаешь.

— Инна, я тебе вот тоже принесла. Скопила, а девать некуда. На похороны отложила, а эти вот лишние, возьми. И на море съездить хватит, и в Китае погулять, и на Луну слетать.

Инка задумалась. Посидела, молча уставившись в окно, за которым сгущались сумерки, потом вдруг резко поднялась со стула.

— Ну, я тогда пошла? Кой-чего надо взять... в лесу, я по делу.
— Иди. Что возьмешь в лесу в марте? Ничего хорошего, — вздохнула бабка. И принялась чистить картошку на ужин.

* * *

Вернулась Инка поздно, было уже темно. Деревня спала, только в ее доме тускло, как лампадка, светилось кухонное окно.

— Ну, вот и пришли, — прошептала она, скидывая нетяжелый картофельный

мешок с плеч. Она положила его в углу сеней, накрыла пустым деревянным ящиком и сверху закидала старыми фуфайками и куртками.

— Что ты тут делаешь, мама? Почему в дом не идешь? — спросил Витя, выглядывая из двери.

Инка вздрогнула:

— Кто? Я? Убираю. Иди сюда на минутку, Витя. Бабка Аришка не ушла?

— Нет.

— Видишь, много разных вещей у нас лишних накопилось, надо убрать. Ты тоже иди, разбери свои. Сложи на диван все необходимое, что нужно взять с собой, мы уезжаем завтра.

— Куда?

Инка неопределенно махнула рукой:

— Туда. Не говори никому, — и, подтолкнув его к двери, вошла в дом.

* * *

Бабка Аришка восседала во главе стола и сияла ярче, чем запывившийся самовар наверху буфета.

— Вот сегодня целый вечер, пока тебя не было, я и плакала, и плакала, и плакала, и плакала, а теперь веселюсь.

— Правильно, — кивнула Инка, моя руки.

— Вспоминала, сколько нас в деревне после войны жителей было. А почти сто человек! Стадо было — двадцать четыре коровы! Теперь ни одной. Все померли — и коровы, и люди... И мне пора.

— Рано тебе. Кто останется?

— А зачем оставаться?

— Ну как же, три семьи всего в деревне, остальные дачники. Ты погоди, пока десять-пятнадцать корни пустят.

— Откуда им взяться? — вздохнула бабка Аришка. — Кого в наш лес загонишь?

— Придут из города. Ты их и встретишь здесь.

Бабка Аришка призадумалась, пошмыгала носом, поводила бесцветными бровками и внезапно согласилась:

— Хорошо.

Витя принес из комнаты картину и, держа ее в руках, сказал:

— Все собрал. В рюкзак сложил.

Инка строго и недовольно посмотрела на сына.

— Дорисовал картинку-то? Дай-кось гляну. С собой заберешь или мне оставишь? — спросила бабка Аришка и протянула руку к картине.

— Мы не едем никуда, — сказала Инка.

— Понятно, понятно, — кивнула бабка. — Не едете — и хорошо. А едете — тоже неплохо.

— Я эту картину хочу в Москву послать, в Кремль, правительству, — сказал Витя.

— И тоже правильно, — одобрила бабка. — Я завтра поеду в город, зайду на почту и отправлю. Пусть знают. Дело важное.

Инка взяла картину в руки, поставила на стол, вгляделась и побледнела:

— Боже мой... Витя... Разве можно это?

Она виновато перекрестилась на картину, будто извиняясь за сына.

— Я открыл черный квадрат, — сказал Витя устало, — это было трудно.

Бабка Аришка вздохнула:

— Трудно... Еще бы!

Она по-хозяйски взяла с этажерки несколько газет, разложила их на столе и стала заворачивать картину. Упаковав ее как следует, села на стул, горько покачала головой:

— Да... Вот она — жисть... Короткая такая... Дом-то ваш — статный, знатный, что твой Кремль, добротный, из старых списанных шпал построен. А они пропитались мазутом так, что никакая гниль три века не возьмет. А то и четыре. Когда железно-дорожную ветку разбирали, вся деревня шпалами этими отстроилась. А потом, когда немцев-то гнали, наши войска деревню и спалили. В доме у Степанихи немец раненый лежал — доктор Алекс. Дядя Саша мы его звали. Когда наши пришли, он в подвал спрятался и отстреливался до последнего. Наши подумали, что во всех подвалах немцы сидят, вот и подожгли. Ай! Ну и горело! Ай-яй-яй! Что свечи, шпалы-то эти просмоленные... Ай! Да... Ну и горело!

Бабка рыдающе, рывками, тяжело выдохнула.

— Мы потом землянки в лесу рыли. А ваш дом остался, потому что выбрали его как самый большой для штаба. Штаб здесь был. А потом мы отстроили заново деревню. Уж не спрашивай как. Горе одно. Мы с сынком моим Коленькой несем бревно, а он плачет: «Мамушка, встань ты под комель, а я под маковку, не могу больше, он в глазах, помру, мамушка». Тринадцать годков, а комель на плече. Ростом вышел в батьку, выше меня. Если мне под комель встать, так и придавит бревно... Я ему говорю: «Терпи, сынок, ты мужчина, тебе не во вред, сильный будешь. А как я надорвусь да помру, так и вам всем не выжить». В землянке-то еще трое малых да мать лежачая...

Вот так нам немец дорого обошелся. Врачом он был, хороший, внимательный. Меня от тифа вылечил. Всех лечил — и своих, и чужих. Нам бы прийти да сказать нашим командирам, мол, лежит у Степанихи немец, помирает, пусть бы и разбирались с ним сами. А никто не пошел. Не смогли... Потом обгорелого похоронили за лесом. Ну, ты знаешь где. К чему это я? Не знаю к чему. Так чего-то вспомнила. Вылечил нас всех доктор Алекс, мое-то лечение для войны негоже... А дети звали его дядя Саша. Он им витамины давал. Всех жалко — и русских, и немцев. Ну да что уж теперь.

Бабка Аришка встала, взяла картину под мышку.

— Пойду. Авось увижу тебя еще, Витя. Картину эту, если на почте не примут в Кремль, то себе заберу и сохраню.

— Прощай, баб Ариш, — сказала Инка. Глаза ее были сухими, горячими и бесцветными, будто выгорел их цвет навсегда.

— Прощай и ты, Инна. Прости за все.

— И ты меня прости.

* * *

— Когда придут, ты из подвала через лаз вылезешь и мимо сараев, за баню — и бегом в лес. Там жди меня на развилке. Сапоги отцовские обуй, а свои в рюкзак положи.

— Это чтобы оставить большие следы?

— На всякий случай. Еще придется тебе надеть девичью одежду. Вот юбка, курточка, шапка с шишкой... К станции пойдем по темноте, но мало ли кто увидит.

— Потом в поезде я это все выкину, — сердито сказал Витя.

— Конечно, — успокоила его Инка.

Всю ночь они не спали. Прижавшись друг к другу, одетые, готовые, молчали, будто под окнами кто-то прятался и хотел их послушать.

- Поди, Пете-то нашему страшнее было, — прошептал Витя.
- Поди, страшней, — согласилась мать.
- Тогда что нам бояться? Не будем и мы бояться, мам.
- Не будем.

Тусклый мартовский рассвет, нерешительный, робкий, будто слепой и немой, осторожно заглянул в окна.

Звук приближающейся машины, как рев немецких самолетов, заунывный, далекий, неизбежный, как смерть, Инка услышала еще во сне. Она резко открыла глаза, и показалось ей вдруг, что вокруг дома стоят немецкие солдаты с автоматами и овчарками.

Она встала, позвала Витю, выглянула в окно. Милицейская машина приближалась к дому.

Инка открыла подвал:

- Сынок, полезай.

Она подала Вите рюкзак, сапоги, свою сумку, окинула взглядом стены дома.

- Когда крикну, беги сразу, не задерживайся, понял?

В окно грубо постучали, послышался лай нескольких собак.

Инка пошла в коридор, принесла картофельный мешок, высыпала на кровать из мешка крупные и мелкие человеческие кости, накрыла их сверху несколькими ватными одеялами.

— Прости меня, доктор Алекс. Сослужи службу глупой русской бабе. Помоги и нам, дядя Саша.

Она обильно полила одеяла бензином из канистры, затем плеснула по стенам, по окнам, разлила бензин по полу в комнатах, в кухне, в коридоре и сбросила в подвал мужское зимнее пальто.

В окно и дверь барабанили.

Инка подбежала к окну на кухне:

- Подождите, Борис Иванович! Я одеваюсь!

Она побежала в спальню к шкафу, скинула с себя облитый бензином халат, надела серый костюм сына Пети, купленный ему на выпускной вечер, и снова выглянула в окно.

- Иду, иду!

Человек пять стояли вдоль веранды, как по команде повернув головы к окну. Никаких овчарок ни рядом с ними, ни возле машины не было.

Инка задернула шторку, подошла к лазу в подвал:

- Ты там?

— Да.

- Беги, сынок, как договорились, я следом.

С улицы кричал Борис Иванович:

— Открывай, Инна, не дури! Не сопротивляйся властям! Иначе придется ломать дверь! Инна!

- Сейчас, сейчас!

Инка вошла в зал, зажгла спичку и бросила ее на пол. Пламя побежало, как круги по воде — сразу во все стороны, схватив жадным, горячим ртом прошлое еще живого, но уже смертельно замеревшего дома.

- Кончилась твоя родина, Инка, — прошептала Инка и спрыгнула в подвал.

* * *

Поезд был проходящий, стоял только две минуты. Инка посадила Витю в вагон.

— Это гомельской или одесский? Или великолукский? Это куда он идет, мам, на север или на юг? Ух ты, здорово: поезд! — радовался Витя.

— Тихо, тихо...

Инка натянула пониже на глаза мужскую кепку.

— Мам, глянь, спят все в вагоне, — шептал Витя. — Вот как им хорошо-то — тепленько, дружно. Хо-ро-шо тут, да, мам?

— Тише...

— Куда они все едут, мам? А мы куда едем? Где теперь наша родина?

— Я — твоя родина. А ты — моя. И они вот, — Инка кивнула на спящих людей, — тоже наша родина.

— А Борис Иванович? Он будет думать, что нас больше нет? Что мы сгорели вместе с домом?

— Да.

— Но мы же есть...

— Нас нет, Витя. Но мы — будем.

Олег ЮРКОВ

* * *

Подходит время, я не подхожу,
О времени неправильно сужу,
А ведь оно всю жизнь за мною гонится,
Переступая горькую межу.

Но я сужу о нем не с кондачка.
Я не имею за душой клочка,
Чтоб записать его благодеянья
Хотя бы с тыльной стороны значка.

Чем мне прославить пущенное вскачь
То время, по которому заплачь?
Которое в квартиру не вмещается,
Тесня шкафы и утварь с ближних дач.

Куда упрятать эту дребедень?
От времени осталась только тень,
Едва ли растворимая в пространстве,
В огнях едва заметных деревень.

Я выпал из обоймы временной.
Лишь безвременье горькое со мной,
Затертое, как корешок зарплаты,
Полученной вчера, увы, не мной.

Я безработный кладовщик сердец,
Однако же потомок и отец.
Со мной договориться очень просто.
Не враг я, не хулигатель и не льстец,

Олег Владимирович Юрков (Ладария) родился в 1935 году в г. Сухуми. По окончании школы поступил в Ленинградский политехнический институт, который окончил в 1959 году по специальности «инженер-металлург». Работал в проектных и научных организациях. Параллельно окончил факультет повышения квалификации Московского полиграфического института (Ленинградский филиал) по специальности «редактор». Занимался в литературных объединениях Ленинграда, при Дворце культуры им. Первой пятилетки, в мастерской «Вторая книга» при Союзе писателей. Первая книга вышла в 1979 году в издательстве «Советский писатель». Автор пятнадцати стихотворных книг, многих эссе и рецензий, критических заметок. Участник конференций писателей и литературных поездок.

Мне странно то, что я еще живу,
Бульдожьими ногами мну траву
И горькими попытками пытаюсь
Улучшить завершённую главу.

* * *

С улыбкой живи и со страстью,
Не делай ненужных прыжков.
Шторм в море играет со снастью,
Сметает ряды лежаков.

Пляж полон вчерашних предметов.
Он вовсе покинут людьми.
Ты, эту пустынность отведав,
Подругу сильней обними.

Быть может, подводные боги
Ее на свиданье зовут.
На дне подбивая итоги,
К намеченной цели плывут.

А ты им мешаешь, мешаешь.
О чем-то надмирном поешь,
И сблизиться не разрешаешь,
И женщину не отдаешь.

* * *

Некстати смерть, и дождь весьма некстати..
Среди живых так явен жизни жар.
Вот скоростной состав на эстакаде.
Вот радостью охваченный клошар.

Ему сотнягу в шапку положили.
Ее он необдуманно пропьет.
А тот, кому условный год пришили,
Гимн «Славься!» перед публикой сплет.

Быть с большинством — задача не из легких,
Куда ни сунься — всюду ждет некстать.
Вот стадион зовет мальчишек ловких.
Утраченное должно наверстать.

Отступят все не вовремя, некстати.
Останется лишь радио в руке.
А в нем — сладкоречивый голос Гати,
Погоду выводящий из пике.

ХОЛОДНЫЙ ПОТ

У Феба числясь на примете,
Я благ земных не заимел.
Лишь за строку свою в ответе
Был с нею зорок я и смел.

Пусть дом в сирени утопает.
Мне, кроме сада, нет забот.
Пока на лбу не проступает
Холодный пот, печальный пот.

Не жду я этого момента,
Взор устремив за облака.
Пот — знак потери документа,
Кончины друга, земляка.

Пот — просто страх необоримый.
С ним, сам не зная почему,
Я берегу свои седины,
Беду встречая по уму.

Мне слезы радости не чужды.
И все же средь земель и вод
Меня преследует без нужды
Пот совести, холодный пот.

Тот пот тревоги безутешной.
И я прошу — не хлеба дай.
Не покидай мой лоб поспешно.
И медленно не покидай!

* * *

Хорошо ли, плохо ли — не знаю.
Я устал сражаться за металл.
Я тебя на станции «Лесная»,
Выйдя из вагона, увидал.

В шоколадной, праздничной шаплетке,
Пряча пальцы в пышное боа,
Героиня первой пятилетки,
Не в своем была ты ампула.

Электроды сварочные с маской
Были для тебя бы в самый раз.
Чудо с пролетарскою закваской,
Кто тебе воздвиг иконостас?

Ты не та, какой была в начале
Наших отношений, сложных встреч.

Нежное лицо твое в печали,
Легкая сутулость тонких плеч.

Мы тебе в любом обличье рады.
Засмотрелся на тебя кацо.
Только все ж перемени наряды,
Зря не продавай свое лицо.

В руки ноутбук и в стремя ногу.
Собери налоговую дань.
При беде не апеллируй к Богу,
Просто осмотрительнее стань.

* * *

Стаю клавиш с ладони давно не кормлю.
Сдуты ветром и зерна, и крошки.
Ствол глицинии прочно засох на корню,
Заросли под балконом дорожки.

Здесь когда-то я жил, на рояле играл
Популярные вальсы Шопена.
Непредвиденный рок мою юность украл
И с добычей исчез постепенно.

Черноморская соль до сих пор на губах.
Над волной та же звездочка брезжит.
Треснул старый балкон на подгнивших столбах.
Его скоро ничто не удержит.

Задаю я вопрос, жду, как прежде, ответ
От могучей свободной стихии:
Неужели и впрямь исцеления нет
От царящей вокруг энтропии?

Гузель ЯХИНА

МОТЫЛЕК

Рассказ

Огромная рука протянулась с неба и ухватила Мотылька за волосы. Волны, уже сомкнувшиеся над головой, расступились, в глазах опять полыхнул огненный шар закатного солнца. Мотылек все еще судорожно ловил ртом воздух вперемешку с пресной речной водой, а неведомая сила уже тащила его — не в облачную высь, как показалось в первый миг, а на палубу небольшого рыбацкого катерка.

— Ты откуда взялся посреди Волги, пловец? — спасителем оказался высокий рыбак с белой щетиной на коричневом от загара лице. Он стянул через голову мокрую насквозь тельняшку и отжал в реку. Руки у него были действительно большие и сильные.

Рыбаки молча изучали выловленного из реки мальчишку сквозь щелочки прищуренных глаз. Один стоял на носу у штурвала, второй сидел на корме, возле приглушенного несколько секунд назад мотора, от которого шел синеватый дымок. Видимо, это весь экипаж судна. Если на катере и был кто-то еще, то лишь в небольшом трюме.

Мотылек с трудом подтянул к животу окоченевшие ноги и сел, прислонившись к борту. Вода стекала с волос и синих хлопчатобумажных шаровар, облепивших бедра. Не двигая головой, он затравленно переводил синие глаза с одного рыбака на другого.

— Куда тебя девать-то? — рыбак с большими руками присел на корточки около Мотылька. — Мамка твоя где?.. В школу уже ходишь?..

Мотыльку никто не давал на вид больше семи лет, хотя ему в прошлом году исполнилось десять. Он молчал. Уже давно решил притворяться немым в подобных случаях.

— Ладно, молчун, обсыхай пока, — отчаявшись дожидаться ответа, рыбак кинул мальчишке чью-то штормовку из мягкого брезента. Тот мгновенно завернулся в нее, съезжился. Стало теплее, челюсти перестало сводить судорогой.

Взревел мотор. Рулевой плавно повернул штурвал, и катер понесся по волнам.

Мотылек крепко, до боли зажмурил глаза. Куда они мчатся — в спасительную голубую даль, вниз по Волге? Или в кровавый огонь заката, вверх по течению, обратно в старую жизнь?.. Усилием воли заставил себя разлепить веки и выглянуть за борт: катер летел, разбрызгивая снежно-белую пену, навстречу заходящему солнцу. Холод обжег изнутри, зубы и кости заныли. Мотылек понял: и эта попытка не удалась. В голове еще трепались лоскуты слабой надежды: может, они причалят раньше, не доходя до Острова? Или, наоборот, пройдут мимо? Но схваченное холодом сердце уже знало ответ: побег не удался, катер идет на Остров.

Остров никого не отпускал от себя. Ступив однажды на его каменистую землю, человек оказывался в полной власти этого мрачного даже на первый взгляд

Гузель Шамилевна Яхина родилась в Казани. По профессии PR-менеджер. Живет в Москве. Публикуемый рассказ — литературный дебют автора.

места. Кто-то понимал это раньше, кто-то — позже, кто-то — так и не понимал никогда. Но все они кончали свою жизнь здесь, на пышных холмах, среди могучих серебристых ив и куполов, увенчанных черными крестами, ровно посередине слияния двух великанов — Волги и Свияги. Вода здесь была так широка, что берега виднелись только в очень ясный день, и так глубока, что легко становилась иссиня-черной при сумрачном небе. Окруженный бескрайними водными просторами, сверху прихлопнутый огромным небесным куполом, Остров мог сойти за единственный клочок суши в мировом океане, за единственное на планете пристанище для тех, кто не умел летать и плавать. Мотылек не верил в сказки, но таинственная власть Острова над своими обитателями была доказана многократно: все, кто пытался покинуть эту землю, возвращались — раньше или позже, сами или по принуждению, живыми или мертвыми.

Скоро на горизонте показался сам Остров — сперва крошечный, с наперсток. Мотылек обреченно наблюдал, как он становится все больше, как прорисовываются сначала крутые холмы, потом многочисленные храмы на холмах, потом кресты на храмах. На острове было пять храмов — и все из красного кирпича. Сейчас, освещенные пламенем заката, они были налиты тяжелым, кровавым цветом: тки — и брызнет.

Когда-то Остров населяла большая монастырская община, и храмы были местом паломничества. На заре советской эпохи монахов выслали: кого — на Север, кого — сразу на небо; а в монастыре устроили лечебницу для душевнобольных. Времена были тяжелые, душа болела тогда у многих — клиника заняла все пять храмов и стала одной из самых больших в Поволжье, принимая в лучшие времена до трехсот пациентов. В часовне помещался больничный архив. Персонал с семьями поселили сначала в наскоро сколоченных бараках, а потом люди постепенно отстроили себе добротные дома, обзавелись скотиной, разбили огороды — благо места на пышных холмах Острова было достаточно. Сейчас, в начале восьмидесятых, здесь насчитывалось уже немало династий: в лечебнице работали второе и третье поколения.

Дед с Мотыльком приехали на Остров недавно — семь или восемь лет назад. Прежней жизни Мотылек не помнил совсем, как и своих родителей. Над его кроватью дед повесил маленькую стершуюся фотографию (любил повторять: «Помни дочь мою, мать твою!»): большеглазая старшеклассница в белом школьном фартуке и с бантами-веревочками — вот и все, что он знал о своем прошлом.

А настоящее не радовало. Дед работал в психушке, пару лет назад дослужился до старшего санитаря. Пил много, постоянно — реже до бесчувствия, чаще до безумной, горячечной злости. Потихоньку сходил с ума. Бил Мотылька нещадно: в трезвости — объясняя причину в перерывах между побоями, по пьяни — без лишних слов, просто так. Легкие щелбаны и тычки именовал «стопариками», пинки и удары посильнее — «стакашками», а полосование ремнем уважительно величал «поллитрой».

«Сегодня будет *поллитра*, не меньше», — обреченно размышлял Мотылек, наблюдая приготовления рыбаков к причаливанию. На Остров не глядел и так чувствовал его приближение — холодные змейки бежали по звеньям позвоночника, кольцами сворачивались в животе, тяжело клубились там; кровь стала холодной, как вода за бортом.

Рулевой направил катер прямо к ветхому домику на причале, который на десяток метров выдавался с крутого берега в реку. Двое рыбаков копошились у люка трюма.

Шум мотора резко стих. Под частый плеск волн и крики чаек катер, покачиваясь, ткнулся в старые автомобильные шины и пришвартовался.

— Заждались уже ваш груз, — раздался высокий, надтреснутый голос.

Это был голос деда. Он вместе с двумя санитарями вышел из тени домика и, уперев руки в бока, ждал катер. Лицо его даже в мягком закатном свете оставалось жестким: солнце резко обозначило извилистые борозды морщин, крутые выступы надбровных дуг, подушки набрякших век над бойницами глаз, узкую щель рта. Только седой бобрик проволочных волос золотился нежно и трогательно.

Мотылек помертвел. Он сполз по борту вниз, на палубу, и скрючился под штормовкой, опустив на лицо капюшон.

— Это не наш груз — это ваш груз, — рыбак с большими руками легко спрыгнул на серые доски причала и протянул деду плотно набитый чем-то портфель. — Тут бумаги.

— А это... — рыбак завел руку назад и достал со спины из-под ремня серую папку для документов, — накладная. Распишитесь.

— Получу — распишусь, — буркнул дед. — Где они?

Рыбак махнул рукой товарищам на катере. Один из них, ожидавший у трюма, осторожно приоткрыл люк и спустился вниз.

Через пару секунд из трюма показалась безволосая голова со свежими бритвенными порезами по всему затылку. Голова часто и мелко кивала. Мотылек, наблюдавший за происходящим из блиндажа спасительной штормовки, по одному этому покачиванию понял: *белый*. *Белыми* на Острове называли обитателей психушки. Когда-то, очень давно, пациентам выдавали белые пижамы. Потом их заменили на серые, позже — и вовсе на полосатые. А прозвище так и осталось — прижилось.

Белый не спеша поднимался из трюма. Больничная пижама невнятного цвета, огромная бесформенная обувь без шнурков. Оказалось, что в постоянном движении у него не только голова — его плечи, руки, позвоночник мелко и не в такт подрагивали, делая их хозяина похожим на большую марионетку, ведомую пьяным кукольником. Когда пассажир вышел на палубу, стала ясна причина его медлительности: руки крепко связаны за спиной витым каналом на несколько хитрых узлов. От запястий канат шел к ногам и кольцами охватывал лодыжки, оставляя небольшое пространство для шага. Конец был в руках у рыбака, который поднимался вслед за пленником, направляя его легкими тычками в спину. *Белого* переправили на причал, и один из санитаров увел его в глубь Острова.

Вторым из трюма показался низенький толстяк. Его бритый череп был чересчур мал для оплывшего бесформенного тела, а руки и ноги — слишком коротки. Мотылек заметил серебристую нитку слюны, падающую на мятый отворот пижамы, и кроткий, обращенный внутрь себя взгляд бесцветных глаз. *Белый* просеменил по палубе на причал и был передан второму санитару.

— Все сходится, — подытожил дед, глядя в документы. — Два тела. Одно мужского пола, второе женского. Принял.

И расписался в накладной.

«Какое же из них было женского пола? — изумился Мотылек. — Неужели толстяк?..»

— Это еще не все, — рыбак с большими руками спрятал папку с накладной обратно за спину. — Есть третье тело. Идет под грифом «Ч». Документов, естественно, нет.

— М-м-м... — дед матерно сплюнул. — Опять неучтенка... Ну, давайте его сюда, недобитка.

Из трюма вывели третьего. Он был высок и худ, движения изможденные, но голову держал прямо. Оказавшись на палубе, внимательно огляделся и вдохнул всей грудью. Мотылек понял: «Не настоящий *белый*».

За долгие годы жизни бок о бок с немного, сильно и полностью сумасшедшими у многих островитян развилось умение определять душевную болезнь с первого взгляда. Вроде, бывало, и совсем нормальный человек, и рассуждает, и ведет себя, как самый обычный гражданин, — а Мотылек с первого взгляда чуял в нем червоточину, скрытую незалеченную сердечную рану, едва уловимый запах гниения души. И знал: либо уже случаются с этим человеком моменты потери обычного уравновешенного состояния — предвестники надвигающейся душевной болезни, либо еще придут. И дорога ему одна — в один из красных храмов на Острове. Никогда не ошибался... А уж если в глаза кому заглянуть — так это вовсе зеркало, в котором вся душа отражается, как она есть, со всеми ее изъянами и тенями. Вот и дед (Мотылек это ясно видел, особенно по блеску выцветших бледно-голубых глаз) одной ногой уже в психушке, даром что санитар. Только когда старый алкаш, белая его душа, встретит свою суженую, тоже белую, родом из бутылочки, и с ней под ручку в свою же лечебницу пойдет, как под венец, — никому не ведомо...

А этот, худоба под грифом «Ч», не был белым. Совсем. И пижамы больничной на нем не было. Незаправленная и незастегнутая рубашка белым парусом стояла на ветру (приглядевшись, Мотылек увидел, что пуговиц на ней не осталось), сквозь порванные в нескольких местах брюки светились бледные ноги. Чем-то он неуловимо напоминал Роман Романыча.

Тыкать в спину его не пришлось, он сам направился к причалу твердыми, несмотря на связанные руки и ноги, шагами. Ведший его рыбак передал канат деду и с видимым облегчением вернулся к своему месту на корме, у мотора.

— Что велено передать на словах? — хмуро спросил дед, плотно наматывая канат на правый кулак.

— Вам позвонят, — рыбак с большими руками, не прощаясь, шагнул в катер и махнул на корму. — Заводи!

«Неужели пронесло?! — надежда ослепительной вспышкой мелькнула в голове Мотылька. — Неужели про меня забыли?..»

— Эй, стойте! — рыбак шагнул к неподвижно лежащей на палубе брезентовой куче, сгреб ее в охапку и поднял в воздух. — Это не ваш пацаненок, случаем?

Мотылек, крепко схваченный под мышки недавно спасшими его большими руками и плотно завернутый в кокон штормовки, тряпичной куклой повис над палубой.

Дед, уже собравшийся вести пациента в глубь Острова, обернулся и сощурил свои и без того узкие глаза.

— Случаем, наш, — проговорил он очень спокойно. — Это внук мой, Митя. Мотылек по-семейному. Давайте-ка его сюда.

Рыбак протянул мальчика деду на вытянутых руках, не сходя с палубы.

— Дяденька, не отдавай, — прохрипел Мотылек сжавшимся горлом и рванул мышцы, пытаясь выскользнуть. Но штормовка помешала.

Знакомая с детства железная рука схватила его за талию и намертво прижала к твердому боку: дед защемил внука в капкане подмышки — ногами вперед, головой назад. Мотылек ткнулся лицом в жесткую задницу деда, но укусить не решился. Слезы уксусом обожгли глаза.

— Да ты, оказывается, говорить умеешь... — озадаченно приподнял выгоревшие брови рыбак.

В этот миг мотор закричал дурным голосом, и катер рванул обратно в Волгу, оставляя за собой широкий ковер белой пены.

Рыбак, пройдя к корме, все продолжал смотреть на удаляющуюся землю, где по узкой тропинке шагали вверх по холму высокий незнакомец под грифом «Ч» в от-

чаянно бьющейся на ветру рубахе и ведущий его на поводке мрачный дед, у которого под мышкой трепыхалось маленькое живое существо в зеленой штормовке.

* * *

Задница деда пахла гнилым луком. Мотылек отворачивал голову, затаивал дыхание, но смрадный запах неумолимо лез в ноздри. Дед так и не спустил его на землю, нес под мышкой — боялся, что пацан утечет. Хотя куда уже теперь утекать, с Острова? Кругом вода.

Белые иногда сбегали из храмов и бродили по Острову — к этому относились спокойно, не торопясь и с душой ловили: охота на беглецов стала одним из любимых развлечений санитаров. Все знали, что уплыть с Острова невозможно: до берега — многие километры, течения сильные и холодные. Иметь свою лодку местным запрещалось. Движение судов с Острова и на Остров строго контролировалось.

Мотылек бежал отсюда шесть раз. Первый раз в семь лет: пробрался тайком на палубу катера, еженедельно завозившего продукты на Остров, и спрятался меж ящиков. Думал — не заметят. Заметили, развернулись посреди Волги и привезли обратно. Второй раз он был хитрее — проникнув все на тот же продуктовый катер, забрался внутрь единственного открытого ящика и залез на самое дно, под какое-то ветхое тряпье. Когда перед отплытием вернувшиеся с берега рабочие стали класть в ящик один за другим мешки с чем-то тяжелым, Мотылек сначала крепился и терпел, а когда тяжесть стала невыносимой — глухо заорал, сильно испугав рабочих. После этого случая дед стал запирает его дома во время прихода продуктового катера.

Третий раз Мотылек бежал уже следующим летом, в свой день рождения, — ему исполнилось восемь. Сколоченный из украденных досок плот пару недель ждал своего часа в тайном убежище в ивовой роще. Тихая, безветренная погода стала для Мотылька лучшим подарком в этот день. Украдкой он снес плот к воде, лег на него животом и, отчаянно работая ногами, устремил вниз по течению, надеясь доплыть до берега или встретить какое-нибудь судно. Через полчаса путешествия его, окоченевшего, с чернильно-синими губами, выловил из воды архивариус психиатрической лечебницы, возвращавшийся на Остров на своем катере из Казани.

Четвертый и пятый разы вспоминать было тяжелее всего. Прошлым летом Мотылек попытался угнать с охраняемого причала один из штатных катеров психушки. Дед со вторым санитаром догнали его на втором катере посередине Волги и взяли на бордаж. Вращая побелевшими от ярости глазами, дед прорычал: «Хотел уплыть — так плыви!» — и скинул Мотылька за шкуру в реку. Оба катера ушли на Остров, оставив Мотылька одного среди свинцовых волн. Плыл до берега почти час, думал: не выдержит — утонет. Выдержал.

Через пару месяцев, ошалеv от неудержимого желания сбежать, попробовал уйти вплавь. Выплыв на середину Волги и полностью обессилев, понял, что до берега не доплыть и есть только два пути — или обратно, или на дно. Развернулся. Сколько плыл до Острова — не помнил, как выбрался на сушу — тоже. Его нашли вечером лежащим без сознания на мокром прибрежном песке, отнесли домой. К деду.

Самое обидное было, что оба последних раза он *сам* плыл на Остров. До изнеможения колотил по воде руками и ногами, выглядывая спасительный берег, всей душой стремился туда, откуда совсем недавно до смерти хотел сбежать. Получается, не до смерти хотел. И не сбежал.

Как не сбежал и в этот, шестой раз. Спасательный жилет, выкраденный со штатного катера психушки, нес его по студеной майской воде пару часов, но потом выскользнул из одеревеневших рук и уплыл, оставив мальчика тонуть посередине Волги...

— Не вздумай рыпнуться, — это дед предупреждал *белого*, заводя его в дом и свободной рукой наматывая канат с пленным вокруг холодной батареи.

Наконец канат был прочно завязан. Дед с усилием задвинул огромный скрипящий засов на двери и только потом разжал подмышку — Мотылек больно грохнулся на крашеный дощатый пол.

— Сволоочь, — лениво сказал дед внуку.

Мотылек понял, что сейчас дед будет распалать себя, и попятился.

— Мразь недоношенная, — чуть громче проговорил тот.

«Куда же деться?» — стучал в висках страх. Входная дверь заперта. Можно, конечно, выбить окно и сбежать, но за этим последует еще более страшная кара (а в том, что дед все равно его поймает, Мотылек не сомневался)... Через пару мгновений старик дойдет до нужной кондиции и начнет расправу — тогда вырваться будет бесполезно... Кухня была маленькая: громоздкий дубовый стол, старая плитка о двух конфорках, газовый баллон и ржавые гармошки батареи. Спрятаться негде. Мотылек вскинул глаза на *белого* и поймал его внимательный сочувственный взгляд. *Белый* чуть повел бровями, словно подавая мальчику какой-то тайный знак.

— Ах ты, параша! — дрожащими руками дед рванул из брюк ремень.

Мотылек ящерицей юркнул по полу в ноги к *белому*. Дед хлестанул ремнем вслед, попал по батарее, та жалобно загудела и посыпалась остатками белой краски. Старик нагнулся, пытаясь вытащить внука из-под защиты чужих длинных ног. Мотылек намертво вцепился в спасательные брюки, дед рванул его к себе, раздался треск разрываемой материи. Он вывернул голову назад и, ощерившись, клацнул зубами, пытаясь вцепиться в дедовы пальцы.

Вдруг *белый* сделал странное резкое движение туловищем — словно низко поклонился, и державшие Мотылька железные тиски разжались. Дед грузно оседал на пол, тараша ничего не понимающие глаза, над бровью вздувалась на глазах огромная лиловая шишка. На лбу у *белого* тоже заалела распухающая ссадина.

«Ударил деда головой», — догадался Мотылек. Перекатился кубарем мимо деда, дернул на себя крышку подпола и нырнул в открывшуюся черную щель. Кувырком скатился по склизким ступенькам. На земляной пол приземлился кошкой — на четыре точки. Сквозь сырую темноту на ощупь метнулся в один из пахнущих сыростью углов, припал к земле, выдохнул воздух из легких и замер, не дыша.

Сейчас дед не полезет в подпол: нужно зажигать керосинку, надевать специальные нескользкие валенки, шарить по углам в поисках уворачивающегося внука... Сейчас на это не было времени. Вот ночью будет. Но пока Мотылек гнал от себя мысли о том, что будет ночью.

— У-у-у-у-у-у!.. — раздалось наверху негромкое рычание.

Доски над головой закрипели и заныли. Это дед, медленно поднимаясь, топал и перебирал ногами.

— У-у-у-у-у-убью, — сказал он очень тихо и невнятно, но Мотылек уловил.

— Убью, — повторил через секунду с натугой, словно поднимая что-то очень тяжелое.

Раздался грохот и сильный треск. На голову посыпалась густая пыль, все доносящиеся сверху звуки стали глуше. Скудный свет, проникавший сквозь тонкие щели, пропал — и Мотылек понял: дед придавил крышку подпола чем-то большим. Ага, перевернутым вверх ногами обеденным столом.

Глухо звякнула батарея, когда от нее отвязывали канат с пленным.

— Вот поставим тебя на учет — и убью. Сам убью, никого не допущу... — еле уловил Мотылек последние слова деда. *Белый* молчал.

Заскрипели половицы под грузными, широкими шагами деда и мелкими шагами пленного. Ржаво застонал отодвигаемый засов. Потом тяжело хлопнула входная дверь, и все звуки стихли.

Мотылек остался один. Только сейчас он вспомнил, что нужно дышать, и, с громким всхлипом распахнув губы, стал жадно глотать воздух. Отдышался.

Тьма вокруг была черна, как сажа. Погрузив в нее руки, мальчик пополз вперед. Добрался до ступенек, заполз по ним вверх, скользя по влажному камню. Уперев затылок и плечи в крышку, попробовал приподнять ее — но не смог даже сдвинуть. Дубовый стол лежал сверху недвижимо, как гробовая плита. Другого выхода отсюда не было: подпол был вырыт в земле и обложен изнутри большими цельными камнями. Мотылек запахнул потуже штормовку, сел на ладони, чтобы не замерзнуть окончательно на холодных ступеньках, уткнул лоб в острые коленки и задумался.

Сегодня дед вложит в расправу всю свою душу. Попытка побега, неожиданный отпор со стороны *белого* — за все это придется заплатить сполна. Тут и *поллитры* будет маловато. Хотя побои — дело недолгое, их можно перетерпеть, а синяки и ссадины пройдут, затянутся, зарубцуются в конце концов, как два больших шрама на спине и один, совсем крошечный, на виске. Самое страшное — это длинные наказания.

Если дед опять привяжет его к кровати на весь день, Мотылек выдержит. Он будет время от времени скашивать глаза на изголовье, где висит помятая фотография мамы, и думать о ней — так время пробежит быстрее. За день он пару раз описается, от жажды высохнет и станет шершавым язык, плечи и ноги распухнут в тех местах, где их пережмет веревкой. Но это мелочи, их можно исправить — когда дед отвяжет его, Мотылек сначала выпьет целый чайник воды, и язык вновь начнет слушаться. Потом выстирает в Волге белье и матрас, чтобы не воняли мочой. Плечи и ноги пройдут сами через пару дней. Как будто ничего и не было. Так Мотылек победит деда. Тот не будет об этом знать, но Мотылек будет.

А вот если дед подвесит его за руки к притолоке, как в два последних раза, победить не удастся. Распухшие запястья и ноющие мышцы не пугали, это пройдет. Пугали мухи. Они прилетят на запах его страха. Первые несколько часов он будет сгонять их с себя, дергая мышцами — сначала быстро, потом все медленнее, под конец еле-еле. Потом наступит момент, когда он будет не в силах прогнать их — и эти твари дождутся своего часа. Они будут садиться на лицо, шею, вздувшиеся вены на кистях рук, заползать под рубаху, шарить по животу, бедрам... Он будет чувствовать каждую из сотен маленьких лапок на своей коже. Будет чувствовать, но сделать ничего не сможет... А когда вечером дед, придя с работы, развяжет его и Мотылек мертвой тушкой рухнет на пол, мухи улетят, — чтобы ночью вернуться к нему в снах. Во сне будет страшнее, сон повторится много раз — уже нельзя будет сказать себе, что ничего не было. Нет, еще одного подвеса он не выдержит. Мотылек встал с заледеневших ладоней и растер их друг о друга. Лучше умереть. Или убить деда.

Эта мысль еще ни разу не приходила ему в голову. Он прислушался к ней. Мысль была проста и делала простым все остальное. Отменяла тычки, побои, полосование ремнем, привязывание к кровати, подвешивание к притолоке. Отменяла багровые синяки, пульсирующие болью шишки. Резкую боль, ноющую боль, глухую боль. Она отменяла страх. Мотылек стал думать, как это сделать. Оружия у

него нет. Ударить чем-то тяжелым по голове вряд ли получится: все-таки дед очень высокий. Можно попробовать свалить деда с ног и тогда ударить по голове — что есть силы, со всего размаха... Мотылек представил, как обычно дед спускается в подпол: до конца распахивает тяжелую крышку, вешает керосиновую лампу на специальный крючок, вбитый снизу в доски пола, и начинает осторожно, по одной, ставить ноги в валенках на каменные ступени; керосинка освещает весь небольшой колодец подпола — высокий картофельный ящик без крышки в одном углу, банки с припасами в другом... Мотылек так ясно представил себе эту картину, что темнота отступила, — он увидел пространство вокруг себя, словно наполненное желтым светом лампы. Разлить на ступеньках огуречный рассол, чтобы дед поскользнулся? Он увидит мокрые ступеньки и не станет по ним спускаться... Кубарем броситься к нему в ноги и силой попробовать свалить с лестницы? Скорее всего, дед окажется сильнее... А может, заставить его самого опустить голову вниз? Он увидит что-то на земле. Что-то такое, что ему очень сильно захочется разглядеть поближе, и нагнется низко-низко... В этот момент нужно ударить по этой ненавистой голове — что есть силы, со всего размаха...

Мотылек снял штормовку, шаровары, оставшись голышом, и разложил на земляном полу. Один рукав штормовки тянулся вверх, касаясь ящика с картофелем, второй смотрел вниз; капюшон слегка наклонился вбок; штанины шаровар раскинулись в разные стороны. Тряпичный человечек будто спускался по ступеням и упал на пол.

Сам Мотылек засядет в картофельном ящике. Он все точно рассчитал. Дед, удивленный необычной картиной, спустится по ступеням вниз. Возможно, даже снимет керосинку с крючка и возьмет с собой, чтобы получше все разглядеть. Присядет на корточки около тряпичного человечка, начнет ощупывать его. И вот тогда Мотылек выскочит из ящика и обрушит на склоненную голову полуторалитровую банку с солеными огурцами. Банка хорошая: тяжелая, из толстого стекла. Не должна подвести.

Чтобы уместиться в ящике, Мотылек выбросил оттуда часть картошки и рассовал по щелям, по темным углам, за банки с припасами. Потом устроился поудобнее на холодных клубнях, обнял свое полуторалитровое оружие и стал ждать прихода деда.

* * *

Его разбудил солнечный луч, ползущий по носу. Луч бил из щели между половыми досками. Где-то кричали чайки. Наверху уже наступил день. Мотылек выбрался из ящика, с трудом переставляя затекшие ноги. Взобрался по ступеням, толкнул крышку — та легко поддалась. Высунув голову, осмотрел кухню — деда не было. Засов на входной двери был открыт. Обеденный стол немного перекосялся, его некогда крепкие ноги разъехались в разные стороны.

Выбрался из подпола. Чайник на плите был теплым. На столе стояла грязная кружка, лежали хлебные крошки. Видимо, дед позавтракал и ушел на работу. Часы на стене показывали половину девятого.

Мальчик спустился в подпол, аккуратно собрал все картофелины обратно в ящик, поставил на место банку с солеными огурцами. Поднял наверх шаровары и штормовку, развесил на веревке во дворе просушить. Надел синюю форму и побегал в школу.

* * *

Любовь к девочке на несколько лет старше — безнадежна. Мотылек это понимал. Любовь действительно звали Любовью. Любе было четырнадцать. Да что скрывать, этой весной ей уже исполнилось пятнадцать. Она была выше его на две головы. У нее были восхитительные рыжие кудри и глаза цвета Волги. Когда она сердилась, глаза темнели и становились цвета Свяяги.

В этом году она заканчивала восьмой класс. Мотылек — четвертый. Благодаря Острову они целый год учились вместе.

Систему школьного образования на Острове можно было бы назвать экспериментальной, если бы она была рождена смелой мыслью какого-нибудь новатора от педагогики. Но директор школы Р. Р. Николаев называл ее вынужденной, чиновники в районном управлении соглашались и закрывали глаза. На Острове проживал двадцать один ребенок младшего и среднего школьного возраста. Все дети учились в островной школе номер один, где работали четыре учителя и директор. Один учитель мужественно нес на своих хрупких старушечьих плечах все младшие классы: дети от семи до девяти учились вместе три года подряд, каждый год проходя заново программу младшей школы. Ребята десяти-пятнадцати лет получали основы среднего образования от трех учителей-многостаночников, достигших вершин мастерства в преподавании различных дисциплин столь разновозрастной аудитории.

Такая система сложилась еще в тридцатые годы, когда специальным указом Наркомпроса островитянам запретили возить детей на катерах в нормальную береговую школу «во избежание попыток побега со стороны пациентов психиатрической лечебницы». Тогда же запретили иметь и собственные катера. Зато построили школу, маленькую, всего на два класса, и одну крошечную учительскую — но свою.

Мотылек бежал в школу через холм и запыхался. Влетел в класс и рухнул на свою парту. Успел — урок еще не начался. Краем глаза заметил знакомое облако рыжих волос у окна, внутри живота что-то привычно дрогнуло. И, как всегда, подумалось, что сначала он сам вырвется отсюда, а потом, через несколько лет, вернется — выросший, возмужавший — и увезет ее с Острова. Навсегда.

— Не, в училище не хочу. Зачем? — Люба сидела на подоконнике рядом с большим синим глобусом и кокетливо вертела его пальчиком; коричневое платьице открывало круглые коленки и упругие бедрышки, обтянутые эластичными колготками со сложным рисунком. Этот рисунок внимательно изучали, словно запоминая наизусть, два рослых восьмиклассника, стоявших рядом.

Тряхнула упругими кольцами кудрей:

— Я лучше здесь останусь. У меня обе сестры в психушке санитарками. Одна уже старшей стала. Говорит: ве-есело там... — она улыбнулась чему-то, что было известно ей одной.

Родители Любы, давая имена дочерям, не были оригинальны: старших девочек звали Вера и Надежда. Закончив восьмилетку, они остались на Острове.

— А я в девятый класс хочу, — сообщил один из Любиных собеседников, оторвав на миг глаза от узорчатых колготок. — Меня отец обещал летом в Казань послать, к родственникам. Я там дальше учиться буду.

— А смысл? — Люба закинула ногу на ногу, открывая взгляду исследователей еще несколько квадратных сантиметров сложного рисунка. — Мой папа столько получает, сколько в твоей Казани многим и не снилось.

Отец Любы уже много лет был главным санитаром и заслуженным работником психушки. Старших санитаров было несколько, а главный — один.

— Что, больше преподавателя в университете? Больше профессора? — не поверил второй восьмиклассник.

— Про профессора не скажу, но уж побольше нашей Липучки точно, — ехидно сообщила девушка. И уточнила громким шепотом: — Ровно в пять с половиной раз.

Младшие дети, не допущенные к разговору взрослых, но внимательно за ним следившие, ошарашенно переглянулись и зашептались. Распахнулась дверь. В класс мелким, семенящим шагом вошла Липа Ивановна, по-простому — Липучка, поправляя на ходу выбившиеся из пучка жидкие волосы. Как женщина она была некрасива и нелюбима. Дети это знали.

— Аполлонова, не задирай юбку, — вместо приветствия устало скомандовала она.

Люба плавно опустила ноги в блестящих туфельках на пол и не спеша процокала на заднюю парту. Восьмиклассники проследовали за ней. В животе у Мотылька опять что-то дрогнуло. Люба была тем единственным, что как-то примиряло его с Островом — хоть немного, хоть иногда. И тем единственным, что он хотел бы забрать отсюда.

— Историю сегодня буду вести я, — объявила Липучка, бросая на учительский стол журнал.

— А Роман Романыч?.. Что с ним?.. Заболел?.. — раздалась встревоженные голоса.

Роман Романович Николаев был директором школы и единственным учителем, который пользовался у учеников авторитетом, а у некоторых даже любовью. Он вел историю, географию, ботанику и биологию, часто сплавляя эти дисциплины в единый увлекательный урок о жизни и ее законах.

— Да, он сегодня отсутствует... — медленно, словно через силу, проговорила Липучка, отводя глаза к окну.

Потом решительно взяла мел и стала царапать на доске каллиграфическим почерком тему урока: «Царствование Ивана Четвертого (Грозного)».

Урок Липучки Мотыльку не понравился. Очень интересные вещи она рассказывала совершенно неинтересно. Как стертую колоду, устало и обыденно, она тасовала жадных бояр, жестоких опричников, безрассудных стрельцов и даже самого властолюбивого и кровожадного царя Ивана Васильевича. Все эти некогда мощные и влиятельные фигуры обрывками плоского и серого текста из школьного учебника вылетали в открытую форточку. Обратно влетал далекий шум волн.

К концу урока класс задремал. Мотылек думал о том, что сегодня вечером опять разложит в подвале тряпичного человечка и попытается убить деда.

— ...Отступая в 1550 году от Казани во время своего очередного похода, Иван Грозный выбрал место для постройки будущей крепости, которую он планировал использовать для взятия неприступной столицы Казанского ханства. В 1551 году крепость была собрана за четыре недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге... — монотонно читала Липучка, шелестя страницами.

Мотылек не сразу понял, что речь идет об Острове.

— ...Великий князь приказал срубить город с деревянными стенами, башнями, воротами, как настоящий город; а балки и бревна переметить все сверху донизу. Затем этот город был разобран, сложен на плоты и сплавлен вниз по Волге, вместе с воинскими людьми и крупной артиллерией... — Липучка мельком посмотрела на часы. До конца урока оставалось пять минут. — Сам Иван Васильевич возвратился в Москву, а город этот занял русскими людьми и артиллерией и назвал его Свяжском.

— Это что, про наш Остров, что ли? — громко спросили с задней парты.

— Да, — равнодушно откликнулась Липучка и продолжила чтение: — Построенный вскоре город стал базой русских войск при осаде Казани в 1552 году. Осада длилась полтора месяца и закончилась взятием Казани 2 октября 1552 года. Последний, третий по счету казанский поход Ивана Четвертого оказался успешным. Казанское ханство прекратило существование и вошло в состав Московского государства.

Липучка захлопнула учебник:

— Домашнее задание — дочитать главу до конца.

— Подождите! — вскинулись на задней парте. — А как?! Как взяли Казань-то?! Они ж, то есть мы ж, отсюда ее брали, с этого Острова!..

Липа Ивановна всю свою жизнь вела в школе русский язык и литературу. Она напрягла лобные мышцы, пытаясь вспомнить хоть какую-нибудь информацию об этом историческом событии в школьном курсе литературы.

— Кажется, есть легенда о том, что из Свияжска был выкопан подземный ход в центр Казанского кремля. По этому ходу русские доставили под кремлевские стены бочки с порохом и взорвали их, прорвав оборону защитников города, — неуверенно произнесла она.

Класс восхищенно загудел.

— Но! — Липучка подняла вверх строгий палец. — Это всего лишь легенда. Сами понимаете, что выкопать подземный ход длиной полтора десятка километров, да еще под такой большой рекой, как великая русская река Волга, в шестнадцатом веке было совершенно невозможно.

Дети разочарованно выдохнули.

— Так что как все было на самом деле — почитаете сами в учебнике, — закончила она, вставая из-за стола.

— Нам Роман Романыч расскажет, когда выздоровеет, — мстительно заметили с задней парты.

Липучка медленно распрямила спину, кинула долгий взгляд в окно и, ничего не говоря, чинно понесла свое некрасивое лицо из класса.

В этот миг зазвонил большой колокол. Его басистые удары, словно августовский гром, накрыли Остров. Значит, из психушки опять сбежал *белый*, и скоро начнется облава.

Никто на Острове этого уже не помнил, но когда-то колоколов было тридцать восемь, самого разного размера и тембра; в дни праздников с ними управлялись семь звонарей; послушать звон ехали со всей Волги. Большой колокол был главой этого разноголосого семейства, его отлили первым. А после изгнания монахов его единственного оставили жить — не сняли и даже не отняли язык. Правда, возвещал он теперь лишь об одном — о скором начале охоты на живого человека. Остальные колокола отправили в Казань на переплавку, и они давно уже стали штыками, пулями, ружьями, танками.

Услышав бой колокола, дети кинулись сначала к окну, а потом с громкими криками вон из школы. Специальным приказом Наркомвоенмора еще в тридцатые годы все взрослое островное население обязали при первых звуках тревоги поступать в распоряжение медицинского персонала лечебницы для поиска сбежавших пациентов — вплоть до их поимки. Для учителей не было сделано исключение, а это означало, что уроков сегодня уже не будет. Дети могли развлечься: принять участие в облаве. Или, если пока не хочется, понаблюдать за ней.

Мотылек решил понаблюдать. Прибежав домой, он схватил фонарик (облава могла продлиться до темноты), сунул в карман пару зачерствевших пряников и помчался к храмам.

* * *

Ива — дерево тонкое, деликатное. Листьями шумит сухо и нежно, шепотом; тихо плачет о чем-то своем, сначала девичьем, потом стародевичьем. Мотылек любил ивы, а одну из них — морщинистую, разлапистую, с тремя корявыми, смотрящими в разные стороны стволами — особенно. Ива росла у стены храмового подворья. Она была так стара, что, наверно, помнила то время, когда на Острове не было храмов. А может, совсем молодым деревцем видела и основателя поселения — царя Ивана Васильевича... Ива была очень высока. На одном из ее стволов сейчас сидел Мотылек и наблюдал за происходящим внутри подворья.

Храмы лежали перед ним как на ладони. Пять громад из рубиново-красного кирпича на вершине самого высокого холма Острова. Тридцать куполов, покрытых черной, блестящей на солнце чешуей и увенчанных строгими крестами. Громадина колокольни. Высокая кирпичная ограда, вьющаяся вокруг нарядной бесконечной лентой.

На храмовом подворье собиралось войско в белых халатах. Санитары и санитарки копошились муравьями, сначала бестолково, потом сбиваясь в кучки, отряды, постепенно упорядочиваясь и выстраиваясь в стройное вогнутое каре. В центре этого каре встал главный санитар. По огненно-рыжим волосам Мотылек узнал Любиного отца. Главный санитар отдал краткие приказания, разрубая воздух руками, — сначала в одну сторону, потом в другую, потом в третью. И армия белой рекой потекла через храмовые ворота с холма вниз, в три разных конца. Где-то там, в потоке, маршировал и одетый в белый халат дед. «Белые ловят белого», — подумал Мотылек. За воротами ожидали прибежавшие на зов колокола взрослые и дети, они присоединялись к потокам, разбавляя цвет.

А может, сбежал тот самый, не настоящий *белый*, который спас вчера Мотылька от деда? Вот это бы здорово!.. Мальчик даже задохнулся от этой мысли.

И захотелось, чтобы беглеца не нашли! Чтобы он растворился в Волге, рассыпался речным песком, растаял в воздухе. Чтобы его унесло ветром. Чтобы земля разверзлась под ним и поглотила. Все лучше, чем жить в красных храмах. Мотылек ни разу там не был, но понимал: дед был малой частью этого огромного и пугающего красного тела; именно храмы питали деда силой, а он дарил им всю свою жизнь.

Может, попытаться найти беглого *белого* раньше санитаров и попробовать спасти? Укрыть в ивовой роще, в пещерах скалистого берега или в собственном подполе, наконец? В картофельном ящике. Там-то точно никто не будет искать... Мальчик белкой скатился по стволу вниз, ломая сучья, пружинисто прыгнул на траву. На секунду замер в нерешительности, размышляя, куда бежать сначала, и рванул к *жилому* холму.

По форме Остров напоминал трилистник: в центре огромной красной сердцевинной — храмовый холм, самый большой и высокий, в три стороны от него — холмы поменьше: *лесной*, *скалистый* и *жилой*. К последнему и летел сейчас Мотылек.

Дома росли на жилом холме, как опята на трухлявом пне: густо, вперебой. Когда Мотылек вбежал в деревню, она напоминала растревоженный улей. Кричало всё: козы, коровы, куры, люди, собаки. В воздухе молочным туманом клубилась пыль. По главной улице рассыпался отряд поисковиков в белых халатах. Каждый подпоясан кожаным ремнем, с которого свисает моток веревки и большая деревянная трещотка. Некоторые орудуют трещотками, не снимая их с пояса, а кое-кто потрясает ими высоко в воздухе, издавая особо громкий и длинный треск. Санитары обыскивают каждый дом, каждый двор, каждый сарай, ни на секунду не прекра-

щая трещать. Помогающие им взрослые за неимением трещоток громко и резко кричат: «О! О! У! У!..» Мотылек увидел Липучку, которая вместе со всеми шла по улице, отбивая в ладоши такт: «О! О! У! У!» Кто-то вытащил на улицу баян и стал лаять им, широко разводя мехи. Дети завывали от восторга и пустились в первобытный танец посреди улицы. Когда Мотылек был маленьким, он сам пару раз танцевал вот так, под ритмичный треск и крики взрослых во время облав. Тогда казалось: не может быть ничего веселее. Два года назад одного беглого поймали именно здесь, в деревне. Не выдержав оглушительного шума и криков, он с ревом выбросился на улицу с чердака одного из домов, где прятался несколько часов. Хотел бежать дальше, но не смог — сломал ногу. Тут его и взяли, в цветочном палисаднике, воющего от страха и зажимающего уши. Пришлось нести в психушку на руках. За это санитары трещали над его головой всю дорогу к храму.

Мотылек пробежал всю деревню, от школы до дедова дома, стоящего на отшибе. Понял: здесь делать нечего. Ищут тщательно и везде: в домах, в подполах, в сараях, за поленницами, в собачьих будках... Не то что человека — и крысу найдут. Если беглец укрылся в деревне — ему не помочь. И мальчик решил бежать на другой холм — *лесной*.

Ивовая роща опоясывала лесной холм снизу, оставляя его просторную вершину пустой — на этой могучей лысине располагалось местное кладбище. Именно там сейчас и рыскал второй поисковый отряд. «Решили сверху вниз гнать, к реке», — понял Мотылек. Он бесшумно прокрался ближе, притаился в кустах.

Островное кладбище было огромно и имело два крыла. С восточной стороны холма, всё в зарослях крапивы и буреломе, раскинулось Старое кладбище — там с незапамятных времен хоронили паломников, умерших на Острове. Кто умирал ненароком, кто специально ехал сюда проститься с жизнью — все покоились сейчас в глинистой земле Острова, слушали шум Волги и шелест ив. Сейчас туда редко кто захаживал, даже мальчишки побаивались этого жутковатого места. Деревянные голбцы попадали, вместо некоторых успели вырасти кусты и деревья. Кладбище постепенно умирало, становилось лесом.

С запада к нему примыкало Новое кладбище, на котором хоронили уже граждан Советского Союза, работавших в психушке, а также самих *белых*. За шестьдесят лет существования лечебницы поумирало так много народу, что вся поляна была густо покрыта крестами и надгробными камнями, — бывшие санитары и пациенты лежали вперемежку, кучно, впритирку. Здесь часто устраивали субботники и воскресники, кладбище было ухоженным, живым. Санитары шагали по могилам широким хозяйским шагом. Одна рука работает трещоткой, вторая — сбивает большой палкой все высокие заросли. Добровольные помощники шли следом, вооружившись кто мотыгами, кто вилами, — размеренно и часто вонзали инструменты в кусты, травы, цветы. Ранить белого можно, это не запрещается — запрещается его упустить. Кто-то притащил из деревни большую собаку на поводке, и она лаяла без перерыва, чувствуя всеобщее возбуждение.

— Под каждый крест заглядывать! Под каждый лопух! — раздался недалеко высокий голос деда, заглушая непрекращающийся треск. — Кто найдет — как всегда, свое получит. Не обидим.

Вознаграждение не было прописано в специальном приказе Наркомвоенмора 1937 года. Но всегда имело место — хорошая столичная водка и специальный продуктовый набор из Казани. С мыслью об этом кому-то и искалось веселее. Хотя многие помогали санитарам не из корыстных соображений, а из здорового, веселого азарта. Мотылек медленно отполз назад, в укрытие ив. Решил обежать рощу, пока санитары прочесывают вершину холма.

— Дяденька, не бойся, — шепотом звал он, тенью скользя от дерева к дереву и заглядывая в дупла и норы.

— Дяденька, выходи, прошу тебя...

— Дяденька, поверь...

Но встретились ему только ящерицы да мыши.

Дневной зной утихал, солнце клонилось к закату. Санитары уже шныряли по склонам холма, спускаясь все ниже, звук трещоток приближался. Оставалась последняя надежда — что беглый на *скалистом* холме. Он был назван так из-за каменистого обрывистого берега, в высоких стенах которого зияло несколько ущелий и пещер. Именно в этот холм билась грудью коварная Свияга, обманчиво приветливая при хорошей погоде и нескрывая свирепая при плохой. Место это было опасное — и для людей, и для катеров. Огромные валуны остро торчали из воды вдоль всего берега, пышно вспенивая воду даже в тихий день. Дно резко уходило вниз, падало пропастью. Мотылек решил сразу бежать к пещерам. Поиски длились уже несколько часов; если и мог беглец где-то так долго укрываться — только там.

По крутой сыпучей тропинке мальчик заскользил вниз, к берегу. Волны гулко бились о скалы, ветер доносил холодные брызги. Сквозь шум воды долетал еле слышный звук трещоток — третий поисковый отряд исследовал пещеры с другой стороны скалистого холма, постепенно приближаясь. Мотылек успел обыскать две пещеры. Излазил на брюхе вдоль и поперек, дочерна испачкав школьный костюм и промокнув насквозь. Шарил слабым фонариком по сочащимся водой камням, заползал за скользкие валуны, в расщелины.

— Дяденька, я тебя спасу! Покажись... — шелестел он, и его шепот еле слышным эхом отражался от мокрых стен, таял в звоне пещерной капли.

Кричать боялся: могли услышать санитары. С каждым часом бесплодных поисков все больше верилось, что сбежал не обычный *белый* (такого бы давно уже нашли), а тот самый, Мотыльков спаситель. «Точно — мой!» — радостно и нежно думалось мальчику. Когда Мотылек изучал третью пещеру, следом вошли санитары. Трещотки их звучали устало, голоса — зло и тихо. Мотылек летучей мышью взметнулся по камням за темный валун куда-то под самый потолок, вжался лбом в гигантский сталактит, зажмурился, окаменел.

— Искать, сволочи! Искать, гады! — командовал низкий голос; Мотылек узнал бас Любиного отца.

Сквозь зажмуренные веки уловил движение света в пещере — это яркие фонари шарили по стенам. Искали долго и тщательно. Могли бы найти и Мотылька, но он сидел очень уж высоко. Переговаривались, сплевывали. Один запустил со злости камнем в потолок пещеры, тот загрохотал по валунам гулко, будто смеясь. Никого не обнаружив, ушли дальше. Но кто-то один еще оставался, топтался, стуча тяжелыми подошвами. Мотылек уловил запах дыма и, приоткрыв глаза, осторожно высунулся из-за сталактита. Главный санитар. Он сидел на камне у самого входа в пещеру, сгорбленный, и курил, глядя на волны. Огненная шевелюра пламенела на закатном солнце, сизое дымное облако стелилось к камням. Вдруг он резко повернулся к пещере и вперился в темноту.

— Ты здесь, с... политическая? — громко и отчетливо спросил тишину. — Ты здесь, сволочь под грифом «Ч»?!. А ну выходи!

Мотыльку показалось, что главный санитар смотрит ему прямо в глаза. Сердце колотилось о холодный валун так громко, что могло выдать. Но тот уже опустил голову низко на грудь.

— Господи, меня же самого под грифом «Ч» пустят... — услышал Мотылек его

трагический шепот. — Даже на учет поставить не успели, собаку... Господи, за что мне это...

Докурил, обреченно выбросил непогашенную сигарету в глубь пещеры — она золотой кометой пронзила бархатную черноту — и вышел.

«Так и есть: он! Мой сбежал! Мой!» — возликовал Мотылек. Но только мальчик хотел спуститься из своего укрытия, как внизу раздался чей-то сдавленный смех. Вновь припал лбом к сталактиту и замер. Из-за большого валуна, приглушенно хихикая, вылезали двое.

— Тебя же накажут, — знакомый женский голос.

Мотылек напряг зрение, и ему показалось, что в темноте он видит рыжие кудри. Люба?

— И тебя отец не похвалит, если узнает, — голос мужчины.

— Ему сейчас не до меня — сам слышал... Как отстали от всех, так и догоним потом — никто и не заметит.

Точно: Люба! Мотылек не увидел, но почувствовал, как при этих словах она привычно тряхнула кудрями.

— И хорошо, — мужской голос стал ниже, потом превратился в нечленораздельный шепот и стих совсем.

Двое все еще оставались у валуна, в тени, и Мотылек не мог их видеть. Но слышать мог, и довольно хорошо. В наступившем долгом молчании он уловил тихий мокрый звук, словно камешком по воде плеснули. «Целуются», — догадался мальчик, и сердце его перестало стучать о холодный валун. Дыхание обоих становилось все более глубоким и напряженным. К дыханию примешивались звуки движения двух тел, шуршание одежды, иногда некстати раздавалось потрескивание трещотки. Скоро мужчина стал дышать так громко и быстро, что перекрывал несущийся снаружи шум волн.

— О... о... у!!.. у!!.. — вдруг прерывисто закричал он.

— Хорррошо! — вскрикнула Люба в ответ так, как обычно кричат от боли.

«Как можно целоваться и кричать одновременно?» — размышлял Мотылек. Его тело, пальцы были такими холодными, что камни, казалось, согревали их.

Двое закончили свои странные поцелуи. Неровными шагами пошли к выходу из пещеры, и Мотылек увидел их пошатывающиеся силуэты на фоне волн. Люба поправляла юбку и подтягивала колготки. Мужчина отряхивал белый халат, поправлял трещотку на поясе. Так больше и не коснувшись друг друга, не сказав ни слова, они разошлись: санитар — догонять поисковый отряд, а Люба — в другую сторону.

Не чувствуя рук и ног, Мотылек медленно сполз с валуна и вышел из пещеры. Забыв про поиски, побрел вдоль линии прибоя. Самого прибоя не слышал — в ушах стояли недавние крики. Белые хлопья пены снегом падали на лицо, но мальчик их не чувствовал. Он понял, что не увезет Любу с Острова. Берег постепенно стал пологим. Солнце уже обмакнуло край в горизонт. Золотая вода ласково плескала в коричневый песок. Комариные облачка с нежным звоном летели над водой. Время почти остановилось.

И вдруг Мотылек увидел *его*. Тяжелым черным бревном тело медленно выплывало из прибрежных камышей. Первой шла голова. Прозрачнокрылая стрекоза присела на круто торчащий вверх бритый затылок и тотчас же упорхнула. Следом показалась спина и протянутые вдоль тела руки. Раздутые изнутри водой рукава белой рубашки казались огромными мускулами. Так и есть, это был тот самый ненастоящий *белый*, который вчера спас Мотылька от дедовых побоев. Он завороченно смотрел, как тело медленно приближается к берегу. Оно очень напоминало

сложенного ночью тряпичного человечка, только было больше размером. Когда утопленник подплыл совсем близко, Мотылек разглядел вокруг него целое облако мелких рыбок. Под тонкий плеск волны и шорох камыша *белый* ткнулся головой в песок у самых ног мальчика. Мотылек сбросил кеды, подоткнул повыше штаны и зашел в теплую вечернюю воду. Осторожно подошел к телу, распугав мальков. Трупов не боялся совсем. Что может сделать мертвый? Ничего. А вот посмотреть еще раз на спокойное и сильное лицо своего защитника хотелось. Мотылек решил не извещать санитаров о своей находке. Он только посмотрит еще раз на *белого*, а потом спрячет его в камышах. Ночью притащит свои старые, кованые железом санки и привяжет к ним тело. И спустит на дно в каком-нибудь глубоком месте — их тут предостаточно. Пусть лежит себе на дне, рыбы его потихоньку подьедят, — все лучше, чем обратно в психушку... Это будет победа над красными храмами. Победа и его, Мотылька, и *белого* тоже. Мотылек толком не мог объяснить почему — ведь *белый*-то умер. Но что победа — знал точно. Хотел перевернуть утопленника лицом вверх — не смог: слишком тяжело. Взялся за одну руку, вытянул тело из воды с одной стороны, насколько хватило сил. Потом — за другую. Теперь труп по плечи выглядывал из воды и словно обнимал берег руками, уткнувшись носом в землю. Мотылек ухватил обеими ладошками холодную мокрую кисть и завел руку утопленника за спину. Кряхтя от натуги, потянул дальше — и тело нехотя перевернулось на спину. Мальчик зачерпнул воды и окатил острый нос и торчащие скулы. Темный в наступающих сумерках песок сполз с кожи, как маска.

Это был не *белый*. Роман Романыч лежал на берегу — в светлой рубашке, раскинув руки, с выражением глубокой тоски на слегка распухшем от воды лице. Темные глаза вопросительно смотрели на первую звезду, разгоравшуюся в небесной синеве. Закатное солнце золотило щеки, придавая чертам живость. По правой щеке ползла огромная коричневая улитка, шевеля шишковатыми рогами.

В этот миг забил большой колокол, возвещая о том, что санитары нашли беглого пациента. Мотылек рванул с места, перебирая запутавшимися в воде голыми ногами. Уже на берегу упал, взрывая песок вокруг себя, вскочил и бросился прочь, не разбирая дороги. Кеды остались валяться на берегу. Утопленник по-прежнему внимательно изучал звездное небо. Улитка продолжала свой путь по его бледной щеке.

* * *

Мотылек мчался по Острову, колотя голыми ступнями по земле, камням, траве, песку. Ноги несли его прочь, прочь, прочь. Сердце билось в горле. Огнем горело дыхание. В глазах мелькали кусты, деревья, холмы. Силы кончились разом, внезапно. По макушкам торчащих из густой крапивы деревянных голбцов понял, что на Старом кладбище — с той стороны, где уже давно никто не ходил. Пробежал еще десяток шагов на непослушных ногах и споткнулся о криво растущий из земли крест, ничком полетел на одну из древних могил. Едва обессиленное тело коснулось могилы, земля под ним разверзлась — и Мотылек полетел вниз, в черноту провала. От ужаса закричал, но сверху уже сыпались земля и куски дерна, заглушая крик. Показалось, что падал долго. Сначала отвесно, потом — по пологому склону, по жестким комьям, головой вперед. Как мог, защищал голову руками, но корни все равно царапали лицо. По узкому тоннелю он мчался куда-то глубоко вниз, к самому центру земли. Мелькнуло: в ад. Постепенно движение замедлилось, и скоро Мотылек смог упереться руками и ногами в стены тоннеля — остановился. Стояла абсолютная тьма. Пахло сырой землей. Не доносилось ни единого звука.

— Мама, — выдохнул Мотылек.

Голос прозвучал ватно. Никто не отозвался. Сел, голова коснулась свода. Ощупал руками вокруг — твердые земляные стены. Корней не было — видимо, они остались выше. Отполз назад, к выходу — ткнулся головой в насыпь из комьев земли и камней. Проход засыпало. Попробовал разгрести руками завал — куда там! Усердствовать побоялся: плотная стена из земли и камней могла осыпаться и поглотить его. Оставался один путь — вперед. Мотылек медленно пополз, опираясь на колени и запястья, то и дело вытягивая вперед руку, чтобы нащупать направление. Слышал только свое дыхание: вдох-выдох, вдох-выдох... Полз долго. По ощущениям — с небольшим уклоном вниз. Глаза постепенно привыкали к крошечной тьме. Земля дышала сырым холодом, но от постоянного движения мальчик разогрелся. «Буду ползти, чтобы не замерзнуть», — решил он. Прошло много времени. Колени и запястья устали. Вдруг вспомнил о фонарике, достал его из кармана. Включил: слабый желтый свет залил на мгновение округлые своды, ножом резанув по глазам, и заморгал: недавние поиски в пещерах были долгими, и батарейка успела разрядиться. Он решил беречь фонарик и спрятал его обратно в карман. После вспышки света глаза привыкали к темноте долго. Но скоро ему вновь стало казаться, что он что-то видит. Мотылек все полз вперед. Жесткие комья земли и мелкие камни больно впивались в ладони. «Вдруг проход раздвоится, а я не замечу? — пришла внезапная мысль. — Или пропущу какой-нибудь боковой лаз?» Решил тщательнее ощупывать стены вокруг.

Внезапно земля стала еще более холодной, после — влажной, а потом под ладонями захлюпала вода. Чтобы не мочить колени, он сел на корточки и стал передвигаться по щиколотку в воде. Вода все прибывала. Скоро Мотылек был уже по пояс в воде. Фонарик зажал в зубах. Полз вновь на коленях — так было удобнее. Через несколько минут вода дошла до локтей. Потом до груди. Решил включить фонарик и осмотреться. При слабом мерцающем свете увидел уходящую вдаль неровную кишку прохода, почти заполненного водой. Низко над головой нависал потолок, с него сочилась влага. Далеко впереди проход немного поворачивал. Это было последнее, что он увидел при свете фонарика: слабая вспышка — и лампочка медленно погасла. Засунул бесполезную вещь в карман, полный воды, и пополз дальше. Скоро вода дошла Мотыльку до шеи. Звук дыхания отражался от поверхности воды: вдох-выдох, вдох-выдох... Пришлось двигаться медленно: стоило ползти чуть быстрее — и маленькие волны, поднимаемые его телом, плескали в лицо. Вода поднялась до подбородка. Затем покрыла плотно сомкнутый рот. Раскрыл губы, попробовал на вкус — соленая, будто морская. Мотылек остановился и ощупал потолок: впереди он погружался в воду. «Назад!» — билось в висках в такт сердцу. Он зажмурился, набрал полную грудь воздуха и, оттолкнувшись ногами изо всей силы, нырнул вперед.

Плыл, отталкиваясь руками и ногами от стен. Голова то и дело билась о потолок. Мотылек постепенно выпускал воздух из легких. Скоро воздух закончился. Через пару секунд ощутил что-то вроде слабого течения. «Несет к реке?» Додумать не успел: обезумевшее без воздуха тело задергалось, ногти зацарапали податливую глину потолка... Очнулся от глубокого судорожного вдоха. Он все еще плыл по проходу, заполненному водой, — лежа на спине, кончиком носа касаясь потолка, вдоль которого тянулась полоска спасительного воздуха. Постепенно тонкая полоска становилась шире, скоро он смог перевернуться и встать на колени. Вода спадала, потом исчезла совсем. Мотылек, насквозь мокрый, рухнул на сырую землю и сладко заснул. Через пару минут проснулся от холода. Тело било мелкой дрожью, зубы стучали. «Ни за что больше не сдвинусь с места, так и буду лежать», — лениво мелькнуло в сонном мозгу. Сжался, обхватил руками колени — и вдруг нащупал в

кармане какой-то странный предмет: липкий, свалывшийся комок еле умещался в ладони — пряник! Жадно засунул в рот всю пригоршню, на зубах хрустнул песок. Сладкий вкус размякшего теста отдавал рыбой и гнилью. Вкусно. Облизал пальцы, выковырял из складок кармана остатки. Появились силы двигаться. Пополз дальше. «Наверное, уже наступило утро, — думал Мотылек, переставляя руки и ноги. — Жаль, пряников мало взял...»

Вдруг далеко впереди мелькнула какая-то слабая тень. Он сам не понял, увидел ли он ее свыкшимися с темнотой глазами или просто почувствовал. Тень бесшумно и быстро перемещалась по полу. Вот она уже в паре метров от мальчика. Обострившимся слухом уловил присутствие небольшого существа. Скоро теней стало две. Три. Много. «Крысы, — понял Мотылек. — Голодные». Времени на размышление не было. Он оскалил зубы и с низким лаем бросился вперед. Клацая челюстями и заходясь протяжным воем, он бежал на четвереньках, неуклюже, но стремительно. Иногда ударялся плечами о стены или головой о потолок, но не замечал этого. В какой-то миг ему показалось, что он действительно хочет догнать крыс, — хоть одну из них, самую мелкую, впиться ей в холку и резко тряхнуть головой, чтобы сломать позвоночник... «У-у-у-у-у!!» — из последних сил выл он вслед убегающим теням, утирая катящиеся по щекам слезы. Скоро вой перешел в поскуливание и затем в плач. Но крысы этого уже не слышали: они ушли. Поревел, скрючившись на земле, пополз дальше.

Скоро почувствовал, что потолок отдаляется — проход становится шире и выше. То и дело вытягивал руку вверх, проверяя высоту. Смог встать. Сначала пригибался немного, чтобы не задевать темечком свод. Затем пошел свободно. Каким наслаждением было идти прямо после долгих часов на коленях! Чувствовать голыми ступнями каждый камешек, каждую трещинку пола. Мотылек блаженно вытянул руки вверх, приподнялся на цыпочки, выгнулся всем телом — пальцы едва коснулись свода. Попрыгал, шлепая ладонями по сухому потолку. Пробежался на месте, высоко задирая ноги. Поприседал. Пошел дальше. Одежда на нем обсыхала. Теперь, когда ход стал много шире, было сложнее ощупывать стены в поисках боковых ходов. Он шел, попеременно ведя рукой то по левой, то по правой стене. Вдруг ладонь повисла в пустоте: стена обрывалась. Он метнулся к этому месту и ощупал его. Это была ниша в стене размером с собачью будку. Недолго думая, Мотылек залез в нее, свернулся уютным калачиком и заснул. Спалось сладко и долго. Под конец приснился странный сон — где-то с громким стуком колотилось большое сердце: «Тук-тук! Тук-тук!..» Далекий звук раздавался все ближе. «Тук-тук!» — прозвучало совсем рядом, и мальчик проснулся, в ужасе открыл глаза и увидел, как большая освещенная фигура мелькнула в проеме его укрытия. Еще одна фигура пролетела. «Тук-тук!» — стучали копыта коней, один за другим пронеслись всадники. Они держали в руках горящие факелы, неровный свет падал на суровые лица, заросшие бородами по самые глаза, отблескивал в лезвии секир за плечами. Гигантские тени неслись за своими хозяевами по округлым стенам. Кавалькада промелькнула быстро. Когда стук копыт замер, раздался новый звук. Вторая группа всадников летела по подземному проходу и вскоре проскакала мимо укрытия Мотылька. Пахло конским духом и горячей паклей. Изредка доносилось короткое ржание. Скоро и эти звуки стихли.

Через несколько минут мальчик вновь различил приближающийся топот. Коней было совсем мало — два или три, и они несли всадников медленно и осторожно. Мотылек услышал негромкие голоса: один — высокий, волнующийся, второй — низкий, упрямый. Они о чем-то горячо спорили. Не доехав совсем немного до норки, где притаился мальчик, всадники остановились и продолжили перепал-

ку. Мотылек видел на стене их дрожащие длинные тени — они взмахивали руками, ссорились.

— Рассуди ты, государь, кто из нас правее, — умоляюще произнес наконец высокий голос.

— Рассуди, будь милостив, — согласился упрямый бас.

Повисла секундная пауза.

— Оба неправы, олухи, — прошелестел третий голос, бесцветный, как ветер. — Не видать ему ни дыбы, ни кипящей смолы. Так легко он от нас не отделается. Думайте, бездари!

И подал коня вперед. Медленно появлялся обладатель третьего голоса в проеме ниши. Сначала показалась морда коня: черная, лохматая, в тускло отблескивающей сбруе. Затем — рука, держащая факел, костистая, длиннопалая, на каждом пальце по большому перстню. Обшлаг красного бархатного халата. И, наконец, лицо: бледное, длинное, с торчащими буграми скул над жидкой темной бородой, с черными, вороньими глазами без век под кустистыми бровями. Соболья шапка с расшитой золотом маковкой съехала на затылок, открывая пряди немых волос, расчесанных на прямой пробор. Человек устало прикрыл глаза и пустил коня быстрее. Двое других, торопясь, устремились за ним, и Мотылек не успел их разглядеть. Скоро все стихло. Он долго сидел неподвижно в своем укрытии, боясь высунуться, но больше никого не было. Прошел час, а может, два. Мальчик решил выглянуть из норы, но в кромешной тьме не было видно ни зги. Понюхал воздух. Запах коней и горящих факелов исчез. Вновь пахло землей и сыростью. Мотылек решил продолжить путь. Осторожно вылез из норы и, припадая к одной из стен, на нетвердых ногах пошagal дальше. Крепко сжимал в руке бесполезный фонарик — единственное оружие на случай, если его все же обнаружат всадники. Решил защищаться до последнего — лучше быть зарубленным секирой, чем попасть на суд грозного государя с бесцветным голосом и вороньими глазами.

Шагал долго. Скоро ноги перестали подрагивать от страха перед таинственной конницей. Проход был, как и раньше, высок и широк. Мотыльку даже показалось, что он ведет немного вверх. Вдруг что-то заставило его остановиться. Замер, ощущая какое-то непонятное изменение вокруг. Понял — в узком коридоре стало будто больше воздуха. Стал ощупывать земляные стены и пол. А пола не было — он стоял на самом краю обрыва. От неожиданности выпустил из рук фонарик — тот беззвучно канул в провал. Звука падения мальчик не услышал. Сел на землю, постарался унять дрожь в ногах. Стал изучать стены: может, есть какой-то уступ, тропинка, ведущая по кромке стены? Не было тропинки, не было уступа.

Куда же делись всадники? На всем пути от места встречи с ними и до провала не было боковых ходов — Мотылек это точно знал. Значит, уйти другой дорогой они не могли. Неужели канули в пропасть? Но у них яркие факелы, они бы увидели провал. Значит, это просто глубокая расщелина, и недалеко впереди — ее второй берег. Всадники перескочили расщелину на конях. Жаль, что фонарик пропал! Мотылек мог бы бросить его вперед и проверить свою догадку. Пополз обратно в поисках комка земли или камня. Как назло, стены были твердые и гладкие — не нашлось ничего подходящего. Отползать далеко назад не хотелось. И мальчик решил прыгнуть сам. Он еще раз нащупал место, где земля уходила отвесно вниз. Отмерил от него десять больших шагов. Встал, приготовился. Распахнул пошире глаза, сжал кулаки. Разбежался, считая про себя шаги. Последний пришелся на самую кромку, голая ступня уперлась в ребро обрыва. Оттолкнулся, взлетел в темноту. Показалось, что летел долго, — пока твердая земля не ударила в грудь. Вцепился в нее руками, ногтями, ногами — по отвесной поверхности пауком взобрался на проти-

вположный берег провала. Отдышался. Непослушными руками изучил стены и пол вокруг. Подземный коридор продолжался. Решил ползти на коленях, чтобы не свалиться в другой провал, если он встретится на пути. Одновременно ползти на коленях и изучать стены в поисках боковых ходов было очень долго и утомительно — решил просто ползти, не касаясь стен. Наверное, наверху уже наступил следующий день. А возможно, и следующая ночь. Время замерло.

Ладонью попал на что-то твердое и острое. Мальчик вскрикнул и прижал запястье ко рту, останавливая сочащуюся кровь. Камень? Или корень? Второй рукой осторожно ощупал предмет — что-то длинное и острое, скорее всего, палка. Неужели он приближается к выходу из подземелья? Палки стали попадаться чаще. При каждом шаге мальчик осторожно ощупывал носком ноги землю перед тем, как поставить ступню. Скоро стали попадаться камни: большие, круглые, как на подбор. Они не были холодными, скорее, просто прохладными. Мотылек уже отчетливо чувствовал уклон пола вверх. Хотелось бежать вперед опрометью, чтобы скорее выбраться из подземелья, но он себя останавливал: можно поранить ногу о камень или палку.

Уклон с каждой минутой становился явственнее, твердых предметов под ногами — все больше. Мальчик уже упирался руками в колени, взбираясь по крутому склону. Порой он расчищал место для шага, ногами расшвыривая мешавшие камни и палки — они со стуком катились вниз. Но скоро их стало так много, что пришлось шагать прямо по ним, осторожно нащупывая удобные площадки, а потом карабкаться. Казалось, он взбирается на огромную гору, усыпанную крупными голышами и хворостом. Пару раз он отдышал, ложился лицом на камни, вдыхал их запах — они ничем не пахли. Склон стал таким крутым, что можно было сорваться. Несколько раз нога ступала на неверный камень, который под тяжестью мальчика срывался вниз. Поэтому он был очень осторожен и намертво вцеплялся руками в выбранные камни. Внимательно огибал нащупанные торчащие палки — они грозили распороть одежду, а то и ногу.

Вдруг где-то очень высоко впереди мелькнул слабый свет. Мотылек с утроенной силой стал работать руками и ногами, карабкаясь к выходу. Ища ногой место для следующего шага, опустил взгляд вниз. И похолодел: в слабом, брезжившем сверху свете он увидел, что ползет по огромной горе из черепов и костей, оставляя на них красный след от кровоточащей ладони. Захотелось оттолкнуться от горы что есть сил — пусть упасть, пусть полететь обратно в черный коридор подземелья, лишь бы не цепляться больше за *это*. Но не смог — пальцы держали крепко. Мотылек закричал в ужасе и взметнулся вверх по склону. Через пару секунд был на вершине горы. Различил трубу кирпичного колодца и толстые железные скобы, лестницей уходящие вверх, к круглому отверстию, закрытому крышкой. Через круглую щель и сочились кольцом солнечные лучи. Мальчик схватился руками за влажные скобы и полез к выходу. Крышка люка оказалась незапертой — выдавил ее лбом и выполз на белый свет.

Первое, что он увидел наверху, — башня, сложенная из белоснежного кирпича. Он даже не предполагал, что бывает какой-то еще кирпич, кроме красного. Белые ярусы летели в ультрамариновое небо, к золотому солнцу. Белое на синем. Небывалая красота...

- Товарищи, ребенок в люке!
- Милиция! Милиция! Да что же это такое — в Кремле милиции не дозовешься!
- Врача! Посмотрите — он ранен. Медики есть?
- Надо же — середь бела дня, в самом центре Казани...
- Мальчик, ты цел? Как тебя зовут?

— Малыш, ты откуда взялся?

— Мама твоя где?..

Мотылек сидел на асфальте и смотрел на белую башню. Его тербили, задавали вопросы, суетились вокруг — словом, мешали любоваться. Он старался их не замечать, — все смотрел на белоснежную красоту и не мог насмотреться. На вопросы не отвечал — решил притвориться немым. Немых ни о чем не расспрашивают, не пристают с разговорами, от них ничего не ждут — просто определяют в специальный интернат, кормят, одевают и учат разговаривать руками. Об этом Роман Романыч на уроке рассказывал.

* * *

Мотылек не будет говорить три года. Их он проведет в интернате для глухонемых детей в Казани. После будут детский дом в Куйбышеве, общежитие в Астрахани. Ташкент, Мариуполь, Ленинград. Потом Сургут, Ангарск, Оренбург. Через двадцать один год после побега Мотылек вернется на Остров разнорабочим — восстанавливать разрушенные временем храмы.

Борис МЯЧИН

РАССКАЗЫ

ФУНКЦИОН КЛАВ НЕ НАЗНАЧ

Иванов давно подозревал: с этой вселенной что-то не так. Согласитесь, если бы вселенная была устроена более разумно, бутерброд не падал бы маслом вниз, яйцо всмятку не выбрызгивало прямо на халат, а тупой андроид не зависал бы каждые пять минут, прежде чем исторгнуть из глубин Сети необходимую информацию. Технологически несовершенный мир, бета-версия, звездочка, программа работает в тестовом режиме. Если подумать — всюду враги, хищные вещи века.

Вдобавок ко всему у Иванова еще и заболела спина. Казалось бы, ну чего тут особенного: поболит и пройдет. Но Иванов почему-то решил, что во всем виноват офисный стул, у которого сломалось одно колесико. Точнее говоря, колесико сломал начальник отдела менеджерского контроля, решивший, по обыкновенной привычке своей, усесться на стул Иванова и начать вещать про эффективность.

— Ой, — сказал начальник ровно в середине своей возвышенной речи, — кажется, у меня что-то хрустнуло. Ах, нет, это просто стул сломался.

И главное, он даже не посчитал нужным извиниться перед Ивановым за то, что сломал его стул, просто продолжил говорить о ключевых показателях и диаграммах сгорания, а потом встал, набрал в пластиковый стаканчик холодной воды из кулера, выпил залпом и вышел в коридор.

— Что, неудачный день? — похлопал Иванова по плечу программист Володя. Этот Володя всегда улыбался и плоско шутил, а еще у него была козлиная бородка, точь-в-точь, как у Бориса Гребенщикова. Иванов пристально посмотрел на него, но ничего не ответил. Потом повернулся спиной и снова попытался приткнуться назад ставший бесполезным пластиковый кругляш.

Чертов стул. Почему было не сделать колесико не из дешевого китайского пластика, а из космического титана? Почему бы не развести десять тысяч осетровых рыб и не продавать в магазинах нормальную черную икру, а не подделку фирмы «Еврофиш», мирового лидера в области производства искусственной черной икры, м-м-м? Я вас спрашиваю.

Всё, чего хотел Иванов от жизни, всё, о чем мечтал он, легко умещалось в слове «цивилизация». Он жаждал упорядоченного, культурного бытия: чтобы зарплата начислялась на банковскую карточку, а не выдавалась под видом премии в запечатанном конверте; чтобы автомобили в Никольском переулке не перегораживали тротуар; чтобы красивую девушку можно было пригласить в хорошее кафе, поговорить с ней, посмеяться за бокалом *Chianti Classico C. di Bossi* 2008 года; *Rib eye steak*, *Vittel*, *Perrier*, *Hirschbrau Holzar*, *Caulier Bon Secours Ambrée*, — меню ресторана «Палкинъ» постоянно вертелось в его голове, словно заключительное аллегро первого концерта для двух клавесинов с оркестром.

Борис Викторович Мячин родился в 1979 году. Учился на историческом факультете СПбГУ. Журналист. Живет в Санкт-Петербурге.

НЕВА 2'2014

В реальности все было наоборот: финансовые директора продолжали свои дебилские заигрывания с налоговой, тупое хамло ставило внедорожник поперек улицы, даже не задумываясь над тем, чтобы найти платную стоянку, а девушки не подозревали о существовании ресторанов, предпочитая пить водку в дешевых барах, а потом блевали себе на джинсы. Вокруг была дикая, варварская Россия, ничуть не изменившаяся со времен монголо-татарского ига.

Закончив работать, Иванов пошел на остановку и долго дожидался автобуса. Наконец автобус приехал, желтый, длинный, осажденный мелким хрустящим инеем. Все места были заняты, за исключением одного, рядом с толстой теткой, внимательно читавшей книгу Татьяны Устиновой.

— Можно я сяду? — вежливо спросил Иванов.

Тетка оторвала взгляд от Татьяны Устиновой и пожала плечами. Иванов сел. Сидеть было очень неудобно — тетка занимала полтора кресла, водитель лихачествовал, и на поворотах Иванова либо прижимало к толстой тетке, либо выбрасывало в проход. Пришлось хвататься рукой за петлю.

— А почему по Университетской? — воскликнул Иванов, заметив промелькнувшее в окне здание Двенадцати коллегий.

— Дворцовый закрыт уже! — крикнул водитель. — Чинят там чё-то по вечерам. Едем через Шмидта!

У Троицкого собора Иванов с ноющим чувством в животе вылез из маршрутки и зашел в супермаркет. Нужно было купить чая и лука. Он долго бродил по овощному отделу, высматривая лук. Ему хотелось, чтобы лук был упакованный, с уже пробитым штрих-кодом, но такого лука не было. Был только обычный, грязный лук, вываленный в поддон. Брезгливо морщась, Иванов подцепил двумя пальцами несколько головок и положил их в целлофановый пакет и так же, двумя пальцами ухватив пакет, понес его к весам, чтобы пробить штрих-код. Он положил пакет с луком на весы и начал изучать таблицу, на которой написаны были названия фруктов и овощей и напротив них номера, которые нужно нажать на весах. Напротив апельсинов было написано «14», напротив яблок «33», а вот напротив лука было написано странное четырехзначное число, которое никак не желало вводиться в дурацкие электронные весы. Иванов с надеждой посмотрел по сторонам: нет ли где-нибудь продавщицы в синем меттерлинковском халатике. Но продавщицы не было. Иванов подумал, что нужно ввести не число, а цену, пошел назад к поддону с луком, посмотрел цену — 15 рублей 40 копеек, — и попытался ввести ее в весы. На весах появилась надпись: «Функцион клавиш не назнач». Иванов не выдержал.

— Вы что тут, совсем все охренели, что ли? — заорал он на весь супермаркет и швырнул пакет с луком в сторону касс. — Сволочи! Лук запаковать не можете!

Что-то в голове его помутилось. Он ударил ногой в близлежащую стойку, она рухнула, и по полу покатались консервные банки. Но и этого Иванову показалось мало. Он схватил стоявшую рядом тележку с картошкой и катнул ее. Тележка ударилась о ящик с шампанским и перевернулась, но никакого разрушительного эффекта не произвела. Тогда Иванов подбежал к ящику с шампанским, вынул бутылку и со всей силы трахнул ее об пол. Он ударил ногой еще раз, на этот раз по стенду с пирожными, и упал, обессиленный.

Никто ничего не сказал ему. Люди продолжали сновать по рядам, средипельменей, сосисок и шампуней. Иванов приподнялся на локтях и поглядел на стоявшего у выхода из супермаркета охранника. Тот, с сосредоточенным лицом потомка коронных воинов Аллаха, играл в какую-то игру на своем телефоне.

Иванов поднялся и пошел к кассам.

— Вам пакет надо? — спросила, не глядя на него, кассирша. — Большой или маленький? Наша карта есть? Наклейки собираете?

— Да, — ответил Иванов. — У меня есть карта. Да, я собираю наклейки.

ПЛАНКА

Федеральный интернет-магазин «Всё для вас», или попросту ВДВ, действительно торговал всем, — в многочисленных отделах и складах его, разбросанных по трем или четырем этажам, можно было и заблудиться. А Матюша был типичный ленивый толстяк, которого держат в офисе, потому что к нему привыкли, а еще потому что он, как и все толстяки, был добр и разговорчив. Его карманы были набиты пакетиками с сахаром, таблетками, зубочистками и прочими полезными мелочами, и можно было всегда крикнуть:

— Эй, Матюша! Нет ли у тебя аспирина? Что-то у меня голова болит, — и Матюша рылся в карманах и всегда находил аспирин.

Ему было далеко за тридцать уже, а он все еще жил с мамой. Придя домой с работы, он ложился на диван и начинал смотреть по кабельному спортивным каналам, и когда мама спрашивала у него, какой счет, Матюша отвечал:

— Ничейный, мама, ничейный.

Девушки относились к Матюше с милым равнодушием, как к толстому коту, которого можно погладить, почесать за ушком и послушать мурлыканье. С Матюшей можно было поговорить о чем-нибудь заумном: о гугенотских войнах, или о герменевтике, или о том, как мировые информационные агентства освещают полет Путина с журавлями, или на худой конец, попить с ним пива, но любить его — нет, любовь в планы девушек не входила. Да и сам Матюша особо не настаивал. То ли он был романтик, воображавший себе некую прекрасную даму, то ли попросту не умел ухаживать.

Так продолжалось до тех пор, пока весной в офисе не появилась новая менеджерша по продвижению, высокая блондинка. Матюша покопался для приличия в памяти пару минут, а потом, тихо шурша, как бильярдный шар по зеленому сукну, подкатился и спросил:

— Вы же Светлана, да?

— Да, — буркнула она, не глядя в его сторону. Почти упав на колени, она подсоединяла монитор к компьютеру и не очень хорошо понимала, какой провод куда нужно втыкать.

— Давайте я помогу вам, — сказал Матюша.

Девушка выпрямилась. Она была выше Матюши на полторы головы. Казалось, она состояла из одних только сухожилий.

— Спасибо, не надо, — ответила она. — Я уже разобралась.

Матюша тяжело вздохнул и вернулся на свое место.

В обед они столкнулись в столовой. Матюша заказал, как всегда, бизнес-ланч и еще кусок пиццы с ветчиной впридачу, а новая менеджерша — прибалтийский салат и кофе. Усевшись за дальний столик, она вынула из сумки дешевую читалку.

— Это вы что читаете? — спросил Матюша, бесцеремонно усаживаясь напротив нее и раскладывая свой бизнес-ланч. — «Игру престолов»? Какую часть?

— «Бурю мечей», — все так же недовольно отозвалась менеджерша и снова уткнулась носом в читалку.

Не то чтобы ее сильно волновала война Старков и Ланнистеров — просто ей не хотелось разговаривать.

— Вы же Света, да?

- Вы уже спрашивали.
- А я Матвей.
- Еврейское имя какое-то.
- Почему это еврейское? — обиделся Матюша. — Обычное имя, христианское, апостольское. Я всё про имена знаю. У меня друг сделал стартап про имена.
- И про мое имя тоже знаете?
- Знаю. Ваше имя придумал поэт Жуковский. Все думают, что Светлана — это древнее русское имя, но это не так. Нет такого имени в летописях.
- Вот как, — менеджерша отложила читалку в сторону. — А что еще вы знаете, Матвей? Про калории знаете?
- У меня обмен веществ неправильный, — покраснел Матюша, — и вообще подозрение на диабет второго типа.
- Ну, так инсулин колоть надо, коли диабет.
- Матюша замолчал и перестал есть. Света же, напротив, окунула вилку в свой прибалтийский салат.
- А я вас видел, — произнес нерешительно Матюша. — В прошлом году, по телевизору.
- Возможно.
- Вы с шестом прыгали, на чемпионате мира.
- Ну, прыгала.
- А сейчас почему не прыгаете?
- Девушка отодвинула прибалтийский салат в сторону.
- Послушайте, Матвей, — сказала она, сжимая вилку в руке. — Вам-то что с того, прыгаю я или не прыгаю?
- Я просто помочь вам хотел, — Матюша пожал плечами. — Я когда увидел вас, я сразу вспомнил, как вы тогда планку сбили, на последней попытке.
- А с чего вы решили, что мне нужна ваша помощь?
- А я всегда чувствую, когда кому-то нужна помощь.
- Знаете, как врачи говорят: помоги себе сам.
- Матюша хотел сказать что-нибудь про врачей, но передумал и начал почему-то рассказывать о боевых шагающих роботах.
- Я в юности был похож на молодого Льва Толстого, — неожиданно закончил он свою историю. У меня фотография есть. Одно лицо.
- Я пойду, — сказала Света. — Работать надо.
- Ах да, работа, — грустным эхом отозвался Матюша. — Точно.
- Матюшина работа сводилась к подсчету посетителей сайта и написанию объявлений для контекстной рекламы. Несмотря на всю свою эпическую лень, делал он это неплохо. Он легко дал бы десять очков форы любому специалисту по поведению животных. Матюша знал, как ведут себя покупатели, знал, что надо сделать, чтобы заставить их приобрести нужный и ненужный товар. Он всегда с жаром принимался за новый проект, но быстро скисал, не умея контролировать себя. Он и толстел-то только потому, что не умел вовремя сдерживаться.
- Прошло несколько дней после того памятного разговора в столовой, и Матюша неожиданно обнаружил, что Света числится в том же подразделении, что и он сам.
- А Матвей поможет Светлане с метриками, — заявил на производственном совещании руководитель проектной группы Ганечкин.
- Да, конечно, — машинально ответил Матюша, ковыряясь в своем телефоне. — То есть как это — помогу? — вдруг сообразил он. — Погодите, погодите! На мне же еще игрушки висят, и электрогитары. У меня времени нет!
- Но все уже вышли из комнаты совещаний в коридор. Матюшин вопль отчаяния застрял где-то под потолком.

— Ну, отлично! — зло пробормотал он, швыряя телефон на стол.

Он и в самом деле ощутил неожиданно всю тяжесть свалившихся на него обязательств, накапливавшихся с каждым новым годом, все больше и больше, постепенно обвивающих шею, словно питон, кольцо за кольцом. Нормальные люди в подобных ситуациях психуют и увольняются или, на худой конец, берут отпуск и уезжают отдыхать в Таиланд. Но у Матюши было не очень хорошее резюме, и он боялся уходить — а вдруг он не найдет новую работу? Сразу начнутся проблемы, будет нечем платить за кабельное, мама опять пилить начнет. Нет, уж лучше терпеть до конца.

В этом дурном настроении он пришел к Свете и сказал:

— Давайте продвигать. Чего у вас там?

Света посмотрела на него со скептической усмешкой. В ее руках была чашка горячего кофе, а голову обдувал маленький вентилятор. Кажется, она уже обжилась в офисе.

— Русские планшетные компьютеры, — ответила она. — Фирма называется «Нанопад».

— Понятно, — кисло проговорил Матюша. — Пришлите мне всё на почту, я посмотрю.

Нанопады оказались, разумеется, китайского производства. Фирма закупала их в Харбине, привозила дальнобойщиками в Питер, здесь на нее наклеивали свою этикетку, а потом перепродавали.

— Инноваторы! — выругался Матюша, порывшись в документах и обнаружив подлог.

— Я вас не понимаю, Матвей, — спокойно сказала Света. — Мне казалось, вам все равно.

— Ничего мне не все равно! Шлак это, а не планшеты. Половина из них не включится, а другую половину принесут в сервисный центр через неделю.

— Вы не любите русские планшетные компьютеры?

— Я дерьмо не люблю, — раздраженно проговорил Матюша. — Ну, запустим мы контекстку. Ну, акцию какую-нибудь провернем. Толку-то? Всё равно на всех технофорумах будет вечный пожар. Это как из пистолета стрелять. Чем больше калибр — тем сильнее отдача. А если это попадет в блоги и какой-нибудь Антон Носик напишет про нанопады, то вообще задница будет.

— Просто сделайте свое дело. Придумайте объявления и посчитайте всё.

— А вам самой-то нравится это?

— Что конкретно?

— Ну, продавать русские планшетные компьютеры. Могли олимпийскую медаль получить, а вместо этого продаете русские планшетные компьютеры.

— Не ваше дело, — процедила Света сквозь зубы, и Матюше показалось, будто бы машина времени перенесла его в эпоху гугенотских войн и он сейчас стоит посреди Парижа с окровавленной шпагой в руках, а напротив него сжимает в руке кинжал остервенелая католичка.

Матюша растерянно улыбнулся и принялся за работу.

Около месяца они вдвоем только и занимались тем, что продвигали пресловутые «нанопады». Все случилось так, как и предсказывал Матюша: планшеты быстро расходились, но и столь же быстро возвращались на склад. Продажи начали падать.

— Плохо, — сказала Света, посмотрев присланные Матюшей метрики. — Что делать будем?

— К Ганечкину идти надо, — ответил Матюша. — Пересматривать бизнес-план.

Но руководитель проектной группы Ганечкин устроил им разнос.

— Спокойной ночи, малыши, честное пионерское. Один родит скоро, а вторая, видимо, все еще мечтает вернуться в большой спорт. Вы в реальном мире, мои дорогие любители телепередачи «В гостях у сказки». Вы или добиваетесь чего-то в этой жизни любыми способами, либо идете торговать сим-картами к метро. Третьего не дано. Неделю вам на улучшение показателей. Не получится — идете на хрен отсюда, оба. Это понятно?

— Понятно, — опустил голову Матюша.

Вниз ехали на лифте.

— Вот ведь с... — Света ударила кулаком по стенке, и одна из лампочек в лифте замигала и погасла. — Ненавижу! У нас в федерации был такой же кретин. Сначала: Светочка, Светочка, вы надежда нации, вторая Исинбаева, ля-ля-ля, тополя, а когда дело до реальной драки доходит, они сразу в кусты, всё за премиальные трясутся!

— Один писатель, — произнес Матюша, внимательно разглядывая содранную на ее руке кожу, — написал у себя в блоге, что подонки быстро находят друг друга и сбиваются в стаю, а вот порядочные люди совершенно неспособны на консолидацию.

— Толстой, что ли?

— Нет, другой. Толстой уже умер.

Несмотря на пережитое потрясение, лифт успешно доехал до первого этажа. Двери раскрылись.

— Я пиво пить пойду, — сказал Матюша. — Нажрусь нахрен, а завтра на работу не выйду. Или нет, приду и скажу, что больше не хочу работать в этом быдлятнике. В глаза скажу.

— Я тоже пиво пойду, — отозвалась девушка. — Только я не умею. Никогда не умела. Я выпью пятьдесят грамм, и у меня голова сразу болеть начинает, и больше пить не хочется.

— Надо себя заставлять, — усмехнулся Матюша. — Через «не хочу», через «не могу». Это как с шестом прыгать. В этом деле главное — концепция. Должна быть образующая идея, сверхзадача, как у Станиславского. Финал пьесы всегда непредсказуем, но сверхзадача должна быть и проходить сквозным действием через всю постановку.

— Например?

— Например, можно поставить себе цель пройти пешком за ночь от Петроградки до Купчино и в каждом попавшемся на глаза кабаке спрашивать, нет ли у них сырных шариков.

— Гениально.

Первые сырные шарики они нашли только за Невой. К тому времени они посетили уже восемь или девять баров и изрядно поднабрались.

— Слушай, Матюш, — сказала Света. — Я все хочу тебя спросить об одном. Ты же умный. Ты умнее всех в ВДВ и уж совершенно точно умнее говнюка Ганечкина. Ты разбираешься в товаре, разбираешься во всех этих интернет-технологиях, в которых я, если честно, ни хрена не смыслю. Почему же ты такой слабый?

— Я не знаю, — ответил Матюша грустно. — Упал, наверное, в какой-то момент, сбил планку. А подняться уже сил не хватило. А может быть, потому что я не люблю драться, доказывать что-то. Ну, какой смысл лезть с голой жопой на ежа? Ну, чего я добьюсь, если пойду сейчас с Ганечкиным воевать? Все беды людей от героизма, от желания пожертвовать собой во имя идеи. Вот ты, например. Ты зачем пошла с шестом прыгать?

— Ради России.

— А что тебе Россия дала взамен?

- А почему мне Россия должна давать что-то взамен?
- А почему ты на работу ходишь? Воздухом дышишь? Воду пьешь? Наверное, потому что ты что-то получаешь с этого.
- Ну, ты загнул. Ты не путай зарплату и метафизику.
- А я не путаю. Я всё очень трезво оцениваю. Давай еще по пятьдесят грамм возьмем.
- Давай.
- Еще через пару стопок они нашли наконец-то точку соприкосновения.
- Я хочу тебе признаться в одной страшной вещи, — сказал Матюша, окончательно уже пьяный. — Я в детстве был влюблен в Таню Овсиенко.
- Я тоже! — завопила Света. — Я обожаю Таню Овсиенко! «Вспооомни, капитан, жаркий летний наш роман, страсти ураган бился под тельняшкой...»
- До Купчино они так и не дошли. Полицейские забрали их, когда белая питерская ночь уже начала понемногу рассеиваться. Кажется, им не понравилась песня про капитана.
- Свету к полудню отпустили, а вот Матюшу оставили на пятнадцать суток, несмотря на все усилия приехавшей за ним мамы.
- Я сейчас такую кашу заварю, что вы ее вовек не расхлебаете! — кричала она.
- Я под танк в девяносто первом ложилась! Что вы мне свои протоколы показываете? Вы уж сразу танки вызывайте!
- Спустя пятнадцать суток отощавший на тюремных харчах Матюша приехал в офис забирать документы, полностью уверенный в том, что его давным-давно уволили.
- Ну, ты как? — сказала Света, обнимая его. — Готов к труду и обороне?
- Какому труду, Свет, ты чё, с дуба рухнула?
- А! Ты же не знаешь! Ганечкина уволили, представляешь? Наши эсбэшники поймали его на откате. Оказывается, ему нехило приплачивали за нанопады. Давай, давай, Матвей, поднимай сопли с пола. Нас ждут великие дела. Я сказала, что ты заболел. А еще про тебя генеральный спрашивал. Хотят сделать тебя руководителем проектной группы, вместо Ганечкина.
- Я не смогу. Я же толстяк.
- Сможешь, Матюша, сможешь.
- А секс у нас будет?
- Нет, котик.

Соня ТУЧИНСКАЯ

ЖИЛЬЦЫ

Из цикла: Выдуманнные рассказы

Я их не искала. Они сами меня находили. Начиналось, обычно, с телефонного звонка. И где только они брали мой номер?

— Можно посмотреть вашу студию?

— Мы не сдаем.

— Но у вас же все равно пусто внизу, и с мебелью, а мне жить негде. Ну, хоть на пару месяцев.

— Какого вы роста?

— А зачем вам?

— Если выше метра восьмидесяти, не тратьте зря время. Потолки внизу — два метра.

Роза и Муза

Первой студию обживала Роза. В низкие потолки она вписывалась с солидным зазором, сантиметров эдак в пятьдесят. Так что в этом смысле, Роза к нашему жилью вполне подходила. Перевозил ее сын — высокий невозмутимый красавец с роскошными мопассановскими усами. Роза не доставала ему до плеча. Было странно думать, что когда-то он целиком умещался в крошечном теле этой суетливой женщины. Сын приехал в Америку давно, и, по словам Розы, настолько «хорошо стоял», как она всем, включая нас с мужем, желала бы «стоять». Правда, о причине, позволившей сыну достичь такого благополучия, Роза умолчала. Почему он при таком достатке поместил ее жить в студии за гаражом, также осталось невыясненным. Зато прояснились другие, совершенно ненужные мне, детали из жизни Розиною первенца.

— А рост-то, рост, видели вы его рост? Мальчик таки был, не в року, огромный, на сухую не пролезал, а воды ж отошли, — говорила она так взволновано, как будто воды у нее отошли этой ночью, а не тридцать пять лет назад. Эту волнующую историю из области акушерства и гинекологии Роза поведала мне еще в гараже в первые пять минут нашего знакомства. Чтобы ненароком не услышал сын, которым Роза явно гордилась и, судя по всему, немножко побаивалась, говорила она почти шепотом, который влажной скороговоркой вливался мне в самое ухо. Тогда я еще не знала, что Роза обо всем без исключения говорит необычайно быстро и, как бы, слегка задыхаясь от волнения. Нескончаемый поток сознания изливался из нее свободно, как на кушетке у психоаналитика. Что-то в этой опасно-назойливой скороговорке и во всем Розином облике напоминало героиню известного чехов-

Соня Тучинская родилась и выросла в Ленинграде. Закончила ЛЭТИ. В прежней, до-эмигрантской жизни — инженер-электрик. С 1990 года живет в Сан Франциско, на регулярной основе проводя отпуска в родном городе. Пишет свое и переводит с английского. Рассказы, повести, публицистика, переводы — в «Звезде», «Нота Бене», в «22», в «Панораме», на портале Берковича «Заметки еврейской истории».

ского рассказа, которая по утрам «пила кофей безо всякого удовольствия». Не подозревая об этом, Роза была еврейской разновидностью этого бессмертного женского образа.

— Я по телефону забыла сказать, что с животными нельзя, — с трудом нашла я способ прервать Розу.

— А кошек, что ж, тоже нельзя? — почему-то переходя на еще более низкий шепот, спросила Роза, глядя на меня жалобными глазами чеховской просительницы.

— Нельзя, — строго подтвердила я. — А что, имеется кошка?

— Да нет жеш, — не очень уверенно сказала Роза. Но заметив мой насторожившийся взгляд, с досадой махнула рукой: «Та за каких кошек вы говорите? Кошки мои в Одессе все пооставались».

Несмотря на то, что знакомство с этой женщиной с самых первых минут отозвалось во мне тревожным предчувствием каких-то мелких неприятностей, выходило так, что по всем условиям Роза в жилички проходила.

Я показала ей, как прямо из студии выходить на задний дворик и договорилась о ежемесячной оплате — в начале следующего месяца за предыдущий.

Объяснять ей, или кому угодно, почему с животными нельзя, я не собиралась. Мой бедный муж за сомнительное счастье жить со мной под одной крышей никогда не мог завести себе ни попугая, ни канарейку, ни, даже, морскую свинку, не говоря уже о собаке, или кошке... Когда у человека с юности бессонница — его свет лунный донимает, а уж домашние животные в деревянном, насквозь прослушиваемом доме, точно — лишние. Из-за этого у меня всегда было какое-то неясное чувство вины перед ним. Если бы он женился на нормальной женщине, то, наверняка, завел бы дома целый зверинец. А так, у него был только аквариум. Огромный, роскошный аквариум с красивой подсветкой, с морской флорой на дне и рыбами неправдоподобно-экзотических форм и расцветок. Рыбы молчат — в этом их преимущество, но, с другой стороны, даже самую редкую золотую рыбку за ухом не потрепleshь. Каждый раз, когда он заигрывал на улице с чужими собаками или ласкал в гостях хозяйских кошек, я с грустью сознавала, что лишила его удовольствия, легко доступного любому другому смертному. Нечто похожее испытывает, наверное, бездетная женщина, когда видит, с какой радостью ее муж возится с соседскими ребятами.

Больше всего люди любят говорить о себе. Вот я, прямо на ваших глазах забросила Розу, как только заговорила о своей бессоннице. Хотя, вспоминать об этой женщине пока она жила у меня, мне, как раз, и хотелось не чаще одного раза в месяц — в день платежа. Просто в то время мне было вовсе не до жильцов. Если о Розином первенце можно было уже не волноваться, то наш как раз входил тогда в «переходный возраст» и до обморочного состояния пугал меня своими выходками. Каждый день новыми. Бесконечные вызовы в школу. Мелкое домашнее воровство. Заброшенные занятия скрипкой. Подозрительное окружение. Когда-то мне помогали такие старомодные средства от бессонницы как вечерние прогулки и стакан теплого молока на ночь. Но уже за полгода до появления в нашем доме Розы не помогало ничего, кроме убойных доз снотворного, да и с ними ни разу не удалось доспать до будильника. Ни сделанные на заказ деревянные жалюзи, которые не пропускали свет даже днем, ни сверхтехнологичный матрас, принимающий форму тела, не оправдали затрат.

Первую неделю Роза никак не обнаруживала своего присутствия. Живет себе человек и живет, никому не мешает. Вход, слава богу, отдельный. Неожиданности начались в конце второй недели. В субботу меня разбудил тошнотворно памятный

с детства запах. Так пахла лоснящаяся жидкость, столовую ложку которой в меня насильно вливали по утрам начиная со старшего ясельного возраста. Да, сомнений не было — в спальне стоял невыносимый запах разогретого рыбьего жира. Кому-то это могло бы показаться не стоящим внимания пустяком. Кому-то, но не мне, в чьем организме, благодаря многолетней пытке тресковым жиром, выработалось устойчивое отвращение к любым рыбным запахам.

— Теплый воздух поднимается вверх, — напомнил мне, обладающий патологической памятью на все, чему его учили с первого класса средней образовательной школы, муж. Вникнуть в подробности закона Гей-Люссака, которые он начал мне неторопливо излагать, я не успела, так как нечесаная в ночной рубашке метнулась вниз по лестнице и, не постучавшись, рывком открыла дверь в студию.

Розы в комнате не было. На столе, посреди неубранной с завтрака посуды, сидела... черная кошка и в упор смотрела на меня тревожными желтыми глазами. В следующее мгновение передо мной в режиме ускоренной перемотки промелькнуло все, что я слышала, читала или знала о людях-оборотнях, с небольшой остановкой сознания на голливудском сюжете «женщина-кошка». Одного этого сюжета вполне хватило бы на месяц вперед чтобы удовлетворить мою детскую страсть к сюрпризам, но в комнате в то утро обнаружился еще один загадочный предмет — православный образок, скромно притулившись к задней стенке пустой книжной полки. Осмыслить причину появления иконки я была уже не в состоянии, так как сознание мое было на тот момент полностью оккупировано сколь внезапным, столь и чудесным преобразованием Розы в домашнее животное.

В комнате стояла невыносимая рыбная вонь. На отгороженной прилавком кухне исходило зловещим бульканьем и паром варево, источавшее то самое зловонье, которое за считанные минуты успело превратить мою спальню в непригодное для жизни помещение.

В последующие пять минут между мной и возникшей из заднего двора Розой (о, какую неподдельную радость испытала я в то утро, увидев на пороге студии свою постоянщицу) произошел напряженный диалог, в результате которого мне открылось:

Что контрабандную кошку зовут Муза.

Что ее вчера тайно внес в Розино жилище сын.

Что Муза не может жить без отварных лососевых животиков из русского магазина.

И, что Роза, в свою очередь, не может жить без Музы, которую она везла с собой из Одессы в специальной клетке, за что уплатила авиакомпании 200 долларов наличными.

В ответ на это драматическое признание Розе было предложено покинуть студию, причем, в самом ближайшем будущем. В глубине души я даже обрадовалась такому простому способу избавиться от этой женщины. Совесть моя при этом оставалась чиста. Ведь решение аннулировать договор, условия которого злостно и умышленно нарушены одной из сторон, более чем справедливо.

Увы, принять справедливое решение — это одно. Это может любой. А вот привести его в исполнение — дано не всем. Розе было шестьдесят четыре года. У нее ничего не было. Ни мужа, ни денег, ни английского. Зато были неухоженные волосы, велфер и злая невестка.

— А что ж, вы нас с Музой моей на улицу выкинете? К сыну ж нам возврата нет, там жеш невестка, — причитала Роза, ритмично, как часовой маятник, поводя головой слева направо — справа налево. При этом горестном раскачивании легкие ее волосы как феном разметало в разные стороны, и белоснежные корни предательски, аж на целых полпальца выступили посреди кокетливых рыжих кудряшек.

«Хну, наверняка, привезла из Одессы и раз в квартал сама втирает ее в свою дурную голову старой зубной щеткой. На велфер в парикмахерскую не набегаешь-ся», — думала я, оглядывая небогатое Розино житье-бытье.

Взгляд мой упал на стоящий в углу фикус, и я с грустью подумала, что все мы, как можем, обустроиваем на новом месте свою прежнюю вселенную. Треснутый горшок с фикусом каким-то непостижимым образом напомнил мне сиротскую неприкаянность первых лет эмиграции. И город, и люди — все чужое, ненужное... И страшная, на уровне бреда или душевной болезни, годами неутрахающая тоска по дому...

Так воображаемая зубная щетка с побуревшей от хны щетиной и более чем реальный фикус в ностальгически-треснувшей кадке решили судьбу Розы и Музы еще на год.

Я предложила перевести Музу на сухой кошачий корм. Роза гордо отказалась: «Та вы ж не знаете мою Музу. Она ж не дурная, чтоб рыбу на кегли сухие обменивать». Сошлись на том, что любимое кушанье для капризной Розиною любимицы будет готовиться не чаще одного раза в неделю по понедельникам, а я в этот день, уходя на работу, буду плотно закрывать окна своей спальни.

Со временем Розина жизнь стала входить в нормальную колею. Она начала посещать бесплатные английские курсы. И даже вставлять в разговор отдельные английские словечки. В основном, это почему-то касалось слова bus. Роза говорила: «я приехала басом». Или — «в базе китайцев — выдохнуть негде». Последняя фраза содержала намек на недовольство Розы этническим составом нашего интернационального района, в котором китайцы, действительно, составляли большинство. Китайнок она упорно именовала «китайками». Оказалось, что Роза была стихийной, неосознанной расисткой: то есть всех непохожих на себя людей считала как бы некоей досадной ошибкой природы. Поэтому было бы ошибочно предположить, что презирала она исключительно представителей монголоидной расы. Избегая дискриминации по этому признаку, она ничуть не меньше презирала, к примеру, негров. В центре города, куда она ездила постигать премудрости английского, ее не на шутку встревожило заметное преобладание черного населения.

«Понаехало ж бандюгов со всей Африки. Куда ж только начальство смотрит?» — жаловалась Роза.

Выяснилось, что простодушное незнание истории зашло у Розы так далеко, что она считала американских негров такими же недавними эмигрантами, как и она сама. С той лишь разницей, что ей пришлось в поисках счастья покинуть любимую Одессу, а неграм — родной африканский берег.

В своем дикарском невежестве Роза не только пребывала, но и упорствовала. Когда я попыталась рассказать ей о Гражданской войне между Севером и Югом, она равнодушно отмахнулась. Нас рознило все. Даже праздники. Она отмечала 8-е марта и Новый год по грегорианскому календарю. Мы — еврейский Новый год и песах. На песах мы, невзирая на наличие иконки и не задавая лишних вопросов, пригласили ее к себе. К истории Исхода Роза проявила такое же обидное равнодушие как и к истории Америки. Весь вечер, пока гости по очереди читали Агаду, Роза откровенно скучала, но заметно оживилась, как только вместо бессмысленно-частых обмакиваний непонятных предметов в соленую воду подали, наконец, бульон с клецками из мацы. Бульон с клецками Роза уважала.

На какое-то время мы совершенно забыли о Розе пока однажды, вернувшись с работы, не услышали на автоответчике вежливую просьбу как можно быстрее

подъехать в ближайшее отделение полиции. На дворе было начало апреля — время школьных каникул. Сын, который за очередное мелкое хулиганство был посажен нами «под домашний арест», дома обнаружен не был. Это привело меня в ярость. По дороге я мысленно репетировала речь, в которой, как сейчас помню, несколько раз встречалось слово «доколе». Где в тот далекий весенний вечер был сын, не помню. Но в полицейском участке нас ждал не он.

На краешке казенного стула в местном отделении полиции сидела, кто бы мог подумать? — сладкая парочка, Роза и Муза. Муза нагло развалилась на коленях хозяйки, чьи ноги в желтых детских сандалиях и носочках с кремовой каемочкой довольно основательно доставали до пола. Роза громко, отдельно и с выражением говорила что-то двум необычайно заинтересованно внимающим ей черным полицейским. Свои мысли Роза излагала на единственно доступном ей языке, т.е. на русском. Это известный феномен. Люди, не владеющие языками, считают, что если очень медленно и громко говорить на родном языке, то шанс, что бестолковые иностранцы тебя поймут, резко возрастает. Точное содержание монолога Розы в полицейском участке память моя, увы, не сохранила. Но, клянусь, если бы я услышала: «На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой», — то ничуть не удивилась бы. Муза равнодушно скользнула по нашим физиономиям наглыми желтыми фарами с вертикальными отрезками зрачков и брезгливо отвернулась. Роза и полицейские, напротив, очень обрадовались нашему приходу. Из разговора с полицейскими выяснялось, что они приехали по звонку нашего соседа, который из окна спальни увидел на своем заднем дворе совершенно незнакомую ему женщину с черной кошкой на руках.

Земля в наших краях стоит дорого и поэтому дома, разделенные на задних дворах заборами, стоят впритык. В этот злополучный день Муза внезапно решила прогуляться на соседском участке, проникнув туда через прореху в прохудившемся заборе. Роза, «спасая Музу», бесстрашно последовала за ней. Этот трюк удался ей исключительно благодаря ее на зависть миниатюрному сложению. Меня, к примеру, намертво заклинило бы на перевале. На ее счастье, Роза, попав в полицию, не растерялась и даже сумела воспроизвести на бумаге наш телефон.

По пути домой Роза необычайно одобрительно отзывалась о черных полицейских, которые, невзирая на цвет кожи, понравились ей своей обходительностью. В свою очередь муж, с присущей ему обстоятельностью, начал излагать Розе юридические основы американского законодательства о неприкосновенности жилища. Но, сформированное при развитом социализме сознание Розы напрочь, с самого порога отвергало неприглядную сущность этих диких законов. Тогда я сказала:

— Роза, если вы еще раз это сделаете, вас посадят в тюрьму. И никто вам не поможет. Ни мы, ни сын.

— Так лучше ж мне в тюрьму, чем моей Музочке пропасть, — недрогнувшим голосом сказала Роза.

Я откровенно позавидовала Музе. В моем окружении не было никого, кто не раздумывая выразил бы желание отправиться из-за меня в тюрьму.

Прошло еще несколько месяцев, и Роза сообщила нам, что стоит в очереди на субсидированную квартиру, куда и собирается перебраться, как только ей исполнится шестьдесят пять. Юбилей Роза торжественно отметила в самом престижном русском ресторане. Все праздничные расходы взял на себя сын. Мы тоже оказались среди приглашенных, но под вежливым предлогом не пошли, хотя соблазн понаблюдать Розу в родной среде обитания был велик.

Вскоре после юбилея Роза и Муза исчезли. По-английски — не прощаясь. Встревоженные странным обстоятельством, что комната за гаражом вот уже несколько дней не подает признаков жизни, мы постучали в дверь. Ответом нам была тишина. В опустевшей студии, как в подъезде старого ленинградского дома, воняло кошками. В кладовой сиротливо покачивались пустые вешалки. На столе лежали ключи.

Все гениальное — просто. Пока мы были на работе Роза вместе с Музой, фикусом и иконкой поменяла место жительства.

Сын наш необычайно обрадовался внезапно вернувшейся в его распоряжение студии.

— Так вам и надо! Я вообще был против сдавать нижнюю комнату — весело заявил он, узнав из наших разговоров, что жильцы съехали, не сказав «до свидания» и не заплатив за последний месяц.

— Ты, вообще, молчи, — сказала я, — Роза с Музой — ангелы перед тобой.

А сама подумала, что я тоже «против сдавать нижнюю комнату».

— Роза с Музой были нашими первыми жильцами, но они же будут и последними — пообещала я самой себе.

Птицелов

Со временем образы Розы и Музы потускнели и почти стерлись из нашей памяти. Так же, как из самой студии почти бесследно выветрился нечистый, хотя и вечно волнующий запах ленинградского подъезда. Невзирая на это я стойко отвечала «нет» на редкие звонки соискателей комнаты за гаражом. Но в один прекрасный день произошла непредвиденная осечка.

«Недавно приехал... С мамой... Снимал меблированную квартиру... Мама умерла месяц назад... Работы пока нет... Одному квартиру не вытянуть... Разрешите взглянуть на вашу студию», — нетребовательно, тихо, как будто через силу... Наверное, все дело было именно в этом изумительного тембра и кротости голосе, а не в печальных обстоятельствах чужой жизни. Те, у кого не было «обстоятельств» никогда не звонили. «Наверняка, москвич или, наш, питерский», — подумала я, распознав привычную уху манеру произносить гласные, и назначила день и время.

В назначенное время раздался робкий звонок. То, что я увидела, заставило меня в изумлении шарахнуться вглубь гаража: на пороге стоял исполинского роста... мальчик. Чудовищный этот ребенок был одет в коротенькую бежевую курточку с капюшоном. Бесплезно-длинные руки выпрастывались из рукавов как у дитяти давно переросшего свои одежды. По-детски обветренные, они безвольно свисали вдоль нескончаемо-долгого туловища. Голова отрока как у гигантских рептилий юрского периода была непропорционально маленькой и терялась где-то в поднебесье. На лице блуждала безобразная в своей неестественной напряженности улыбка. Надо сказать, что рассмотреть это при моем росте, не свернув себе шеи, было не просто.

Спустя мгновение стало понятно, что это вовсе не мальчик, а мужчина лет, эдак, сорока с прямой полуседой челкой поперек лба и скорбными глазами под длинными пушистыми ресницами. Странно, очень странно выглядел этот человек. Как если бы кто-то, дожив до сорока, все это время ни на один час не прекращал вытягиваться в длину. И звали его по-детски — Юлик. Так он, по крайней мере, представился, старомодно склонив голову.

«Юлик» — это, наверняка, мать его так называла. Прожил с нею всю жизнь, вот и привык. Представляю, как она его любила. Как все другие матери, только еще больше. Потому, что ребенок ее такой... не такой, как все, несуразный, нелепый, никому, кроме нее, ненужный. Знакомила его с дочерьми сослуживцев, подруг... да какое там... как же страшно ей было умирать, зная, что она оставляет его одного» — впала я в то состояние легкого транса, при котором могу угадывать прошлое мало-знакомых мне людей.

Это способность обнаружилась у меня давно, еще в нежном отроческом возрасте, а со временем сделалась рутинной. Случайной ее жертвой мог стать кто угодно: полубезумная старуха, заговорившая со мной на остановке питерского трамвая или шофер такси с речью и внешностью университетского профессора, а сегодня вот — жильцы, Юлик. Забавно, что глядя на мое враз поглупевшее, с полуоткрытым ртом и немигающими глазами лицо, никто из них не подозревает, что в этот момент в голове моей неясно вырисовывается драматическая канва их единственной и неповторимой жизни.

А, между тем, Юлик, стоящий в проеме гаража, продолжал застенчиво-выжидательно улыбаться. Во время телефонного разговора ему по халатности не были выставлены два сакральных условия — про рост и домашних животных. Так что он еще не знал, что в высоту примерно на полторы головы превосходит положенные размеры, о чем мне и пришлось с сожалением ему сообщить.

— У меня абсолютно безвыходная ситуация, можно я все-таки взгляну на вашу студию? — тихо спросил Юлик, печально взирая на меня откуда-то с высоты птичьего полета.

Чтобы произнести эти слова, ему пришлось сделать над собой видимое усилие. Лицо его приобрело при этом еще более страдальческое выражение.

Так Юлик стал у нас жить.

Потолок в студии приподняли на пять сантиметров за счет снятия звуковой изоляции. Что касается душевой, то там пришлось поставить стул, а иначе наш новый жилец уперся бы затылком в самый ее потолок. О строжайшем эмбарго на внос в дом всех видов домашних животных было объявлено в день въезда. Хотя Юлику было явно не до морских свинок. Переехав к нам с двумя чемоданами, в одном из которых были книги по физике, он немедленно начал искать работу по специальности; кажется, это было что-то связанное с «физикой полимеров» или с чем-то еще абсолютно мне чуждым.

Чтобы получить работу нужно пройти интервью. С этим у нашего жильца возникли вполне предсказуемые трудности. Он никак не мог научиться двум простым, но необходимым вещам: на протяжении всего интервью смотреть в глаза собеседнику и энергично трясти его руку на входе и выходе, сопровождая этот процесс широкой американской улыбкой. «Интервью» проходили у нас так. Робко постучав в дверь, он, нелепо перебирая огромными ногами, подходил к столу. Вместо мужественного рукопожатия у него выходило осторожное касание. Вместо белозубого американского оскала — виноватая улыбка. Я продолжала стоять, а он утонул в кресле, как будто хотел уменьшиться в размерах или, лучше того, вообще испариться. При такой расстановке тел в пространстве глаза наши находились примерно на одном уровне. Каждый раз, отвечая на первый и обязательный вопрос любого интервью — расскажите пожалуйста о себе — Юлик, в грубое нарушение инструкции, упорно отводил глаза. По-английски он говорил совершенно свободно, но это не снимало ужасной его скованности. «Не тратьте на меня время, все равно ни-

чего не получится» — говорил он, печально глядя из под пушистых ресниц куда-то в сторону.

Но у него — получилось. Просто население этого непостижимого города настолько близко подпадает под максимум: «Я странен; а не странен кто ж?», что при найме на работу здесь не так уж обращают внимание на индивидуальные чудачества, а иначе пришлось бы отказывать каждому второму.

На работу в центр города мы стали ездить вместе. Пешком шли одну остановку в сторону океанской набережной, где естественным образом завершался маршрут трамвая, связывающего наш «спальный район» с центром города. В трамвае Юлик чудодейственно преображался. Из нелепого, закомплексованного подростка превращался в обычного сорокалетнего мужчину достаточно свойского, чтобы, произвольно меняя темы, болтать с ним о чем угодно. Прошло какое-то время, пока до меня дошло, что когда собеседник сидит рядом, а не напротив, нет необходимости смотреть ему в глаза. Может быть, в прошлой жизни Юлик был каким-нибудь огромным добрым псом, например, сенбернаром, а собаки, как известно, не выносят прямого человеческого взгляда. По-крайней мере, другого разумного объяснения удивительной метаморфозе, приключавшейся в общественном транспорте с нашим постояльцем, у меня нет.

Оказалось, что родились мы в одном и том же ленинградском роддоме на Чернышевского. Оба провели детство на Песках, я — на 10-й Советской, а он, совсем рядом — на Суворовском. С юности любим ранние рассказы Катаева и поэзию Багрицкого. В первые годы перестройки он, и это меня немало удивило, тоже ходил на контр-митинги у Казанского. Но быстро перестал. Не умел, так же как и я, вместе с толпой скандировать лозунги, какими бы правильными они ему ни казались.

Но многое нас и рознило. К нему, семилетнему, каждую неделю приходил домой учитель музыки и английского, а в шахматный кружок при Дворце пионеров на Невском возила бабушка. Меня же вообще ничему не учили. Не до того было. А бабушки у меня и вовсе не было как, впрочем, и дедушки. Они все остались лежать там, во рвах, далеко от Ленинграда... Заниматься музыкой он не хотел, но покорно садился за инструмент, чтобы не огорчать маму. Папа ходил с ним по воскресеньям на Птичий Рынок у кинотеатра «Гигант» и покупал ему там канареек и волнистых попугайчиков, и это осталось лучшим воспоминанием его детства (если бы я умела прозревать не только прошлое, но и будущее — в этом месте его рассказа я бы непременно насторожилась). «Мама» и «папа» звучали из уст этого гиганта детски трогательно и нелепо, но, именно так и только так, он их называл.

Лишь об одном он никогда не заговаривал, а я не спрашивала — о своем тотальном одиночестве. Некоторую ясность в этот вопрос внес, как это ни странно, мой отец. Старик высадил в нашем саду кусты малины какого-то редкостного сорта и, время от времени, наносил нам неожиданные визиты с целью проведать своих питомцев а, заодно, наставить на путь истинный продолжающего «бузить» внука. В один из таких дней я и представила ему Юлика. Пытаясь получше разглядеть его, любопытный старик, который с годами стал одного со мной роста, так резко запрокинул голову, что с головы у него слетела кепка, которую Юлик тотчас бросился поднимать и даже нахлобучивать обеими руками на разоренное старостью темя моего родителя. От своей собственной дерзости постоялец наш так чудовищно смутился, что не знал куда дальше девать ненужные ему руки.

Знакомство с Юликом привело старика в заметное волнение. Он тут же начал доносить меня вопросами о его семейном положении. Чтобы понять причины столь пристального интереса моего отца к личной жизни совершенно незнакомого ему человека, придется рассказать об одном его давнем и бескорыстном увлечении.

Еще в Ленинграде, работая во вредном цеху одного из самых страшных ленинградских предприятий, он много лет и вполне успешно исполнял добровольно взваленные на себя обязанности заводской свахи. Причем, заметьте, без брачного агентства, компьютеров, опросных анкет и прочей современной дребедени. Вот эту умильную историю про корейцев, я помню до сих пор:

— А я познакомил одного корейца из нашего цеха с корейночкой из галошного. Ей даже фамилию не надо менять. Она — Ким, и он — Ким. Здорово, а?

— Здорово — не то слово. Но если бы ты познакомил евреев с еврейками, было бы еще лучше.

— Если бы, да кабы... Где я тебе евреев-то у нас возьму. Ну, я, это... все равно, только нацменьшинства знакомлю.

— ?

— А чего, русских и так много, пускай другие нации тоже размножаются.

Вот теперь, я думаю, понятно, почему неугомонный старик так разволновался. Ведь в лице Юлика он заполучал небывалого для него клиента, который был одновременно и холостяком и представителем самого почетного в папиных глазах нацменьшинства. Понимая, что такая удача приходит не часто, старый сводник сделался буквально одержим мыслью женить Юлика «на какой-нибудь хорошей еврейской женщине». Правда, его тут же начали одолевать сомнения: «А где взять такую высокую? У меня на примете пока никого нет». Мне пришлось охладить его пыл строжайшим запретом задавать Юлику какие-либо вопросы, касающиеся этой деликатной темы. Но, упрямый старик, немедля нарушив мое наставление, без труда поставил печальный диагноз: «Прощупал я жильца вашего насчет женитьбы. Странный он какой-то. Видать, не по этой части».

Увы, то, что Юлик был не «по этой части» приходило в голову не только моему отцу.

Он никогда не упоминал не то, чтобы о женщинах, оставленных в Ленинграде, но и вообще, о каком бы то ни было дружеском круге — приятелях или хотя бы знакомых. Да, и здесь у него никого не было. Даже в выходные никто не приходил к нему в гости. Никто не звал к себе. Получалось, что с первого нашего разговора, я правильно угадала, что единственным его другом была мать.

Для нас же, с какой стороны ни посмотри, лучшего жильца, чем Юлик и вообразить было нельзя. Мы все его полюбили и время от времени приглашали наверх, к чаю или к обеду. Деликатность его была какого-то ангельского свойства. Особенно заметно проявлялась она, когда мы начинали громко выговаривать сыну за участие в очередных, далеко уже недетских шалостях, а он в ответ огрызался еще громче, ну, а мы — еще громче. Юлик в этих случаях переставал двигать челюстями и цепенел, как в игре нашего детства «замри-отомри». При этом в глазах его отражался неподдельный ужас человека, выросшего в семье, где никогда не повышали голоса. Муж играл с ним в шахматы и говорил о всяких недоступных мне научных материях. Поступивший (к нашему изумлению) в университет сын обращался к нему с вопросами по физике, а, заметив, что мы избегаем выяснять отношения с ним в присутствии постояльца, смысленный юноша сам охотно спускался вниз, чтобы позвать Юлика к обеду.

Эта почти семейная идиллия длилась довольно долго, пока я не стала просыпаться на рассвете от непривычно громкого птичьего гомона. Все говорило в пользу того, что рассыпчатые трели доносятся вовсе не из сада, а из нижней комнаты, где обитал Юлик. Решив, что на почве хронического недосыпа у меня начались звуковые галлюцинации, я ни с кем не стала делиться этими тревожными

симптомами, понадеявшись, что они каким-то чудодейственным образом исчезнут сами. Но время шло, а зловещая какофония, доносящаяся из нижней комнаты, продолжала неотступно терзать мой измученный бессонницей рассудок.

Радиус темных полукружий под глазами рос угрожающими темпами. Дома я пугала мужа тем, что часто и безо всякой причины стала впадать в плаксивую истерику. На работе грубо оборвала своего сослуживца по поводу какой-то невинной шутки в свой адрес, которая вдруг показалась мне нестерпимо пошлой, хотя раньше мне было бы на это ровным счетом наплевать.

Но, как верно было подмечено две тысячи лет тому назад, «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». На мое счастье «сокровенное обнаружилось» до того, как я потеряла работу и мужа.

А произошло это так. Очередным бессонным утром что-то вдруг молнией ударило мне в голову с такой силой, что я вскочила на ноги и стала быстро ходить по комнате, приговаривая в такт шагам:

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти.

Да, да, конечно, сомнений быть не могло. «Дидель весел, Дидель может песни петь и птиц ловить»... «Птицелов»... Помешательство молодого Багрицкого на птичках. «Бездельник Эдуард» раннего Катаева как раз об этом. И, к тому же, папа, птичий рынок, канарейки-попугайчики, лучшее воспоминание детства. Как же я сразу не догадалась: звуковая изоляция снята... слышимость адская... коварный Юлик...

Ну что ж, это даже интересно, как все повторяется. Но не бежать же в пять утра вниз, чтобы воочию убедиться в своей правоте. Нет, нужно дождаться вечера и спокойно спросить его, как бы между прочим...

Вечернее дознание напоминало знаменитую сцену в пивбаре из «Берегись автомобиля». В роли следователя Подберезовикова выступала я, в роли «добрного» преступника Деточкина — Юлик.

— Сколько?

— Что «сколько»?

— Сколько канареек и попугаев вы успели развести в нашем доме?

— Пять клеток с волнистыми попугайчиками, по паре в каждой. Десять клеток с кенарами и еще две — парные, в них ждут птенцов, — чистосердечно признался по-детски правдивый Юлик.

И, неправильно расценив сосредоточенный интерес, с которым я его слушала, продолжил:

— Я держу только отборные певчие породы. Кенар поет лучше самочки. Но если их посадить вместе, кенар почти замолкает. Поэтому их надо держать по одному в клетке. А, вообще, они хорошо размножаются и легко берут русский овсяночный напев...

— Ах, вот в чем дело, — угрожающе тихим голосом прервала я его увлекательный экскурс в историю канареечного дела, — у вас размножаются и берут напев, а у нас была студия, а стал — филиал зоомагазина?

— Просто я никогда вам не говорил... Я не могу жить без птиц. Без певчих птиц, — морщась как от боли, сказал он.

— Вы нарушили условия договора.

— Но, кому — спросил он, в недоумении разводя огромными, как лопасти снегоуборочной машины, руками, — могут помешать певчие птицы? Еще я хотел сказать — внизу развелись мыши, их довольно много, и, наверное, следует что-то предпринять... Это из-за корма, который летит из клеток... Трудно усмотреть...

— О, боже! Только этого... Вообще-то, безличная форма здесь не совсем уместна, — голос мой заметно набирал децибелы, — мыши не раз-во-дя-тся, мышей «РАЗ-ВО-Д-Я-Я-Я-Т», — дурным голосом завопила я в сторону окаменевшего от ужаса Юлика. Видимо, в этот момент щемящий образ Деточкина отодвинулся куда-то на периферию моего сознания.

— Я возьму все убытки. Простите меня. Я не думал...

Мышей извел муж. Тут требовалась известная сноровка, так как до полного окончания проекта я наотрез отказалась спускаться к стиральной машине, стоящей в гараже. В ход пошли как высокие технологии в виде электронных отпугивателей, так и традиционные методы. Юлик добросовестно закладывал в мышеловки кусочки сыра, но от процесса извлечения из них тушек доверчивых грызунов уклонялся, как мог. Так что это почетное занятие тоже целиком пало на мужа.

Вскорости Юлик начал искать новое жилье. Оказалось, что дело было не только в нас. Хороший уход за канарейками способствовал их необычайно успешному воспроизводству, что, в свою очередь, требовало значительного расширения жилплощади.

— Певчих канареек нужно хотя бы раз в день выпускать из клеток, а иначе они могут потерять голос или даже умереть. А моим у вас стало тесновато. Мой лучший кенар скончался на прошлой неделе, — на прощание поделился со мной Юлик.

В голосе его при этом звучала глубокая печаль. Так поклонники знаменитого тенора могли бы сожалеть о преждевременной кончине своего кумира.

Накануне его переезда мы устроили праздничный ужин с шампанским и цыпленком табака. За столом Юлик, ни к месту принарядившийся в белую рубашку и черные брюки, попытался встать, чтобы произнести тост, но мы убедили его, что это можно сделать сидя. Сначала он извинялся и благодарил, а потом сказал:

— Я прошу в знак благодарности принять от меня подарок. Пусть у вас останутся на память Кеша и Кира.

Сдавленное хихиканье, раздавшееся в этот момент, не помешало Юлику закончить свой тост на оптимистической ноте:

— Это даже научно подтверждено, что пение канареек хорошо влияет на психику, успокаивает нервы, и отношения в семье становятся лучше...

На следующий день вечером я зашла в опустевшую студию. Она была чисто убрана. На столе стояла ваза с белыми гладиолусами на невообразимо длинных ножках с еще скрученными в трубочки, и только начинающими распускаться бутонами. Ваза была слишком узкой для такого громадного букета и стебли, выталкивая друг друга, стрельчато выпрастывались из нее к потолку.

Рядом с вазой лежал конверт. На нем было написано мое имя. Я открыла его, достала открытку с изображением какой-то милейшей пичуги в фантастически ярком оперении и прочла:

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

Оба раза имя «Марта» было перечеркнуто и поверх дважды заменено моим.

Леночка

Не успел в комнате за гаражом увянуть роскошный букет белых гладиолусов, как в ней объявился новый жилец. Вернее, жиличка. Привела ее моя знакомая. Мы когда-то начинали вместе, буквально прилетели на одном самолете, и с тех пор встречались раз в год в этот день у них или у нас. Кроме этой общей даты нас давно уже ничего не связывало. Но отказать ей я не могла.

— Выручи, — взмолилась она. — Одноклассница бывшая. Шестой месяц в проходной у меня живет. Сил моих больше нет.

История Леночки, так звали ее гостью, легко могла послужить сюжетом современного плутовского романа о похождениях молодой русской авантюристки.

В конце 90-х жена известного в Хабаровске футбольного тренера и мать трехгодовалого ребенка взяла в банке ссуду на открытие ресторана в престижном районе города. Дело так резко пошло в гору, что через полгода сюжет о ресторане и его хозяйке транслировался по местному телевидению в качестве примера успешного частного предпринимательства. В те годы действовала американская программа «Next Generation», созданная для развития бизнеса в стране, которую еще недавно числилась «врагом номер один». Предприимчивой Леночке предложили в составе группы молодых бизнесменов проехаться по крупным городам западного побережья Соединенных Штатов, чтобы поучиться тонкостям ведения ресторанного бизнеса. Бездушные янки в Американском консульстве города Владивосток взяли с нее подписку, что она в положенный срок вернется на родину. Но она не только не вернулась, а в самое кратчайшее время получила вид на жительство. А самое невероятное в этой истории то, что Леночка сумела прибиться к одной хорошо известной мне еврейской конторе, оплатившей ей высоко котируемые среди эмигрантов курсы медсестер.

Почему она нарушила слово и не вернулась домой к малолетнему сыну и мужу-тренеру, и как ей, русской, да еще владелице успешного бизнеса удалось стать клиенткой благотворительной еврейской организации — об этом моя знакомая умолчала.

Не вникая в детали, я просто выполнила чужую просьбу — взяла Леночку на постой.

К появлению новой жилички я отнеслась довольно равнодушно. А вот у нашего сына-студента Леночка вызвала живейший интерес. Он пребывал еще в том незрелом состоянии мужского ума, когда женщины оцениваются исключительно по достоинствам или недостаткам телосложения, а идеальные пропорции леночкиной фигуры бросались в глаза даже при самом мимолетном взгляде.

Сын, обладатель обманчивой славянской внешности, назойливо кружил вокруг нас, то и дело под какими-то фальшивыми предложениями вклиниваясь в разговор. Леночка, безошибочно отнеся это на свой счет, заметила с довольной улыбкой: «симпатичный какой, на Есенина молодого похож».

Странное дело, но улыбка, которая обычно красит самые невзрачные лица, придавала ей явное сходство с каким-то малопривлекательным зверьком из отряда мелких грызунов. Возможно, виною этому были слишком крупные передние зубы и бледные десны, которые чересчур высоко обнажались в улыбке. Но стоило улыбке исчезнуть, как Леночка вновь оборачивалась молодой, по-славянски милостивой женщиной.

От других эмигранток ее отличала свободная небрежность туалета, заметная в самых мелких деталях. И, пожалуй, это было то единственное, что мне в ней по-

нравилось. Короткие льняные шорты подчеркивали стройность ног, отполированных до гладкости морской гальки. К этому следует добавить холщовый рюкзачок за спиной, тряпичные тапки в бело-синюю полоску и схваченный резинкой тугий белобрысый хвостик, полуприкрытый цветной банданой. Что говорить, Леночка прекрасно усвоила тот непарадный легкомысленный стиль, который принят здесь всегда и везде кроме свадеб, похорон и офисов, да и то не всех. Возраст ее на первый взгляд определялся в широком диапазоне от двадцати пяти до сорока.

В первый же вечер Леночке был вручен длинный кондуит, содержащий перечень всех запрещенных животных, включая говорящих попугаев, дрессированных мышей и ручных питонов. Ознакомившись с ним, она, не задав ни единого вопроса, заметила, что в платяном шкафу недостает «плечиков». Просьба была вполне законная. Три огромных чемодана из Хабаровска, плотно набитых вещами требовали значительно больше вешалок, чем те, которыми легко обходились ее предшественники.

Интересно, что мой хваленый дар угадывать прошлое, с Леночкой не сработал. То есть, натурально, дал полный и абсолютный сбой. При первом разговоре с ней никаких видений в лице мужа-тренера и брошенного на его попечение младенца, не возникло, а так — забрезжило что-то муторное, с рваными краями, неопределенно-болотного цвета. Глупо, конечно, но я решила держаться от нее подальше и ни в какие обстоятельства ее жизни не вникать.

В конце разговора она сказала:

— А чего вы мне выкаете? Я вроде моложе вас буду. И, вообще, я больше на «ты» привыкла.

— А я, как раз, больше на «вы», — сказала я, наивно полагая, что этим раз и навсегда устанавливаю дистанцию между нами.

Никакой дистанции, однако, не понадобилось. Весь первый месяц снизу не доносилось ни шорохов, ни запахов, ни звуков. Казалось, что в комнате за гаражом обитает святой дух. Частично, это было именно так. Плитой Леночка принципиально не пользовалась, а жизненные силы поддерживала исключительно амброзией из клубники и цитрусовых. Чай кипятила в микроволновке. Истину, заключенную в двустрочьи «если есть у женщины фигура, женщина уже совсем не дура», она чуяла безошибочным инстинктом зверька. Вот почему, только изредка этот неземной рацион нарушался бутербродами с соленым лососем, к коим Леночка пристрастилась еще в Хабаровске, городе на реке Амур, известном своим рыбным промыслом.

Изнурительная диета, которой неукоснительно и с большой пользой для себя придерживалась Леночка служила мне самой немой укором. За последние десять лет мне не удалось похудеть ни на грамм, не говоря о намеченных десяти фунтах. Хотя, для каждого, кто меня знает, очевидно, что и этих десяти было бы совершенно недостаточно. Достижению этой скромной цели — всего один фунт в год! — мешал притаившийся во мне врожденный и потому неизлечимый дефект. С раннего детства я любила сам процесс потребления пищи. Кроме рыбьего жира мне нравилось буквально все, что родители вкладывали в мой рот... даже манная каша, которая вызывала рвотный рефлекс у большинства нормальных детей. Уже здесь, живя в полном достатке я могла в одиночестве под ломоть черного хлеба потребить банку шпротного паштета, которым наиболее уважающие себя питерские алкаши брезговали еще в годы полного застоя. Возможно, что в этом рискованном акте кроме основного базового дефекта неосознанно проявлялась моя неутраченная тоска по прошлой жизни...

Через месяц Леночка попросила о помощи. Лето кончалось, приближались курсы медсестер. Она приобрела новый компьютер, но не знала, что с ним делать. Я нехотя спустилась в студию. На полу в открытой коробке стоял компьютер. На кровати лежали детская одежда и игрушки: кукольного размера башмачки и джинсы вперемешку с жирафами и тиграми, с выпирающими от избытка поролона боками.

Заметив мой задержавшийся на этой странной картине взгляд, она деловито пояснила:

— Вот, посылку домой собираю.

Я промолчала.

— Сын у меня в Хабаровске остался. Ванечка, — также по-деловому сказала она, но на слове «Ванечка» голос ее предательски дрогнул.

Я продолжала возиться с компьютером, не проронив ни слова, но это ее ничуть не смущало.

— Ты не понимаешь, — переходя от возбуждения на «ты», продолжила она, — это был единственный шанс у меня. Если б мужу сказала, что останусь, он билеты на самолет порвал бы, не выпустил меня.

— Но почему вы не захотели вернуться домой? Вы же там родились? — спросила я, невольно выдавая, что знаю о ней больше, чем она успела рассказать.

— Ну, и что с того, что родилась? А если я там все ненавижу, — ответила Леночка и в глазах ее занялся какой-то нехороший огонек.

— Что все? — спросила я, тоскующая по городу своего детства ровно столько, сколько здесь живу.

— Все, говорю ж вам, все. Комары и пьянка. Больше там ничего нет. И бизнес был, и деньги, и машина. Все было. Ну и че толку? Мой день рожденья отмечаем, друзей позвали — мат, пьянка, блядство. На реку едем, на пикник, друзья позвали — мат, пьянка, блядство. А комары летом, во такие, не хочешь? — разводя большой и указательный палец на максимально возможное расстояние, азартно сказала она.

— А как же Ванечка? — с ужасом спросила я, оторвавшись от компьютера и бессознательно переводя взгляд на крошечные сандалики, грустно притулившись под боком у громадного пучеглазого хищника.

— А что Ванечка? Вот устроюсь здесь, найму опять адвокатов, отсужу у мужа. Будет мой ребенок жить по-человечески. Как люди живут. Я непьющая. Порядок люблю. Спортом люблю заниматься. Танцевать люблю, — с гордостью перечислила она свои основные достоинства.

— А каким спортом? — просто, чтобы поддержать разговор спросила я.

— В теннис люблю играть, на лыжах горных люблю кататься. А здесь в клуб престижный записалась. Танцы там для одиноких. Мужики все непьющие. Врачи есть, адвокаты. Сейчас свинг проходим и ламбаду.

Я молчала, думая о муках, которые будут одолевать ее при любой, самой мимолетной мысли о сыне. Но потом не смогла удержаться и спросила, как ей удалось получить направление на курсы медсестер.

— А я половину баксов, которые с собой привезла — в адвокатов американских вбухала. Доказала, что еврейка по бабушке. А у них — это значит еврейка и есть. И что значит надо мной дискриминация там была, — довольная собою, своей практичностью и правильным вложением денег охотно поделилась со мной Леночка.

Это «у них» не оставляло сомнений, что, став по случаю галахической еврейкой, она не догадывалась, что снимает студию у «своих». Не исключено, что именно роковое сходство нашего сына с молодым Есениным и сбило ее с толку.

— Но ведь у вас там был успешный бизнес. Как же удалось доказать про дискриминацию, — неизвестно для чего настаивала я.

— Не понимаете как? За деньги. Документы бабушке на еврейку переделали. Вот как. Мне здесь и мебель старую от евреев предлагали, а мне ни к чему. Подруга сказала — у вас с мебелью сдается.

Простодушная открытость, с какой Леночка поделилась со мной криминальной историей своей жизни, подкупала. Понятно, что после таких признаний ни о какой дистанции уже не могло быть и речи. Сказать откровенно, меня это не только не расстроило, а даже обрадовало. Леночка относилась к типу людей, которых в близком радиусе не было вокруг меня ни там, ни здесь. Но, именно новые непонятные мне люди, а не служба, природа или даже книги и вызывали у меня самый острый, хотя и не до конца бескорыстный интерес. Ведь каждый раз, говоря с ними, я как бы мысленно доставала записную книжку.

Больше всего я любила, когда она рассказывала мне свои сны.

— А мне вчера Бог приснился.

— Да ну? А как он выглядел?

— Ну, как — как? Как на картинках рисуют. Молодой такой, в балдахоне белом, волосы до плеч волнистые, а глаза грустные-грустные. Коричневые, вроде бы.

— А что он сказал?

— Ничего не сказал. Спросил только, — ну, как живешь? Я ему все рассказала.

— А он?

— А он посмотрел, внимательно так и сказал, что правильно я все делаю.

— Ну, а потом?

— А потом...взлетел...

Выучиться на медсестру в Америке — дело непростое. Для Леночки же оно оказалось почти непосильным. Выполнение многих заданий требовало хорошего английского и достаточно высокой компьютерной грамотности. Увы, и то и другое давалось ей с большим трудом. Услышав на курсах о каких-то коварных вирусах, которые через дискетки переносятся с одного компьютера на другой, она пришла в волнение и, не доверяя мне, спросила у мужа: «А для человека это не опасно?» Просто ко всему, что имело отношение к здоровью, Леночка относилась необычайно ответственно. Муж потом долго до всхлипов смеялся, но все равно никак не мог понять, почему я так охотно, по первому же зову спускаюсь в студию. Он не подозревал, что после каждой такой встречи моя воображаемая записная книжка пополнялась очередными бесценными записями: Там (в Хабаровске) я думала, что я нефотогигиеничная. А здесь смотрю — очень даже хорошо получилась. Главное, чтоб специалист настоящий снимал.

Кстати, этими снимками, на которых она была запечатлена во всяких кокетливо-журнальных позах, она одаривала своих партнеров по танцам, соперничающих друг с другом за право подбросить взмокшую от ламбады Леночку до дома.

В танцевальном клубе она пользовалась оглушительным успехом, а значит и правом выбора.

Выбор был настолько велик, что стали возникать известные сложности. Ниже адвокатов Леночка, разумеется, не опускалась. Но оказалось, что адвокаты тоже бывают разные. Интересно, что в сложной градации оплаты труда американских защитников Фемиды Леночка разобралась безо всякого труда. Именно от нее я узнала, «адвокаты по корпорациям» зарабатывают вдвое больше своих коллег «адвокатов по налогам».

Но «корпоративные» что-то не очень торопились в тот клуб, куда по пятницам ходила Леночка. Возможно, они посещали другие, еще более престижные танцевальные площадки. Так Леночка эмпирическим путем познала истину, что «за неимением гербовой, пишут на простой» и не стала пренебрегать адвокатами попроще.

Одного своего партнера по свингу и ламбаде она представила нам. Это был застенчивый, характерно лысеющий человек с кроткими близорукими глазами. С такими, как Джошуа, обычно знакомятся не на танцах, а в филармонии, но случилось то, что случилось. К моменту нашего знакомства Джошуа успел полностью потерять из-за Леночки голову, и, кроме этого, совершить еще две роковые ошибки.

Начать с того, что первая встреча, вопреки ожиданию, состоялась не в престижном ресторане в центре города, а в гостиной у Джошуа, где он накрыл «русский обед» на двоих — с шашлыком по-карски, салатом оливье и тортом «Крещатик». Продукты с недопустимо высоким уровнем холестерина были закуплены в русском магазине, находившемся почти в часе езды от его дома. Джошуа, не подозревавший об аскетической диете своей избранницы, рассчитывал, что выбор в пользу ее «национальной кухни» — это верный шаг в завоевании «загадочной русской души», о которой он столько читал у Достоевского.

Этой досадной тактической ошибкой дело, к сожалению, не ограничилось.

Узнав, что Леночка родилась и выросла в уссурийском крае, дотошный Джошуа проделал настоящее этнокультурологическое исследование, результатом чего стало приобретение удивительного подарка. В него вошли фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала» и книга «По Уссурийскому краю» краеведа В. Арсеньева, на русском языке. Имен Куросавы и Арсеньева Леночка никогда не слышала. О Дерсу Узале она что-то помнила еще со школы, но не испытывала к этому «малохольному чурке» ничего, кроме презрения. Но главный провал ждал Джошуа впереди. Если бы Джошуа умел читать чужие мысли, он никогда бы не предложил Леночке закончить вечер совместным просмотром шедевра Куросавы. Но он не умел читать чужие мысли и предложил. Ведь о давней неприязни Леночки к родному уссурийскому краю он, в отличие от меня, не знал ровным счетом ничего.

Так он совершил вторую, еще более непростительную ошибку, и шансы его, по совокупности, упали почти до нуля.

После этого судьба Джошуа оказалась, как это ни странно, в моих руках. Леночка, не подозревая еще, что это наш последний разговор, непременно хотела знать, какое впечатление ее поклонник произведет на меня.

— Ну, че, как он вам? — спросила она.

— По-моему, он чудный, — честно ответила я.

— А я че-то не могу, брезгую. Меня в принципе от «этого» (здесь она изобразила непристойный жест) воротит. А тут еще еврей. Меня прям плющит, как подумаю, что с ним надо... (она повторила похабный жест). Да еще, наверно, и жидюга, как они все. Видели, че подарил?

— А зачем же вы с ним на свидание пошли? — тихо спросила я.

— Ну, а как? Спонсор-то какой-то по-любасу нужен. Вон, вы, небось, с мужем ездите в горы на лыжах кататься?

— Нет, не езжу. Я не умею кататься на горных лыжах, — еще тише сказала я.

— А че ж вы так? А я еще как умею. А за маскарад-то этот, лыжи, костюмы, подъемники, — знаете сколько зеленых отстегивать надо. Без спонсора никак. Ну, короче, подумаю, может еще что получше подвернется...

Мне не довелось узнать, стал ли Джошуа тем счастливым, на ком его избранница остановила свой выбор, но, похоже, что он, как сказала бы Леночка, по-люба-

су остался в выигрыше: ведь он никогда не услышал, о чем мы с ней говорили в тот вечер. Вернее, говорила в основном Леночка, а я так сосредоточенно вникала в смысл ее слов, что впервые начисто позабыла о «записной книжке».

В тот же вечер, вежливо пожелав Леночке спокойной ночи, я позвонила ее бывшей землячке с предложением забрать подругу детства со всеми ее тремя чемоданами и недельным запасом соленого лосося не позднее утра следующего дня, которое удачно выпадало на выходные. Бедная женщина онемела от изумления, услышав мою просьбу. Тут же, не давая ей опомниться, я попросила ее передать Леночке, что платить за последний уже прожитый месяц она не должна, и может рассматривать это, как компенсацию за внезапное выселение.

* * *

Поздним утром я спустилась в комнату за гаражом и настежь открыла окно, чтобы выстудить ее прохладным воздухом из сада. Только после этой профилактической меры была произведена тщательная уборка помещения с использованием новейших моющих средств. А потом комната за гаражом была переименована в гостевую. И действительно, с тех пор в ней останавливаются только друзья. А они у меня обитают по всему свету. Я люблю рассказывать им о жильцах: о Розе с Музой и Птицелове. «А еще кто тут жил?» — спрашивают они. «Никто больше не жил», — отвечаю я — «Вернее, нет, жил. Зверек один жил, но это не считается».

ПОЭТЫ

Первой мировой войны

Альфред ЛИХТЕНШТЕЙН

«Я перед смертью напишу стихи...»

Альфред Лихтенштейн — немецкий поэт. Родился в 1889 году в Берлине. Его отец был текстильным фабрикантом. Юноша учился в университете Эрлангена (Бавария), где защитил докторскую диссертацию по театральному праву. В студенческие годы начал писать стихи. В 1911 году в печати появилось его стихотворение «Сумерки», которое стало манифестом нового литературного направления — экспрессионизма.

После окончания университета осенью 1913 года Лихтенштейн был призван на одногодичную армейскую службу, которую проходил в Баварском пехотном полку. С начала Первой мировой войны участвовал в боевых действиях. Перед атакой на французские позиции под городком Вермандовиль написал последнее стихотворение «Прощание», в котором предсказал собственную гибель. Лейтенант Альфред Лихтенштейн погиб 25 сентября 1914 года.

Сумерки

С прудом играет толстый карапуз,
А ива ветер в ветви изловила,
И лик небесный до того обрюзг,
Что потекли румяна и белила.

Горбатые, на длинных костылях,
Калеки в поле прочищают глотку.
Поэт, видать, свихнулся на стихах,
А жеребец споткнулся о красотку.

К окну прилип внимательный толстяк.
Юнец промчался к пухленькой милашке.
Сапог напялил клоун кое-как.
Кричит коляска. Лаются дворняжки.

Страх

Мертвый хлам за городом раскинут.
В город небо газом истекло.
Все живые этот мир покинут.
Счастье разобьется, как стекло.

И рекою потечет безмерной
Время через воздух грозовой.
Если слышишь выстрел револьверный,
Значит, ты пока еще живой.

Конец

Окутал ветер белым полотном
Позеленевший прах земли гнилой.
Но замерзающие реки льдом
Еще скрепляют остов неживой.

Еще над снегом высится, суров,
Последний камень — град сторожевой.
И сбоку череп, как молитвослов,
Возлег на прах, на черный аналой.

Воинское желание

Хочу не быть убитым.
Хочу лежать с тобой
Умытым и побритым
В рубашке голубой.

Чтоб ногти были чисты
И чтоб носки без дыр...
О, женщины, боритесь,
Пожалуйста, за мир!

Прощание

Я перед смертью напишу стихи.
Шаги моих товарищей тихи.

Наутро бой, и я готов вполне.
Не плачь, возлюбленная, обо мне.

Не плачь, и мать — пойду с улыбкой в бой.
Железным должен быть мужчина твой.

Заходит солнце, и закат багров.
Мои останки сбросят в общий ров.

В вечернем небе — тление огней.
Когда умру, пройдет тринадцать дней.

Август ШТРАММ

«Брань объемлет землю...»

Август Штрамм — немецкий поэт. Родился в 1874 году в Мюнстере (Вестфалия) в семье почтового служащего. После окончания гимназии поступил на службу в почтовое ведомство. Слушал лекции в Берлинском университете, защитил докторскую диссертацию о едином почтовом тарифе.

В свободное от службы время писал стихи, которые носили экспериментальный характер и напоминали краткий телеграфный стиль. В 1912 году Штрамм сблизился с экспрессионистами и почти сразу стал главной литературной фигурой в журнале «Штурм» — основном печатном органе немецкого экспрессионизма.

С началом Первой мировой войны Штрамм был призван в действующую армию. Сражался на Западном фронте, был награжден Железным крестом, в апреле 1915 года назначен командиром батальона и переведен на Восточный фронт. Капитан Август Штрамм погиб 1 сентября 1915 года во время атаки на русские позиции у Днепровско-Бугского канала.

Война

Горе бередит
Оцепенение приводит в ужас
Родовые муки корежат
Чудовища стоят на страже
Время кровотоцит
Вопрос прожигает глаза
Истощение
Рождает
Смерть.

Патруль

Камни враждебны
В окнах предательский оскал
Ветки душат в объятьях
Листья опадая с виноградных кустов
Нашептывают смерть.

Поле боя

Нежность родной земли умирляет железо
Кровь просачивается в землю
Крошится ржа
Слизь плоти
Поглощает пожар прорыва.
Убийство убийств
Мерцает
Во взглядах детей.

Гранаты

Рассудок замер
Лишь наплывает предчувствие
Голубь жуткие раны купает в пыли
Хлопанье удар копанье визг
Свист фырканье жужжанье
Треск шлеп скрип хруст
Тупое топанье
Небо запорашивается
Звездным шлаком

Время сереет
В страхе замирает робкое пространство.

Шрапнель

Небо швыряет облака
И курится в дымке.
Стальная вспышка.
Под ногами разлетающийся булыжник.
Глаза от ужаса хихикают
И
Разбегаются.

Цена смерти

Брань объемлет землю
Горе звенит посохом
Убийство прорастает грядущим
Любовь зияет могилой
Никогда не будет конца
Всегда создает сейчас
Безумие умывает руки
Вечность
Невредима.

Исаак РОЗЕНБЕРГ

«На небе темная беда встает и дышит...»

Исаак Розенберг — английский поэт и художник. Родился 25 ноября 1890 года в городе Бристоле (Юго-Западная Англия) в бедной еврейской семье. Еще в школе начал писать стихи. В 1912 году выпустил стихотворный сборник «Ночь и день».

После начала Первой мировой войны поэт, отчаявшись найти работу, пошел на призывной пункт. «Я никогда не записывался в армию из патриотических побуждений, — сообщал он в письме другу. — Я думал, если запишусь в армию, матери назначат пособие». В июне 1916 года Розенберг был направлен на Западный фронт. Находясь в окопах, продолжал творить, набрасывая строчки на клочках бумаги. По мнению исследователей, его «окопные» стихи являются величайшим человеческим документом Первой мировой войны.

Рядовой Исаак Розенберг был убит 1 апреля 1918 года в битве при Аррасе.

Бог

В его зловонном черепе светились слизи,
Бороздками стекая из глазниц сожженных,
И поселилась крыса там, где пряталась душа.
А мир ему сверкал зеленым глазом кошки,
И на остатках старой съезжившейся мощи,
На робких, кривобоких, сырых и убогих,

Он воцарился, увалень, чтоб всех давить.
Вот он схватил когтями храбреца, и тут
Понадобилась лезть, чтоб притупились когти, —
Пускай он давит тех, кто будет после.

Кто перед богом лебезит? Твое здоровье —
Его коварство сделать смерть куда страшней:
Твои стальные жилы рвутся с большей болью.
Он торжище создал для красоты твоей —
Ничтожной, чтоб купить, и дохлой, чтоб продать.
К тому же он и слыхом не слыхал про сон;
Когда выходят кошки — пропадают крысы.
Мы в безопасности, пока крадется он.

Вот он пообглодал чужие корневища,
И чудо бледное исчезло на рассвете.
Есть вещь своя — и втуне вещь чужая.
Ах, если бы настал сухой и ясный день,
Но он, как выпавшие волосы его, —
Их даже ветер в тишине не шевелит.
На небе темная беда встает и дышит,
И страх бросает тень на бывшие пути.
Проходят голоса сквозь стиснутые пальцы,
Когда прощания слепые так легки...

Ах, этот смрад гниющего в окопе бога!

В преисподней

Я долго жил в печальной мрачной бездне.
Как ты, созданье солнечных лучей,
Без ужаса внимаешь грозной песне
И тайному движению ночей?

С твоим сиянием сойдясь лучистым,
Я — дух, повенчанный с кромешной тьмой,
Дышу дыханьем смрадным и нечистым:
Видать, меня создал творец иной.

Разверзлась бездна, ад перевернулся,
И мрак еще сильнее помрачнел,
Когда крылом ты темных волн коснулся
И, содрогнувшись, дальше полетел.

*Перевод, комментарии
Евгения Лукина*

Елена ГУШАНСКАЯ

«... ВРЕМЕЧКО СТЕКАЕТ С КОНЧИКА ЕГО ПЕРА»¹

К 95-летию А. Володина

Во дворе «Табакерки» стоят три скульптурных портрета — Виктор Розов, Александр Володин и Александр Вампилов.

Олег Павлович Табаков объясняет свой выбор тем, что именно они, эти драматурги, кормили советских актеров всю вторую половину XX века. Ну, «кормили» — это, скорее, фигура речи, — прокормиться зрительским рублем (билетом от восьмидесяти копеек до полутора-двух целковых) было невозможно. Советских актеров кормил не зал, а государство — партия-правительство, и уж размер пайка определяли не талантливые пьесы, а «правильные».

И тем не менее фигуры перед «Табакеркой» выбраны безошибочно. Каждый из этих троих — истинный драматург, и именно они, эти драматурги, определяли развитие советской драматургии второй половины XX века, они воплощали то, что делало драматургию литературой, то есть связывало с жизнью и соотносило с общим ходом литературного процесса. Драматургия ведь чуть-чуть не литература — она грубее, проще, лапидарнее, но при этом она больше чем литература, в силу своего сиюминутного, сфокусированного, преумноженного театром воздействия. Других таких сфер живого нравственного и эстетического сопереживания в жизни общества просто не было. А уж театр 1960–1970-х годов обладал поразительной мощью и силой воздействия.

В драме несколько иное, нежели в эпосе и лирике, представление об историко-литературной значимости произведения. В прозе и поэзии формальная весомость определяется жанром и размером: роман или рассказ, поэма или стихотворение, — с жанром связаны объем и глобальность проблематики. В драматургии формальные характеристики иные: здесь нет автора-повествователя, здесь условно работает только жанр, протяженность текста всегда ограничена сценическим временем. К тому же в культурный обиход пьесу вводит не публикация, а постановка.

И хотя талант является определяющим по умолчанию, историко-литературная значимость драматического произведения зависит не от масштабности полотна (исторические драмы А. К. Толстого или А. Н. Островского культурными событиями не стали), а от того, насколько в действии схвачена, с одной стороны, глубинная сущность исторического процесса, а с другой — насколько точно зафиксирован пласт жизни и сохранена его интонация, пыльца времени.

Елена Мироновна Гушанская окончила филфак ЛГУ, кандидат филологических наук, доцент Северо-Западного института печати. Автор многочисленных статей о Чехове, книг «Александр Вампилов. Очерк творчества» (1990) и «Редактирование художественной литературы» (в соавторстве с И. С. Кузьмичевым, 2007). Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Из стихотворения Булата Окуджавы, посвященного А. Володину.

В драматургии тоже есть свои «настоящие писатели» и «беллетристы».

Истинный драматург, «драматург-на-все-времена», — тот, у кого за разговорами, событиями и конфликтами есть нечто большее, чем сами эти разговоры, события и конфликты, сиюминутные несчастья, любви и нелюбови героев, есть то, что останется неизменным, когда переменится покрой одежды, уйдут люди и ситуации, запечатленные в пьесе и, может быть, исчезнет само государство, заставлявшее героев когда-то страдать и погибать... Это драматург, чей художественный мир сплетается из самых болезненных и нервических флюидов жизни, а конфликт строится не на притязаниях персонажей (ими он только запускается), а происходит из духа и конфликта времени, и самый этот дух, и его интонации, оттенки передает с поразительной и обобщающей силой. Настоящий драматург решает общечеловеческую драму, пропуская ее через материю своего времени, — то есть через природу и характер конфликта, слова, интонации, шутки... Этим и фиксируется жизнь. А драматург-беллетрист берет частными историями. (Есть, впрочем, еще и плохой драматург, который пользуется общими клише и штампами.)

Для меня существует три разных А. Володина, или три ипостаси А. Володина.

Первый — А. Володин четырех ранних, *главных* володинских пьес: «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Моя старшая сестра» и «Назначение» (1956–1961). Герой этих пьес всегда сам автор, его альтер эго, независимо от того, мужчина перед нами или женщина (женщина еще и лучше — точнее, тоньше), независимо от того зовется герой «Женькой Шульженко» или «Надей Резаевой», «Сашей Ильиным» или «Лешей Лямыным». Первые четыре пьесы — это исповедь А. Володина. Это то, что мучило его самого. Это он бунтовал против лицемерия, казенщины и показухи, уничтожающих нормальную человеческую жизнь (Женька Шульженко), это его мучил конфликт творческого человека с близкими (Надя Резаева), это он пытался развести войну и вину (Ильин), наконец, это было его собственное володинское понимание социального и нравственного устройства советской жизни (Лямин).

Второй А. Володин — блестящий профессионал, писатель того времени, когда возможности лирической исповеди казались исчерпанными, создатель дивных трагедий о любви («С любимыми не расставайтесь»), драматических пастшей, притч, переложений и сиквелов («Две стрелы», «Ящерица», «Мать Иисуса», «Дульсинья Тобосская»), лучших сценариев тех лет («Похождения зубного врача», «Фокусник», «Дочки-матери»), некоторые из них стали культовыми лентами («Осенний марафон»).

Третья ипостась — Володин-миф. Это А. Володин, писавший прозу, стихи и заметки неотчетливого жанра, которые хоть и печатались, но не были широко известны. Однако именно они стали содержанием работы А. Володина на закате его жизни. Именно их он стал озвучивать в 1990-е годы. Образ А. Володина тогда создавался разнообразными и многочисленными печатными интервью (сейчас несобранными, непереизданными и фактически неизвестными читателю-несовременнику), видеointервью, биографическими телефильмами, а также собственным физическим и осознанно оформленным существованием в культуре. Это была попытка сохранить и запечатлеть время собственной плотью и кровью.

Самое интересное — первая и третья ипостаси.

Ипостась первая — примерно так с 1954-го по 1961 год: от «Фабричной девчонки» (1956) до «Назначения» (1961). Однако заглянуть стоит чуть раньше.

А. Володин начинал как прозаик. Первая его книга «Рассказы» была издана в 1954 году, — небольшая, 170 страниц, незаметная, со слепым названием.

А. Володин посещал литобъединение молодых прозаиков при «Советском писателе». Руководили объединением Л. Рахманов и М. Слонимский, издательским распорядителем-координатором была Маргарита Степановна (Мара) Довлатова. В объединении в те годы участвовали В. Голявкин, Г. Горьшин, Мая Данини, В. Курочкин, В. Конецкий, В. Ляленков, В. Пикуль, Б. Сергуненков, С. Тхоржевский, Э. Шим, начинающие критики Наталья Банк, Виктор Дмитриев (отец нынешнего прозаика Андрея Дмитриева), Игорь Кузьмичев.

Помимо профессионального общения, когда люди читали и обсуждали ими написанное, еще и под руководством мэтров, была у членов объединения полупризрачная, может быть, на копейку большая, чем у «неорганизованных» начинающих авторов, возможность печататься. В «Советском писателе» издавался альманах «Молодой Ленинград», который собирала М. С. Довлатова, выпускались первые книги членов литобъединения. Такой первой книгой и стали «Рассказы» А. Володина.

Сам А. Володин никогда не вспоминал о «Рассказах». Нетрудно понять почему: в них не чувствуется еще ни рука, ни поэтика, ни личность автора. И тем не менее книга эта очень важна. «Я знал, что не владею сюжетом и беспомощен в композиции», — скажет позже автор о своей работе. Но главные персонажи его пьес уже обозначились, зашевелились и начали потихоньку самостоятельную жизнь.

Практически каждый рассказ так или иначе «аукнется» впоследствии — пусть незначительно, мелочами, черточками характеров, отдельными нотками, но не забудется никогда. И надо отметить, что сквозные образы и темы будут характерны для А. Володина на протяжении всего его творческого пути. Несколько рассказов отзовется сюжетными линиями и типажам: «Инженер Володя Новиков» — в «Назначении», «Твердый характер» — в «Моей старшей сестре» и в сценарии «Дочки-матери», «Подруги» — в «Происшествии, которого никто не заметил». А героиня рассказа «Анечка» — глупенькая молодая женщина с хорошо поставленной житейской хваткой, вся насквозь пропитанная житейской пошлостью, — станет в «Пяти вечерах» Зоей.

Один из девяти рассказов, самый длинный и пространный, «Пятнадцать лет жизни», впрямую материал «Пяти вечеров». Мера (или отрезок) времени в заглавии — первое, что бросается в глаза. «Пятнадцать лет жизни» не подмалевок или набросок, а именно материал, то, из чего впоследствии разовьется не только пьеса «Пять вечеров», но и, может быть, самая важная володинская тема. Рассказ затянут, рыхловат, сложно закручен, перегружен подробностями, но здесь — квинтэссенция будущего авторского мироощущения и страдания. Тема рассказа — война и то, как пришлось жить потом, после войны, как ни странно это звучит по отношению к писателю, ничего впрямую о войне не написавшему.

Герой рассказа — некий Саша Ильин, человек лет тридцати пяти (Володину самому тридцать пять). Рассказ — история его жизни, особенно последних лет десяти, проведенных мусорно и безалаберно. Когда-то он работал учителем в сельской школе, потом ушел на фронт, после войны учился на химика в Технологическом институте. Была сокурсница Мара, которую он любил, и не сданная по этой причине сессия... В результате герой оказался проводником в поездах дальнего следования, потом завербовался на Север и в конце концов обосновался в Ленинграде, дворником в том самом Технологическом институте, где когда-то учился. Здесь он встречается с сокурсником по фамилии Тимофеев, уже солидным доцентом, и с грузной немолодой женщиной, в которую превратилась Мара. В тексте появляется еще одна девушка из прошлого, одна из них его бывших учениц — Надя.

Общага, одиночество, болезнь...

Этого пропащего Ильина автор наделяет своей собственной плотью и своей собственной судьбой (осколок в легком остался у самого автора, и жизнь в начале 1950-х казалось ему полностью проигранной, даже погубленной): «Осколок мины попал ему в бок, прошел между ребер, не повредив их, и завяз в легком. Раненых везли в крытом кузове буксовавшей машины медсанбата. Ильин сидел в неестественном положении, отклоняясь назад. Он представлялся себе сосудом, наполненным до краев кровью: стоит изменить наклон, и кровь хлынет горлом. Дышать он мог мучительно крохотными порциями: чуть-чуть вверх — вдох, столько же вниз — выдох. Ни на миллиметр больше А так человек долго дышать не может. Значит, это конец. Он думал: если бы ему разрешили прожить еще год... Только один год. Огромный год, состоящий из десятков тысяч вот таких бесконечных минут. Чтобы он сделал за этот год!.. Он бы работал в лаборатории по шестнадцать по двадцать часов в сутки. И, может быть, он сумел бы сделать какое-нибудь открытие в химии...»

И в «Пяти вечерах»:

«Помню, ранило меня. Трясусь в медсанбатской машине, прижался к борту. Осколок попал в легкое, чувствую — чуть наклонись — и кровь хлынет горлом. Так, думаю, долго не проживешь. Гроб. И только одна мысль была в голове: если бы мне разрешили прожить еще один год. Миллион таких бесконечных минут. Что бы я успел сделать за этот год! Я бы работал по шестнадцать, по двадцать часов в сутки. Черт его знает, может быть, я успел бы сделать что-нибудь стоящее...»

А. Володин потом многократно повторял как молитву: «На фронте была далеко идущая мечта: если бы мне разрешили — потом, потом, когда кончится война <...> хоть немного еще пожить и просто оказаться Там и просто увидеть... И мне разрешили <...> Стыдно быть несчастливым».

Прежде чем перейти к «Пяти вечерам», сделаем небольшое отступление.

Ни одна из четырех главных пьес А. Володина не прошла бесследно для отечественной драматургии. Каждая из них стала как бы базой, отправной точкой, источником или поводом произведений 1960-х, 1970-х и даже 1980-х годов. Так, «Фабричную девчонку» переписал и дописал Валентин Черных в сценарии «Москва слезам не верит», объяснив в 1980-х годах, с высоты прожитого опыта, как именно молодое поколение, молодые производственники, точнее, производственницы, входило в жизнь в 1950-е, как это *должно было бы быть* по меркам соцреализма.

Прямолинейно понятое «Назначение» сфокусировало внимание и нашло новый поворот в производственной тематике. Анатолий Гребнев в «Дневнике последнего сценариста» вспоминал, со слов Льва Кулиджанова, что тот принял свой пост руководителя Союза кинематографистов, именно посмотрев «Назначение» в «Современнике».

Так вот, с легкой руки А. Володина (хотя, конечно, не он изобрел этот сюжет) проверка временем, встреча через много лет стала одним из самых любимых сюжетов советской драматургии. Пьесы, истоки конфликта которых лежат в прошлом и разбираются на наших глазах участниками тех событий: «Четвертый» К. Симонова, «Традиционный сбор» В. Розова, «Восхождение на Фудзияму» Ч. Айтматова и многие-многие другие... Строго говоря, и «Утиная охота» структурно построена как пьеса-воспоминание, что-то важное дает этот прием.

Пьеса «Пять вечеров» стала отправной точкой и «Традиционного сбора» В. Розова. Место действия этой пьесы — юбилей знаменитой старой московской школы, встреча с юностью, с подзабытой любовью.

Внешне различия «Традиционного сбора» и «Пяти вечеров» кажутся самоочевидными. У А. Володина камерный сюжет, история двоих — неповторимая, личная и лирическая. О «Пяти вечерах» сам автор (пусть и с лукавством): говорил, что получилась она такой всенародно любимой из-за спектакля, в котором «о людях “с неустроенными судьбами” <...> Товстоногов решил рассказывать так подробно, чего вовсе не стоили эти жалкие персонажи...»

У В. Розова встреча одноклассников — прежде всего их общая история, история поколения, коллективная фотография, эпическое полотно. Герои В. Розова представляют собой вкусно написанные типажи, они появляются каждый в своем социальном амплуа, каждый приписан к своему социальному страту, все они соединяют в себе типическое и индивидуальное в художественно безупречной пропорции. У В. Розова своя концепция отдельного человека. Детская природная личность и нынешний социальный статус персонажа соотносятся по принципу числителя и знаменателя: социальная роль — в знаменателе, а человеческая личность — в числителе. И чем больше знаменатель, тем меньше величина дроби и тем ничтожнее личность.

Суть пьесы в том, чтобы все-таки решить, а кто же сегодня по жизни прав — тот, кто поставил на успех, устремив все силы и наступая на собственные чувства ради карьеры, или тот, кто построил свою жизнь иначе, кто предпочел жизнь простую, незаметную и честную, кто живет не гоняясь за чинами и званиями, но никого и не предавая (неотвратимость предательства при карьерном росте признавалась обязательной по умолчанию).

Чтобы решить эту проблему, необходим был некто Сергей Усов, любимец класса, лидер парней и кумир девчонок... Когда он появился, все восторжеслись, повернулись к нему, но ничего не произошло. Потому что харизма осталась (или, по крайней мере, должна была быть у актера), а социального амплуа не было. На чем держалась его внутренняя свобода, а точнее сказать, поведенческая раскрепощенность, оставалось тайной. Кто он, зачем он — неизвестно. Сергей оказался героем без привязки к жизни, абсолютно свободным человеком, вообще свободным ото всего: от социальной роли и маски, прошлого и настоящего. Но свободна личность или несвободна, можно судить только исходя из обстоятельств этой личности, а обстоятельств-то и не было никаких. Попытка создать абсолютно свободного человека из пробы обернулась крахом.

А вот у А. Володина обстоятельства были.

«Пять вечеров» — вторая пьеса драматурга.

Фабула ее стара как мир и наверняка могла бы войти в шорт-лист самых популярных сюжетов мировой драматургии. Некто возвращается в родной город и находит здесь свою первую любовь... У А. Володина герой находит ее почти неживой — закостенелой, замшелой старой девой...

В «Пяти вечерах» Володин обнаружил (нигде больше не проявившееся) умение писать трагедию жизни в целом. Писать так, что когда «люди обедают, только обедают, в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни» (А. П. Чехов). (В перефразе А. Володина это звучало так: «... у него герои пили чай и незаметно погибали, а у нас герои пили чай и незаметно процветали».)

Произошло, как однажды произошло в «Вишневом саде»: люди тосковали, мечтали, суетились, торговали, считали деньги, сватались, ссорились, мирились, — а в это время рушилась жизнь и не только их самих, милых, нелепых, горьких... Просто век уходил. В чеховской пьесе это было представлено наглядно и физически ощутимо: убыстрялось, сворачивалось время и съезживалось, скукоживалось пространство — время и пространство изживали своих героев.

И теперь в пьесе А. Володина, кажется, единственный раз в советской драматургии произошло нечто подобное. Люди встретились после долгой разлуки, многих лет, а на сцене клубилось то, что их разлучило, то, что сделало «звезду» Тамару мастером на калошной фабрике, а талантливого студента Сашу Ильина шофером там, где «резина ломается, как картон»... На сцене, словно стук топоров вишневого сада, материализовался исторический каток, прошедший по людям. Вот в чем была фантастика..., точнее — художественное открытие.

Когда Товстоногов объявил, что «будет ставить спектакль с “волшебством”» (как запомнил его слова сам А. Володин), режиссер вряд ли осознавал, в *зем* именно будет состоять «волшебство». Драматург потом объяснил это волшебство «сочувствием», вниманием к тем и к тому, «о чем тогда не принято было говорить со сцены». Но в пьесе-то волшебство было создано как раз не психологическими красками, а приемами поэтики, которые раскрывали социально-исторические пласты трагедии.

Чай пили или вино, ссорились или мирились, шпыняли молодежь, накрывали на стол, сбрасывали посуду со стола, сдергивая скатерть, ставили цветы в банки, выбрасывали цветы из банок (но не банки — это ценность!) — история разворачивалась на наших глазах. У Чехова трагедию «работали» время и пространство. Здесь трагедию «работали» война и память, простая человеческая память, которая одна, может быть, и делает обезьяну человеком, и, главное, формирует культуру и социум.

В одном из телеразговоров А. Володин заметил, что на съемках фильма «Пять вечеров» Никита Михалков уговаривал его убрать финальную фразу заключительного монолога Тамары, ключевые, смыслообразующие слова: «только бы войны не было», объясняя, что это, дескать, «совок»... Автор фразу сохранил. А вот режиссер снял фильм как бы без нее, сделав кино о странных людях «раньше» времени, немного жалких, немного смешных, чудаковато обаятельных, с тяжелой грацией и замедленной речью.

У А. Володина в «Записках нетрезвого человека» есть маленькая зарисовка, касающаяся фильма: « В дирекции осведомились: „Для заграницы снимали?“ — „Почему для заграницы?“ — „Да ведь там будут думать, что у нас люди до сих пор в коммуналках живут!“» Реакция, как ни странно, абсолютно точная (только вывод гомерически лицемерный). Коммуналка в «Пяти вечерах» необычайно красива, значительна, уютна и поэтична. Н. Михалков сделал интерьер едва ли не главным действующим лицом. Изобразительный строй оказался доминирующей характеристикой ленты.

И далее у А. Володина читаем: «В одной маленькой европейской стране фильм пользовался странным успехом. Там приняли его за абсурдистский. Решили, что героиня живет в квартире, населенной призраками, которые, видимо, напоминают ей о давних грехах. Была там армянка (намек на национальный вопрос), мальчик на детском велосипеде катается по коридору (не воспоминание ли о неведомой нам вине?..)» — тоже весьма прозорливое наблюдение. Такая квартира и должна была быть населена призраками. Но, к сожалению, основная тема пьесы была реализована лишь художником: воспоминания не стали стержнем действия, остались лишь дополнительной его краской.

Суть дела вылилась в то, что строгая Тамара действительно приняла Ильина за «большого человека», крупного начальника, посчитала, что отстала от него и по положению, и по развитию. Беда героев оказалась в их мнимо неравном социальном положении. Когда же героиня узнает, что он такой же работяга, преград не остается. Последняя фраза Тамары в фильме приобретает простой «общебабий» смысл. Тем более что актриса вместо володинских слов «хоты бы войны не было» дает ча-

стушечный ритм «*только б не было войны*» («с неба звездочка упала / прямо милому в штаны, / разорвися что попало, только б не было войны»).

У А. Володина нет типажей. Ильин Е. Копеляна (спектакль Г. А. Товстоногова, 1959) и Ильин С. Любшина (фильм Н. С. Михалкова, 1981) просто не узнали бы друг друга, хотя фильм старательно стилизует 1950-е годы. Ослепительная Зинаида Шарко так же мало похожа на работницу вредного цеха («Усталые девочки, усталые женщины в душливых цехах “Красного треугольника”... Я постарел, а вы в памяти моей все не стареете»), как царственная Доронина на затурканную жизнью учетчицу.

Конфликт здесь не между Сашей Ильиным и Тamarой, а тем, какими были люди и что с ними сделала война/время... — в этом смысл исторического полотна.

«В пьесе “Пять вечеров”, — вспоминает А. Володин, — очернительства не было. Правда, там не было и партийного начальства, из рук которого люди принимали наказания и поощрения». «Начальства» действительно не было, а история была, воздух времени был, было то, что сформировало судьбы героев и будет формировать их и впредь, разрушая их улыбочность, легкость, простодушие, открытость и обаяние, было то, что эти улыбочность и открытость будут сохраняться, когда их обладатели будут матереть, грубеть и ожесточаться... Это и есть чеховское письмо, когда «люди обедают, только обедают, а в это время рушатся их жизни».

На протяжении всей пьесы герой пробуждает героиню к жизни — воспоминаниями. Его бэк-граунд, его личностное наполнение — не мужское обаяние (оно останется целиком и полностью на совести и умении исполнителя), но память. Память-прошлое — не поименованный герой этой пьесы, «сам третьей» этой истории. «Пять вечеров» — пьеса-воспоминание.

Здесь нет списка «действующих лиц» (по крайней мере, в первоначальных, ранних публикациях). Действие открывается не драматургической ремаркой, а сугубо лирическим вступлением: «*Эта история произошла в Ленинграде, на одной из улиц, в одном из домов. Началась она задолго до этих пяти вечеров и кончится еще не скоро. Зима, по вечерам валит снег. Он волнует сердце воспоминаниями о школьных каникулах, о встречах в парадном, о прошлых зимах...*» (В спектакле БДТ этот текст читал сам Г. А. Товстоногов.)

Драматическое действие строится как противопоставление нынешнего, сиюминутного, случайного, наносного и прежнего, вечного и настоящего. Мы еще ничего не узнали о героях, а тема эта уже возникла, возникла до всех конкретных обстоятельств действия. Первая сцена пьесы, разговор случайно встретившихся мужчины и женщины — Зои и Ильина. Новая подружка героя Зоя, празднуя свою маленькую женскую победу, с удовольствием констатирует: «Как у нас все быстро произошло. Всего неделю назад мы еще друг друга не знали». На что Ильин отвечает невпопад, реагируя не на ее слова, а на то, что видит за окном: «Это был наш собственный переулочек (Виленский переулочек — маленькая улочка, соединяющая улицы Восстания и Радищева. — Е. Г.). Наш персональный кинотеатр (назывался «Луч». — Е. Г.). И наше личное небо. Зима, ночь, а оно синее, хоть разорвись! Нет, опасно возвращаться на те места, где ты был счастлив в девятнадцать лет».

В «Пяти вечерах» нет того, что можно назвать центральным драматическим конфликтом. Есть вкусный жанровый сюжетец молодых (Славы и Кати), который неизменно удастся актерам, есть скетч Ильина и Тимофеева, есть фоновый, второстепенный любовный сюжет Ильина и Зои, но конфликта между Тamarой и Ильиным нет, нет хотя бы потому, что с первых же минут становится ясно, что герои по-прежнему любят друг друга. Действие в «Пяти вечерах» структурируется воспоминаниями.

В пьесе идет устойчивое и даже простодушное противопоставление романтического мира прошлого, представленного космическими величинами или категориями («зима ночь, а оно (небо) синее, хоть ты разорвись!»), и мира настоящего, мира бытового, обыденного материального, представленного зоинной номенклатурой товаров: «вафли — мелкопористые пластинки с ячеистой поверхностью», «крахмал — это мельчайшие частички, которые незаметны простым вооруженным глазом». Этот мир словно искажен стеклышком злой волшебницы: здесь все превращается в вещь и быт: красавица с обложки модного журнала — в скандалистку или хапугу («эту в последних журналах совсем перестали показывать, наверно, поругалась...»), «а может быть, замуж вышла за обеспеченного»), мирный разговор легко превращается в склоку, оборачивается проклятиями и угрозами («Ну, Саша, ты слишком злоупотребляешь моим отношением к тебе. <...> Я тебе вернусь! Так с лестницы шугану... Я тебе вернусь!..»).

У красавицы Тамары («она красавица была, теперь таких нет. Звезда. Ее подруги так и звали: “Звезда”») тоже быт, но другой. У нее не осталось ничего из реалий прошлого — ни собственных небес, ни окрестностей, ни музейных красот... Не осталось ничего, кроме того, что входит в перечень бытовых ценностей и ценностей социалистического общежития: «Я лично *неплохо живу, не жалеюсь*. Работаю мастером на “Красном треугольнике”. Работа интересная, ответственная». Замечательная точность: не «хорошо живу», а «*неплохо живу*», не «довольна», а «*не жалеюсь*». И перечень этих завоеваний повторен слово в слово дважды в одной сцене — разнообразить его нечем.

У Тамары остался экран уплаты членских взносов, идеальный порядок в комнате, трамвай, в котором хочется «ехать, ехать и никуда не приезжать» и где к ней обращаются «мамаша», письма Маркса... Дело даже не в основоположнике марксизма, дело в обладании установленным авторитетом.

Сюжет «Пяти вечеров» — «история о том, как в людях пробуждается способность *густвовать*». Пожалуй, это самая распространенная фраза рецензий, посвященных этой пьесе. Но мало кто задумывался, насколько словесно в ткани текста реализуется восстановление душевной и физической чувствительности и эмоциональности. Речь Тамары изменяется в пьесе от «имеет общественное лицо», «коммунисту можно больше потребовать от партбюро», «как вы живете, добились, чего хотели?» до «...такой честный. Такой умный. Такой хороший. Помнишь, ты предлагал мне ехать куда-то... Что ж, если ты не передумал, я поеду...».

Контрапунктом к воспоминаниям Тамары и Ильина, процессу душевного возрождения, идут воспоминания Зои, где одни только незаслуженные потери, сплошная усушка, утруска и недостача: «Я получше вас была, уж поверьте. Вот посмотрите, какая я была»; «Я сама за него подругу сосватала. Недавно встретила! Одета! А ведь это могла быть я»; «Она хочет пройти с ним (любимым мужчиной) всю жизнь, а он вдруг — раз! и бросил ее. Тогда она другого встретила. Уже не совсем то, но все-таки, привыкла к нему... А он — хлоп! — опять то же самое, ушел...».

Диалог Ильина и Тамары соткан из воспоминаний. Постоянным рефреном звучит слово «помнишь»: «помнишь парадное», «а помнишь, как ты в первый раз меня поцеловал». Действие пронизано двумя поэтическими рефренами: есенинским «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» и пушкинским «Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил» и песенным лейтмотивом «Миленький ты мой, возьми меня с собой...». Сама эта песня-расставание (неизвестная певунья пытается удержать прошлое) — как бы многократно умноженное воспоминание, и прошлое героев, и их тайный любовный язык, который в финале неожиданно окажется языком прямых значений: «возьми меня с собой».

Выбор химического факультета для Славы — дань прошлому. Буквально каждое действие, если оно имеет истинный смысл, подкреплено авторитетом прошлого: «Когда на столе белая скатерть и цветы — неловко быть мелочным грубым и злым. Скатерть должна быть со складками от утюга, они пробуждают воспоминания детства».

Кульминация пьесы — двойное параллельное воспоминание Ильина и Тамары об отправке новобранцев на фронт: «...женщины кругом ревут, а она смотрит снизу вверх и говорит: “Видишь, какая у тебя будет *бесчувственная жена*”. Почему, собственно, «*бесчувственная*» и почему, судя по контексту, это качество в лучшую сторону отличает героиню от других женщин? С того момента, как тронулся грузовик, Тамара впадает в анабиоз, начинает жить словно под наркозом, который и дал ей возможность выжить. И на протяжении пьесы отходит заморозка, а оттаивать — больно. Каждый знает, какой это болезненный и мучительный процесс...

Способность «выпадать» из реальности, преодолевая предельное напряжение, смертную тоску, адскую боль, — автобиографическая черта:

«В полевом госпитале подо Ржевом молодая женщина-хирург удаляла мне осколок из легкого. Но для общей анестезии чего-то почему-то не было. И молодая женщина, почти что смущаясь, сказала: “Вы кричите, стонете, это ничего, но вам легче будет”.

И, однако, я ни разу не застонал. Когда мука кончилась, она сказала: “Ну, вы феномен, даже не стонали!”

Я кое-как пролепетал: “А я смотрел на ваши руки”. У нее рукава халатика (“халатик” — глухой хирургический халат, заляпанный кровью. — *Е. Г.*) были закатаны до локтей. Ну, а дальше резиновые перчатки. Но руки ее! Прекрасные, белые руки ее! Правда, она была наверно начинающая, и осколок все же остался»

Анестезирующая сила володинского текста так велика, что никто даже не замечает, что хирургические резиновые перчатки начинаются, судя по описанию, выше локтей и что руки работающего в ране хирурга пациент никак не может видеть... (Впрочем, может быть, здесь воспроизведена ситуация, когда в критический момент больной видит все происходящее словно со стороны, сверху, — тогда действительно картинка верна.)

Еще один постоянный лейтмотив пьесы — тема холода. В воспоминаниях героев зима, само действие тоже происходит зимой, холодно на лестнице, холодно в подъезде, холодно в квартире у Тимофеева. Ильин и вовсе приехал оттуда, где вечная мерзлота, где «резина ломается, как картон»... Холодно — это естественная температура жизни.

На протяжении пьесы героиня постепенно, пошагово освобождается от ледяной корки, двигаясь от «живу не жалуюсь» к «Люся в блокаду умерла. А Славик остался», от «работа интересная, ответственная. Я и агитатор по всем вопросам» к «ой, что ты мне руки целуешь, они грязные..., ой, что ты кофточку целуешь... Что ты, обо мне и не думай, я тут хорошо жила. У меня было много счастья в жизни, дай бог каждому...». Завершает главная героиня свой финальный монолог о будущей и невозможной их с Ильиным счастливой жизни (прошлое не повторяется и не возвращается) словами, в которых материализуется лейттема пьесы «только бы войны не было». Именно это делает «Пять вечеров» историческим полотном и наполняет его онтологическим страданием, для России XX века Отечественная война — единственный стержень — и структурообразующее событие истории.

Через двадцать лет у «Пяти вечеров» оказалось неожиданное продолжение, вернее, своеобразная рифма — «Осенний марафон» (1979). (В отличие от «Пяти

вечеров» Н. Михалкова здесь стоит говорить не только о сценарии, но и о фильме, снятом Г. Данелия.) Сценарий «Осеннего марафона», как и в ранние годы, был сделан из собственного страдания. Это была абсолютная авторская исповедь. А Володин не прятался здесь ни за учетчицу-актрису, ни за шофера-полуэзэка.

События «Осеннего марафона» сотканы из житейских обстоятельств самого автора, только «Аллочка» все-таки родила «Бузыкину» сына, а спустя несколько лет внезапно умерла, предоставив ему самому разбираться в ситуации. И дети (сын) уезжали не на север, а на юг, «южнее, чем прежде», в Америку, что сулило крупные неприятности для остающейся родни. Но дело не в житейской подоплеке. Бузыкин, как и Володин, органичен, естествен и счастлив только за письменным столом, где он царь и бог, хозяин своей жизни и распорядитель ее кредитов, а все остальное причиняет ему только ощущение вины, усталости, нелепости, неправильности и мороки жизни.

Серая, даже на цветном экране, физиономия Басилашвили, его «воблый» глаз, затурканный облик, коротковатые штаны и немаркие рубашки с «неправильными» пуговицами (то-то Аллочке все хочется приодеть героя), его кабинетная сутулость, вынужденность и незначительность жестов, весь приживалий его облик, какая-то немужественная, акакиевская пробежка, сама фамилия «Бузыкин»², совершенно ему не идущая и органичная только в устах Варвары, гоняющей его как водопроводчика, задолжавшего трешку, словом, полная неприспособленность для любовных походов — все это Басилашвили передал выпукло, ярко и внятно.

Точнейший исторический тип — подлинный, натуральный, ни на что не способный человек... Не хватающий того, что само плывет в руки (ни молодую любовницу, ни контакты с границей), непробивной, вечно платонически недовольный начальством, Бузыкин стал последним героем советского времени. Герой, появившийся в 1960-х звездными мальчиками В. Аксенова и плавно перешедший в персонажей Ю. Трифонова, которые на свет-то появились уже как бы потрепанными жизнью, Бузыкин словно выскользнул из цепких объятий социальной регламентации: он не был ни педагогом высшей школы, ни писателем-переводчиком, ни деятелем культуры, ни мужем, ни любовником. Поэтому такое недоумение, переходящее в ненависть, он вызывает у соседа Аллочки, нормального пенсионера: он для старика — никакой, человек без лица и профсоюзного билета.

Ключевая сцена «Осеннего марафона» — та, в которой после заявления Аллочки, что между ними все кончено, убитый горем герой на радостях чуть было не попадает под машину. Тут разворачивается замечательный скетч. Убедившись, что прохожий цел, шофер идет в наступление и требует денег за вмятину на капоте. Бузыкин и рад был бы этим отделаться. Но в ситуацию вмешивается Аллочка, неизменно принимающая позу защитницы, и Бузыкин вынужден изображать настоящего мужчину, бойцового петуха, наступать на противника грудью. В шум без драки вмешивается прохожий-каратист и, приняв Бузыкина за нападающего, профессионально заламывает ему руки, а обнаружив, что хватать надо другого, так же деловито пригибает к земле шофера. Аллочка уверена, что в очередной раз спасла недолепу. Бузыкин понимает, что клетка в очередной раз захлопнулась. Но главное — каждого принимают не за того, кто он есть на самом деле: самый малорослый и

² Эта фамилия — своего рода прощальный жест. У ленинградского писателя Виктора Курочкина, сотоварища А. Володиной по ЛИТО, был герой по фамилии «Бузыкин»; впервые он появился в рассказе «Яба» («Молодой ленинградец». 1956), а потом в повести «Записки народного судьи Семена Бузыкина».

задрипанный прохожий оказывается каратистом, Бузыкина принимают за хулигана, шофера — за его жертву, Аллочку — за зеваку. И так всегда: Аллочка принимает Бузыкина за любовника, жена — за мужа, декан — за бунтаря, Варвара — за золотую рыбку, студенты — за наставника...

А. Володин никогда-то не был склонен сортировать персонажей по социальным ячейкам, но тут обнаружился какой-то бунт сущностей, нештучный разрыв между смыслом и кажимостью, между сутью человека и его ролью. Нина и Бузыкин изображают благополучную семью, сосед (Е. Леонов) чувствует себя у Бузыкина полным хозяином, Бузыкин, сопровождающий Билла в его утренних пробежках, выглядит как черт знает кто...

А. Володин чувствует, как расплзается материя жизни: каждый не соответствует своему страту, а слабые и порядочные, подобно Бузыкину, — в первую очередь. Все еще упорядоченно, чистенько, красиво, но люди в этой реальности уже расплзаются, как тараканы. Самое бесполезное — общие действия: петь на два голоса, выпивать на троих — единение перестало слаживаться. В «Осеннем марафоне» в кадре больше двух не собираются. Трое — Нина-Билл-Андрей, Андрей-Алла-Шершавников — уже неловкость, сразу появляется железный привкус фальши. Герой Басилашвили живет только, когда он — один в кадре.

Мир, который в «Фабричной девчонке» и «Пяти вечерах» еще можно было переустроить, взять натиском, энергией, честностью, бодростью, отвагой таланта или ума, в конце концов — нежностью или любовью, ко времени «Осеннего марафона» перестает существовать. Минуло время, когда жизнь можно было поправить (или хотя бы попытаться исправить) юношеским бунтом или любовью, талантом или умом. «Осенний марафон» — о конце советской цивилизации.

Когда социальные ячейки настолько просторны, что личность их не замечает, не ощущает их границ, — это нормально, а когда каждый чувствует себя не в своей тарелке, тогда «ячеичная посуда» начинает лопаться сама собой, как зеркала в доме перед несчастьем.

В фильме удивительно предугадано, какой станет жизнь через каких-нибудь десять-пятнадцать лет, в лихие 90-е.

При понятном, легко читаемом, системном прошлом (от героев В. Аксенова и Ю. Трифонова) у володинского героя неожиданно отчетливое будущее.

В лучшем случае его подберет белобрысенькая восторженная студентка-дурочка, та самая, что тянула руку, чтобы выпалить «бежал кувырком». В остальных — неопрятная, полуголодная, одинокая старость на грани выживания (с водкой у басилашвилиевского Бузыкина отношения явно не заладились). Бузыкина не спасет хлебное на момент перестройки знание языков. Его удел — зарплата ниже дворничьей. Бузыкин — аутсайдер уже на момент относительно благополучного времени, аутсайдер, потому что порядочен. Другие его качества здесь просто не рассматриваются.

Две лучшие актрисы десятилетия Марина Неелова и Наталья Гундарева притупили свою искрометность и сыграли так, словно готовили эти роли для какого-то этнографического пособия. Перспектива жизни каждой героини отчетлива, как на ладони. Аллочка выучится компьютерному набору, овладеет версткой и фотошопом. Профессионализация в советские годы была крепкой, и девушка станет хорошим издательским работником (к пунктуальности и четкости ее приучит конкуренция). Аллочка сделает евроремонт в своей наконец-то отдельной квартире, купит норковую шубку, станет отдыхать в Турции и Египте...

Нина, Нина Евлампиевна (положим, она — интуристовский переводчик) на излете своего отчаяния откроет небольшую туристическую фирму... На Рождество

станет ездить к детям в Бостон, весной — лечиться в Карловы Вары, осенью — отдыхать на швейцарских озерах...

Герой Евгения Леонова успеет прихватить технический подвал и приватизировать пару сараев. Сам не воспользуется — душа не перенесет перемен, Зато сыновья распорядятся по уму, откроют в подвалах тренажерные залы со штангами, спертыми из соседней школы, а на месте сараев устроят шиномонтаж.

Варвара окажется талантливой поэтессой, гнобимой советской властью, и обоснуется в Европе, например в Германии. Квартиру она продаст, и бонусы нового положения примирят ее с переменами.

Усиливало поразительную достоверность и то, что городское пространство, как и в «Пяти вечерах», было максимально конкретно. Издательство находилось в Доме книги (объяснение Бузыкина с «директором» снимали в реальном редакционном помещении). Гуляют героини по набережной Мойки против Летнего сада, направляются они в кинотеатр «Ленинград», что у Таврического сада, живет Бузыкин на Васильевском острове, «на Кораблях», и Дворцовый мост разводят одним из первых...

Достоверна был и поэтика быта.

В комнате Аллочка у кровати, на которой она живет (спит, болеет, любит, говорит по телефону, смотрит телевизор, шьет, вяжет, ест), стоят валенки, нормальные такие, разношенные валеночки. Все точно: на дворе нежное бабье лето, но в сентябре еще не топят, а старые дома отдают свою промозглую сырость... Так вот Аллочкины валенки, в которые она ловко сует ноги прямо с постели, — из товстоноговских «Пяти вечеров», тогда такая теплая домашняя одежда и обувь свидетельствовали о том, откуда вернулся Ильин.

В 1980-е А. Володин сам стал своим героем. Не писать же всерьез о входящем в силу племени прохиндеев, подпольных воротилах, начинающих купчихах, делягах и их махинациях. («Ну, кого же мне играть в кино — мамашу киллера, что ли?» — станет удивляться в перестройку Анастасия Вертинская.) В ход пошли истории о людях, не то чтобы нечистых на руку, но нечистых душою (какой-нибудь «Апофигей», «Имитатор» или бесконечная «Прохиндиада»).

А. Володин стал писать стихи, как бы невсамделишные, «непритворяющиеся поэзией» (С. Юрский), горько-смешные, простые и афористичные, стал писать «Записки нетрезвого человека». Потом сам стал появляться на экране в качестве уходящей природы и материализовать историю своим собственным физическим существованием, что в 1990-е и 2000-е годы, кажется, стало самой впечатляющей формой художественного воздействия.



Год культуры

Ольга ГЛАЗУНОВА

О ТВОРЧЕСТВЕ И КРЕАТИВНОСТИ

Современную культуру отличает широкая свобода шарить в мировых запасах и поглощать все возможные стили. Подобная свобода основывается на том факте, что основополагающими принципами современной культуры являются самовыражение и трансформация собственного «я» с целью самореализации.

Ризард Флорида

Стремительность, с которой англицизмы стали входить в нашу речь в 90-х годах прошлого века, не давала возможности осмыслить этот процесс в полной мере, осознать его причины и проанализировать возможные последствия. Безусловно, все эти вопросы станут предметом пристального изучения в будущем, но уже сегодня можно отметить разницу, которая сложилась в языке между традиционными и заимствованными вариантами лексических синонимов.

В предыдущей заметке (Нева. 2013. № 12) мы обратились к словам *толерантность* и *терпимость* и пришли к выводу, что их использование в наши дни в большей степени зависит от политических предпочтений. Данная публикация посвящена сосуществованию в русском языке существительных *творчество* и *креативность*, разница между которыми, на наш взгляд, представляет собой проблему антропологического характера.

В современном русском языке существительное *креативность* и слова с тем же корнем в большей степени употребляются в профессиональной сфере. Например, появившаяся в реестре профессий должность креативного директора подразумевает «ведение и контроль исполнения креативных концепций проектов, реализуе-

Ольга Игоревна Глазунова — лингвист, литературовед, специалист по русскому языку как иностранному. Работает в Институте русского языка и культуры филологического факультета СПбГУ, старший научный сотрудник.

мых агентством с целью выведения предоставляемых бизнес-услуг агентства на новый качественный уровень». В обязанности креативного директора входят встречи с клиентами с целью выяснения их потребностей и представлений о заказе, выработка и презентация идеи и составление технического задания.

Однако несколько лет назад, когда Минсоцразвития выступило с предложением заменить *креативный* на *творческий* и ввести должность творческого директора, стало ясно, что прилагательное *креативный* в русском языке не приживается. Что же произошло и почему в последнее время это слово стало изгоем?

Прилагательное *креативный* получило распространение в послеперестроечной России в силу его иноязычного происхождения, когда влияние западного образа жизни оказалось столь востребованным. Красивая упаковка была необходима для продвижения новых услуг, и креативный директор отвечал за создание такой упаковки. Особенно широко это слово использовалось во вновь появившихся отраслях коммерческой деятельности и маркетинговых коммуникаций: в рекламе, средствах массовой информации, индустрии развлечений и дизайн-студиях.

В истории вхождения в русский язык иностранных слов немаловажной составляющей является стремление части населения обозначить собственную исключительность, выработать свой язык и стиль жизни, которые выделяли бы их на общем фоне. Однако, по сути, в деле распространения англицизмов мы имеем дело с тем же жаргоном, который в России восходит к аргю «офеней» — бродячих торговцев XIX века, использовавших при общении друг с другом специальный язык для того, чтобы их речь оставалась недоступной для окружающих.

Прилагательное *креативный* было заимствовано из английского языка (*creative* — творческий), куда оно, в свою очередь, пришло из латинского. Русские словари дают весьма обширный ряд соотносящихся с этим словом синонимов: *высококачественный, необычный, созидательный, модный, новый, инновационный* и даже *крутой*.

Стоит отметить, что в английском языке наряду с существительным *creativity*, образованным от прилагательного *creative*, используется отглагольное существительное *creation*. Разница между ними имеет принципиальное значение: *creation* — то, что было создано; *creativity* — способность творить, создавать.

Отглагольное существительное *creation* происходит от глагола *create* (создавать, делать), который обозначает действие; *creativity* же имеет непосредственное отношение к прилагательному, указывающему на качественное значение. Очевидно, что *creation* в языке характеризует объекты, а *creativity* — субъекты действия.

Многие словари указывают на тот факт, что английское существительное *creativity* обозначает творческий потенциал, а русское *творчество* — соотносится, с одной стороны, с процессом, а с другой — с результатами деятельности вовлеченного в этот процесс человека. Данная трактовка позволяет понять разницу в использовании существительных.

По сути, *креативность* направлена на демонстрацию человеком своих намерений, на необходимость инициировать и развивать идеи, активно обмениваясь ими с окружающими. Результат же этой деятельности, как правило, имеет второстепенное значение. В то время как *творчество* подразумевает внутреннюю деятельность души и сознания, а также (и это немаловажно) создание того, что способно стать значимым явлением в науке и культуре общества на всех последующих этапах его развития.

Существительное *творчество* имеет корень -твор-, от которого образуются глаголы *отворить, затворить*, указывающие на закрытость и в то же время на выход вовне, за рамки пространственных ограничений. Это во многом объясняет семан-

тику существительного. Творчество — это способность человека создавать то, что не имеет аналогов в материальном мире, но способно существовать в пространстве и времени, передавая представления о красоте и гармонии, определяя духовное развитие нации и становление отдельной личности.

Творчество — процесс закрытый, обособленный от внешнего мира. Как писал Ортега-и-Гассет, «нет другого способа оказаться близ Бога, как через одиночество, потому что только в состоянии одиночества душа находит свое истинное бытие»¹. В то время как *креативность* предполагает «совместные действия», «соучастие», «коммуникацию» при осуществлении какого-то проекта. И еще одно немаловажное замечание: *творить* — значит уподобляться в своих делах Творцу, Богу. Для более приземленных дел в русском языке существует другой глагол — *создавать*; отсюда — слово *здание*, которое, согласно словарю, обозначает постройку большого размера.

Образованное от *создавать* отглагольное существительное *создание*, как и *сознание*, имеет префикс *со-*, указывающий на осуществление совместных действий. *Сознавать* — значит воспринимать и трактовать окружающую действительность, исходя из существующих в обществе традиционных схем мышления. *Сознание* подразумевает сходное понимание представителями общества того, что происходит вокруг; в то время как *творчество* изначально ориентировано на уникальность восприятия отдельной личности. Те же самые выводы можно сделать в отношении слова *создание*. Очевидно, что, в отличие от *творчества*, существительное *создание* в большей степени обозначает построение чего-то обычного и ординарного.

Не случайно в Библии речь идет не о *создании*, а о *сотворении* мира: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1. 1). Любопытным является тот факт, что наряду с глаголом *творить* в Библии используется глагол *созидать*, который в русском языке сочетается с такими словосочетаниями, как «духовные ценности» или «новые формы жизни»: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог *творил* и *созидал*» (Быт. 2. 3).

Интересные данные дает нам морфологический анализ видовых пар *творить* — *сотворить* и *создавать* — *создать*. В первом случае совершенный вид глагола *сотворить* образуется от формы несовершенного вида с помощью префикса *со-*, указывающего на совместность действия: *сотворить с кем?* — возможно, с Богом, получив его одобрение на заключительном этапе работы, когда уже есть результат.

Видовая пара *создавать* — *создать* имеет обратный алгоритм построения: форма несовершенного вида *создавать* образуется от глагола совершенного вида *создать* с помощью суффикса *-ва-*, который в русском языке наряду с суффиксами *-ива-* (*-ыва-*) указывает на повторяемость действия. Сравните: нес. вид *стугать* — сов. вид *постугать* — нес. вид *постукивать*. Следовательно, *создавать* по своей семантике не предназначен для обозначения принципиально нового, он лишь указывает на осуществление действия по известной ранее схеме.

Таким образом, в русском языке слова *креативный* и *творческий* существенно отличаются по семантике, и смешивать их не стоит, как не стоит путать божий дар с яичницей. Кстати, интересно посмотреть, каким образом русская идиома *путать божий дар с яичницей* переводится на английский язык. Вопрос этот представляется крайне важным: прежде чем говорить о причинах несовпадения понятийного содержания существительных *творчество* и *креативность*, надо понять, насколько существенным является противопоставление физической и духовной сфер жизни человека в современном английском языке и каким образом разница между ними находит отражение в устойчивых оборотах речи.

¹ Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М.: Наука. 1991. С. 145.

В русско-английских словарях выражению *путать божий дар с яичницей* соответствует вариант *compare apples to oranges* (сравнивать яблоки с апельсинами), который указывает на фальшивую аналогию и попытку сопоставления абсолютно разных вещей. Надо признать, что данная идиома не слишком удачна, даже среди английских лингвистов нет согласия по поводу правомерности ее существования в языке. В частности, в работах указывается на тот факт, что выражение *compare apples to oranges* оказывается неверным с точки зрения значения, которое ему приписывается. Действительно, яблоки и апельсины поддаются сопоставлению по самым разным параметрам: размеру, форме, цвету и т. д. А тот факт, что они относятся к фруктам (а не к овощам), еще больше усиливает сходство между ними.

Но в данном случае нас интересует другое: бытовой, наглядно-прагматический характер объектов, выбранных для сравнения в английском языке, и метафизический смысл русского идиоматического выражения. Кстати, для выражения значения, приписываемого *apples and oranges*, в русском языке могут быть использованы фразы *В огороде бузина, а в Киеве дядька; Я про Фому, а ты про Ерёму*, которые передают отсутствие сходства именно по формальным признакам.

Таким образом, не только внешние показатели — образ жизни, традиции, культура, — но и принципы мировосприятия у носителей русского и английского языков существенно отличаются, и эти данные подтверждаются фактами самих языков. Надо сказать, что даже в буквальном переводе на английский язык выражение *путать божий дар с яичницей* (*to mess god's gift with scrambled eggs*) нуждается в комментариях. Обычно в тексте указывается на значение «*to lose distinction in things*» (терять различие в вещах), хотя, по сути, речь в русском варианте идет о противопоставлении совсем иного уровня.

Разница в подходах просматривается и в семантике существительных *творчество* и *креативность*. По мнению американского экономиста, автора теории креативного класса Ричарда Флориды, «креативность не является целиком принадлежностью нескольких избранных гениев, наделенных сверхчеловеческими талантами, которым их борьба с шаблонами сходит с рук. Эта способность в различной мере свойственна практически всем людям»². С данной мыслью трудно не согласиться.

В книге «Креативное мышление» Маргарет Боуден, занимающаяся философскими аспектами создания искусственного интеллекта, отмечает тот факт, что «для креативности значение имеют ординарные человеческие способности. Все таланты обычного человека — наблюдательность, память, зрение, речь, слух, умение понимать речь и распознавать аналогии — по-своему ценны». С другой стороны, по мнению Боуден, в этом случае может возникнуть противоречие: на самооценку обычного человека гениальность избранных влияет пагубным образом.

Однако «для того, кто полагает, что креативность базируется на обычных способностях, общих для всех, а также на опыте и компетентности, которых мы все можем добиться»³, возможен и совершенно иной подход и, соответственно, стиль поведения: эпатаж, нарочитая уверенность в собственной правоте, отсутствие сомнений в собственной компетентности и готовность в любой момент нарушить общепринятые правила ради того, чтобы доказать свою состоятельность.

² Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Пер. с англ. М.: Издательский дом «Классика-XXI». 2005. Интернет-версия: http://prepod.nspu.ru/file.php/149/met.prob.psiikh./Florida_Kreativnyi_klass.pdf

³ Boden M., *The Creative Mind: Myths and Mechanisms*. 2nd ed. 2004. Интернет-версия: <http://www.docstoc.com/docs/70706645/The-Creative-Mind-Myths-and-Mechanisms>

Безусловно, тезис о равных возможностях человека имеет большое значение, например в методике школьного обучения, когда ученик нуждается в поддержке и должен постоянно чувствовать интерес к своим работам и уважение со стороны преподавателя. Но если креативность просыпается в человеке в зрелые годы при отсутствии специальной подготовки, необходимой образовательной базы и усвоенных в течение долгих лет обучения этических, эстетических и аналитических схем мышления, это может привести к весьма печальным последствиям. В этом случае недостаток таланта и знаний часто компенсируется повышенной активностью, а стремление привлечь к себе внимание любой ценой влечет за собой использование недобросовестных методов и приемов воздействия на сознание обывателя.

Надо сказать, что подобный подход становится все более востребованным в современном обществе, более того — процесс его внедрения в общественное сознание находит поддержку на достаточно высоком уровне. Например, в одном из своих интервью директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова отметила, «что какая-нибудь сушилка или унитаз в зале музея — это произведение искусства».

Как ни странно это прозвучит, попробуем поразмышлять над тем, что такое «унитаз в музее» с точки зрения философии. Данный ракурс осмысления вполне естествен, ведь речь идет об искусстве. Цель любого автора заключается не в том, чтобы собрать в одном месте далекие друг от друга предметы или перечислить факты, а в том, чтобы интерпретировать их с этической, эстетической, художественной точек зрения, привлечь внимание к проблеме, заставить задуматься над вопросами, которые раньше не попадали в поле зрения читателя, слушателя или зрителя, возможно, в силу их недостаточной компетенции.

Если самый заурядный предмет в наше время способен стать «произведением искусства», то смысл такой презентации состоит в воздействии на внутренний мир человека, на его сознание и душевное состояние: поставить зрителя в тупик или заставить его поразмышлять над тем, какой смысл автор вложил в свою презентацию. Безусловно, сама по себе идея пробудить внутреннюю активность человека весьма плодотворна, но вряд ли можно при этом гарантировать, что данный процесс приведет к благим результатам: оставит в душе позитивный след или пробудит творческое начало.

Отход от традиционных представлений диктует и одиозность образа, который может быть выбран на роль произведения искусства. Чем более противоречивые чувства он вызовет у зрителя, тем сильнее будет оказанное им воздействие. Правда, сила подобного воздействия еще не гарантирует художественную значимость самого явления, но если все мы равны, если нет избранных, то пробить себе путь наверх можно только с помощью провокации.

С другой стороны, мысль о том, что в обществе нет и не может быть избранных, влечет за собой другие далеко идущие последствия. Например, захочет кто-то стать депутатом или занять место начальника, исходя исключительно из своих представлений о собственной значимости, — все окажется возможным, и даже сомнений не возникнет в правомерности подобных претензий. Если «унитаз» имеет полное право находиться в музее в качестве экспоната, то почему в других сферах общества должно быть по-другому. Вот и получается, что безобидное на первый взгляд замечание об унитазе, который без всяких на то оснований может быть наделен статусом произведения искусства, может рассматриваться с позиций идеологии, принципиально важной для определенной части нашего общества.

Технологии современного шоу-бизнеса охватили сегодня практически все сферы нашей культуры, включая телевидение и художественную литературу. Но если в самом шоу-бизнесе некоторые его представители уже сомневаются в правильности

ти выбранного пути, то в современной русской литературе, например, такие словосочетания, как «книжный шоу-бизнес» или «литературный бизнес», начинают звучать все чаще. Хотя давно бы уже следовало признать, что подобного рода новшества и заимствования ни к чему не приводят, ведь за все постперестроечное время нам не удалось даже приблизиться к уровню русской классической литературы XIX и XX веков.

Американский политолог и публицист Майкл Линд в интервью Terra America, размышляя об условиях жизни в странах с так называемой «постиндустриальной» экономикой, где финансовые структуры определяют все сферы жизни, крайне резок в своих оценках: «Это чисто паразитическая экономическая модель, и „креативный класс“ — часть этой паразитической модели, и он никак не способствует росту экономики»⁴.

Удручает тот факт, что в последнее время к так называемому креативному классу начинают активно причислять себя не только рекламщики и шоу-менеджеры, но и представители бывшей советской интеллигенции, которые в Советском Союзе занимались совсем иными делами: сеяли разумное, доброе, вечное; вели научные изыскания; создавали произведения литературы и искусства, которые становились явлениями в жизни общества.

Удручает это потому, что понятие *интеллигенция* всегда было русским по своей сути: на Западе активно использовался другой термин — *интеллектуал* (intellectual). Интеллектуалами называли людей, профессионально занимающихся умственной деятельностью; никакой другой составляющей — например, культурной или духовно-нравственной — эти занятия не подразумевали. Судя по всему, постепенно и здесь мы начинаем приближаться к западному стандарту.

В 2007 году в российском сегменте Интернета появилось новое слово «интеллигентуал», которое было образовано с помощью сложения существительных *интеллигент* и *интеллектуал*. Рискну дать ему свое определение: *интеллигентуал* — результат сращения советского интеллигента средней руки с интеллектуалом западного образца: менеджером, политиком, государственным чиновником, образованным бизнесменом. Отличается переходным типом мировоззрения: от хранителя «высших ценностей и идеалов» в российском представлении к западному индивидуалисту, защитнику собственных интересов и благополучия.

Если при обозначении интеллигента старой школы на первое место выходили его нравственные убеждения и уровень культуры, то в наше время определяющими становятся формальные показатели: сфера занятости, наличие высшего образования, умение поддержать разговор и соответствовать ситуации.

Конечно, процесс интеграции, начало которому было положено во время перестройки, остановить невозможно — мы неуклонно движемся по направлению к западным ценностям. Однако вот парадокс: никакие заимствования достижений западной цивилизации не могут удержать молодых и талантливых специалистов в нашей стране, и они продолжают уезжать в поисках лучшей жизни. Видимо, изменения по формальным показателям не предполагают развития, да и качественного рывка в таких условиях ждать не приходится. Выход один: или менять подход к оценке того, что происходит в стране и обществе, или смириться с существующим положением дел, отгородившись от захлестнувшей страну креативной реальности всеми доступными способами.

«Главное — это величие замысла», — любила повторять Анна Ахматова слова Иосифа Бродского. Существительное *замысел* (план, намерение) восходит к глаго-

⁴ См. интернет-ресурс: <http://voprosik.net/kreativnyj-klass-na-zapade/>

лу *мыслить*, подразумевающему умение самостоятельно решать проблемы, а не участвовать в их постановке, используя старые, разработанные кем-то сценарии.

Нет сомнений в том, что все в нашей жизни вернется на круги своя, иначе и быть не может. Вот только хотелось бы, чтобы к тому времени, когда это произойдет, у нас еще остались представления о том, что такое русский язык и какое значение для нас, граждан страны, имеют отечественная история и культура.

Э П О Х А И О Б Р А З Ы

Владимир ЧИСНИКОВ

«ШПИОН КАЕТСЯ».

Ненаписанный рассказ Льва Толстого для «Круга чтения»

Книга жизни великого мыслителя

В один из сентябрьских дней 1904 года Лев Николаевич Толстой, выйдя к завтраку, сказал своим домочадцам и гостям:

— А я сегодня провел время в прекрасной компании: Сократ, Руссо, Кант, Амшель... — и, удивляясь, как могут люди пренебрегать этими великими мудрецами и вместо них читать бездарные и глупые книги модных писателей, добавил: — Это все равно, если бы человек, имея здоровую и питательную пищу, стал бы брать с помойной ямы очистки, мусор, тухлую еду и есть их (1).

В это время писатель работал над «Кругом чтения» — сборником афоризмов, легенд, высказываний и коротких рассказов, составленных из произведений мыслителей разных стран, народов и времен, а также собственных писаний. Располагались они по темам ко всем дням целого года. Этот сборник, по мнению Льва Николаевича, должен был стать настольной книгой для всякого, кто искал смысл жизни. Читать ее надо было не как обычную книгу, а постепенно, день за днем, постигая заключенную в ней мудрость.

Владимир Николаевич Чисников родился в 1948 году в городе Шахтерске Донецкой области, кандидат юридических наук (1984), доцент, полковник милиции в отставке, ныне ведущий научный сотрудник ГНИИ МВД Украины, член Международной ассоциации историков права, Международной полицейской ассоциации, редакционного совета журнала «Оперативник (сыщик)» (Москва). Проживает в г. Бровары Киевской области. Автор, соавтор, составитель и редактор более 400 публикаций и печатных изданий по историко-правовой проблематике, один из ведущих специалистов по истории профессионального сыска. Более тридцати лет занимается исследованием темы «Лев Толстой под надзором тайной полиции». Участник Международных Толстовских чтений и Международных Толстовских конгрессов. Печатался в журналах «В мире спецслужб» (Киев), «Новом журнале», «Неве» (СПб.), «Законность», «Оперативник (сыщик)» (Москва) и др.

«Кругу чтения» Толстой придавал большое значение и считал ее важнейшей книгой своей жизни.

— Я не понимаю, — говорил он после выхода книги, — как это люди не пользуются «Кругом чтения»? Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира? (2) ...Какая хорошая книга! Я сам ее составлял, и каждый раз, когда ее читаю, я духовно возвышаюсь (3).

Если заглянуть в творческую лабораторию писателя, то на одной из страниц его записной книжки за 1904–1905 годы имеется список задуманных им рассказов для «Круга чтения» (4). Эти рассказы Лев Николаевич намеревался помещать в рубрике «Недельное чтение» через каждые семь дней, начиная с 7 января. По его мнению, они должны были соответствовать содержанию каждого дня и как бы подводить итог чтению за неделю, являясь, по меткому выражению П. И. Бирюкова, «колокольчиками, привлекающими внимание» (5).

Первоначально Л. Н. Толстой задумал темы для 28 рассказов, о чем сообщил И. И. Горбунову-Посадову. Спустя некоторое время количество тем увеличилось до 34. Вот их названия: 1) Ушедший странствовать от жены; 2) Кормилицы; 3) Жена пьяницы; 4) Оскорбитель врач во власти; 5) Убийца, ужаснувшийся непротивлению; 6) Радость юродства; 7) Сновидения царя; 8) Александр Кузьмич; 9) Переманинов; 10) Паскаль; 11) Бродяга-князь; 12) Ребенок и старик; 13) Устюша. Три сестры; 14) Бестужева-Рюмина казнь; 15) Блудный сын; 16) Блудная жена; 17) Труп; 18) Отказ от военной службы; 19) Екатерина на судне; 20) Николай и казнь; 21) Шпион кается; 22) Землевладелица и мужики; 23) Любитель умирает во время спектакля; 24) Ангел велит убить ребенка; 25) Старик идет по воде к обедне; 26) Убийство Натальи (Минкиной, любовницы Аракчеева); 27) Менгдена сыновья; 28) Мужики едут судиться; 29) Дуняшка-горничная, преследуемая как крыса; 30) Елизавета и Лашетарди, пелеринаж в Троице; 31) Нехлюдов — деревенский; 32) Переселенцы; 33) Жировой; 34) Казак беглый (55, 301–302). Из намеченных сюжетов Львом Николаевичем были обработаны только восемь (1, 5, 7, 8, 10, 17, 24, 25), а остальные так и остались замыслами (6). Секретарь и биограф писателя Н. Н. Гусев, комментируя список задуманных Толстым рассказов, сообщает сведения о 20 сюжетах (1, 2, 5, 8–10, 14, 17–20, 24–28, 30–33), а в отношении остальных замечает, что «прочие нам неизвестны» (55; 584). Среди них значится и рассказ «Шпион кается», числящийся в записной книжке Л. Н. Толстого под номером 21 (55; 302).

Раскаявшийся шпион, кто он?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним биографию писателя. Из имеющихся в нашем распоряжении литературных и архивных источников известны два случая, когда внедренные в окружение Толстого агенты тайной полиции признавались ему в своих грехах. Первым был студент Петербургского лесного института Федор Симон (1887 год), а вторым — унтер-офицер Тульского губернского жандармского управления Прокофий Кириллов (1896 год). Признание Ф. Симона о сотрудничестве с тайной полицией оставалось для многих друзей писателя тайной, а вот признание тульского жандарма П. Кириллова получило широкий резонанс (7).

Следует предположить, что появление Кириллова в Ясной Поляне было связано с арестом в марте 1896 года тульского врача Марии Холевинской, обвиняемой в распространении запрещенных произведений Л. Н. Толстого. Одновременно с ее арестом начальник Тульского ГЖУ полковник Миллер возбудил ходатайствовал перед Департаментом полиции о привлечении к дознанию в качестве обвиняемых

графа Льва Толстого как автора найденных преступных рукописей, а также его дочь Татьяну как распространительницу. Однако Департамент полиции своим циркуляром от 1 апреля 1896 года предписывал, что «ввиду особого занимаемого графом Толстым положения в качестве знаменитого отечественного писателя возбуждение против него преследования... может повлечь за собою крайне нежелательные последствия», а поэтому по согласованию с Министерством юстиции привлечение Толстого и его дочери к дознанию по делу Холевинской «признается в настоящее время нежелательным» (8).

Несмотря на такое указание из Петербурга, полковник Миллер не терял надежды отыскать новый компромат против Толстого. В начале мая в Ясную Поляну был командирован секретный агент Иван Егоров (из запасных фельдфебелей), который шесть раз в течение трех недель приезжал в имение Толстых, а также в деревню Ясенки, где расспрашивал крестьян об их беседах с графом, фиксировал всех посетителей Ясной Поляны (9). К большому сожалению жандармов, отыскать какую-либо «крамолу» в действиях Толстого сыщику не удалось. Тогда полковник Миллер решил осуществить более сложную агентурную комбинацию.

В конце мая 1896 года в Ясной Поляне появился молодой человек, назвавшийся Прокофием Кирилловым, рабочим из Тулы. Сначала он попросил Льва Николаевича дать ему почитать книги, а спустя несколько дней — и запрещенные цензурой его статьи.

Просьба Кириллова была удовлетворена, о чем свидетельствуют записи в записной книжке Толстого. На одной из страниц рукой Кириллова написано «Тула. Петровская улица, д. Диковой. Прокофий Трофимов Кириллов». Далее следует запись, сделанная рукой дочери писателя М. Л. Толстой: «Письмо к... Письмо Попова. Учение 12 Апостолов. Гонение на христиан. Царство Божие» (53; 282). Из разговоров с новым знакомым Лев Николаевич понял, что тот по своим убеждениям «нигилист и атеист». Их беседы нередко заканчивались горячими спорами. «Я от всей души говорил ему, что думаю», — писал впоследствии Толстой (69; 105).

Шпион кается

В начале июня Кириллов снова появился в Ясной Поляне. «Сидим мы раз все на террасе, — вспоминает Софья Андреевна Толстая, — подходит какой-то человек и прямо подходит к Л(ьву) Н(иколаевичу). Его спросили, что ему нужно. Он говорит, что нужно с Л. Н. побеседовать. Л. Н., как всегда, согласился и пошел с ним в дом» (10). Зайдя в кабинет, Кириллов передал Толстому записку, в которой сообщалось, что он является жандармским унтер-офицером и по заданию начальника Тульского ГЖУ должен следить за тем, что делается в Ясной Поляне. Далее Кириллов писал, что ему стало нравственно невыносимо исполнять свои служебные шпионские обязанности и он во всем признается Толстому (69; 105). По словам жены писателя, раскаявшийся жандарм якобы говорил: «О чем я буду доносить?.. Здесь все живут как святые...» (10).

Композитор С. И. Танеев, гостивший в это время в Ясной Поляне, отметил 6 июня 1896 года в своем дневнике: «Л. Н. за ужином рассказал, что к нему ходил человек, бравший у него книги, “Царство божие” и другие. Сегодня он ему подал бумагу и просил прочесть; в бумаге он признается, что он шпион, посланный жандармск(им) полковником, и говорит, что его мучила совесть и он решил признаться Льву Николаевичу» (11).

О чем именно говорил писатель с Кирилловым, прочтя его записку, нам неизвестно, но на следующий день в письме к сыну Льву Толстой писал:

«Вчера у меня было удивительное событие. Раза три ко мне приходил штатский молодой человек из Тулы, прося дать ему книг. Я давал ему мои статьи некоторые и говорил с ним. Он по убеждению нигилист и атеист. Я от всей души говорил ему, что думаю. Вчера он пришел и подал мне записку. Прочтите, говорит, потом вы скажете, что вы думаете обо мне. В записке было сказано, что он жандармский унтер-офицер, шпион, подосланный ко мне, чтобы узнать, что у меня делается, и что ему стало невыносимо, и он вот открывается мне. Очень мне было и жалко, и гадко, и приятно» (69: 105).

Софья Андреевна, комментируя впоследствии слова мужа, писала: «То, что правительство приставило его (Кириллова. — В. Ч.) к должности шпиона, было противно Льву Николаевичу, но, с другой стороны, раскаяние и признание жандарма в том, что он делает дурное дело, доставило Льву Николаевичу радость» (10).

Большое значение факту раскаяния жандарма придавали последователи Толстого, видя в нем торжество толстовских идей и их очищающее влияние на «заблудшихся».

И. М. Трегубов в письме от 2 июля 1896 года писал Льву Николаевичу: «На днях я узнал, как к Вам ходил переодетый жандарм и как он потом покаялся в своем грехе. Это — чудо, и я убедительно прошу Вас записать или рассказать кому другому и попросить его записать все, что произошло с первого появления этого жандарма до последнего его слова и движения... Еще и еще подтверждение того, что Царство Божие близко» (83: 370). Однако просьба Трегубова осталась неисполненной. 8 июня Толстой в своем дневнике об этом событии оставил лишь краткую запись: «Третьего дня был жандарм-шпион, который признался, что он подослан ко мне. Было и приятно и гадко» (53; 88).

Таким образом, есть все основания предполагать, что именно этот случай из жизни Толстого должен был лечь в основу рассказа «Шпион кается», который Лев Николаевич намеревался написать для «Круга чтения». К сожалению, замысел писателя так и остался нереализованным.

Три письма от «Бывшего Тульской Жандармерии Шпиона»

Как же сложилась дальнейшая судьба раскаявшегося жандарма? Об этом мы узнаем из его писем Л. Н. Толстому, хранящихся в рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве. Эти письма ранее полностью не публиковались и широкой литературной общественности не известны (12). Их текст дается на языке оригинала с соблюдением авторской орфографии.

Первое письмо от Кириллова пришло в Ясную Поляну через полтора месяца после его последней встречи с Л. Н. Толстым. На почтовом конверте довольно-таки каллиграфическим почерком значился адрес: «Козловска — засека Московско-Курск(ой) жел(езной) дор(оги). Его Сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому. «Ясная Поляна».

«Ваше Сиятельство! Лев Николаевич, — писал Прокофий Трофимович. — Я уволен со службы шпионов в дисциплинарном порядке (сего августа буду отправлен из г.Тулы в г. Муром Владимирской губ(ернии)(на родину) средств к жизни никаких не имею и не знаю теперь что мне делать?»

Нет ли у Вас кого-либо на моей родине из знакомых, по рекомендации которых я мог бы поступить на какое либо место. Родственников у меня на родине нет (они живут в Сибири). На первое время не знаю даже к кому и приехать. Помогите Лев

Николаевич в этом моем первом шаге на трудовую жизнь. Напишите (конечно если можете) кому-либо, чтобы меня приняли на место хотя и не завидное, я и тому буду рад теперь. Не боюсь я за себя так, как боюсь за то чтобы не заставить голодать мое семейство, а в особенности моего ребенка.

На днях я приеду к Вашему Сиятельству... и попрошу еще у Вас рекомендательного (хоть на какое-нибудь место) письма. Я согласен в отъезд куда угодно (но лучше бы куда ни будь на Юг). Не оставьте моей просьбы за то буду весьма благодарен.

Июля 25 дня 96 г.

Ваш п(окорный) слуга

бывший жандарм

Прокофий Трофимов Кириллов

Тула».

После получения этого письма Лев Николаевич откликнулся на просьбу бывшего жандарма по приисканию работы для него. Были проведены переговоры с владельцем московской типографии Ф. Ф. Рисом, которого писатель хорошо знал, печатая у него свои произведения. Федор Федорович дал согласие предоставить работу протеже Толстого, о чем свидетельствует второе письмо Кириллова. В нем он сообщал яснополянскому адресату:

«Ваше Сиятельство Лев Николаевич. Честь имею покорнейше просить Вас (если это не затруднит Ваше Сиятельство, и найдет время) сообщить господину Рису, что я в данное время свободен и следовательно могу занять место (обещанное мне г. Рисом) сейгас же по полугении мной ответа.

Так как я в г. Муром по некоторым соображениям не поехал, и не поеду. А также не найдется ли возможным попросить г. Риса поместить меня с семейством (в одном из вновь строящихся зданий на квартиру, что даст мне возможность серьезнее (не отрываясь) относиться к поругенному мне делу, и быть постоянно на своем месте.

Если свободного для помещения меня места на заводе не окажется, то хоть не будет ли контора завода так любезна по отношению ко мне сообщить род моих обязанностей и занятий, что мне даст средство соображаясь с данными мне обязанностями, снять квартиру и где будет удобно, а также было бы мне жалование узнать и оклад жалованья (хотя я это считаю не обязательным для себя).

Считаю долгом предупредить контору завода чрез посредство Вашего Сиятельства, что я как техническими, а так равно и кондитерскими способностями не обладаю, и нигде при подобного рода постройках участия не принимал, пусть все это при назначении меня на новую должность принимали бы во внимание.

Увольнительные документы я еще из Управления не полугал, но это кажется не имеет большого значения, потому что меня все знают из полицейских чинов, а, в-вторых, я их полузу огень скоро чрез день-два или три дня.

Остаюсь в совершенном погтении

Вашего Сиятельства покорн(ый) слуга Кириллов.

1896 г. Августа дня г. Тула».

Прошел почти год. Следующее письмо от Кириллова Лев Николаевич получил 24 июня 1897 года из Одессы. Судя по его содержанию, предложенная Ф. Ф. Рисом бывшему жандарму работа в Москве его не удовлетворила, и он вместе с семьей в поисках лучшей жизни отправился на юг России.

«Ваше Сиятельство Лев Николаевич! — писал Кириллов. — Шлю Вам сердечный

привет из далекого Юга, куда меня загнала жажда всеведения. Хлеба доставать трудом я наугулся, и благодаря Вашим добрым советам превратился из лежебоки и трутня в работягу, но духовно моя жажда не удовлетворена. Читаю всякую дрянь из бесплатных городских гитален, интересуюсь всякой заметкой газет о Вашем здоровье, но к сожалению это очень редко выпадает на мою долю, узнал что Вы были в СПб (Санкт-Петербурге. — В. Ч.), думал приехать в Тирасполь посмотреть пещеры Тырновских затворников да и только.

Жил около 3-х месяцев в Киеве, видел все шарлатанство (прикрытое религиозными верованиями) Киевских монахов. Дух мой возмущался при одном воспоминании всех видов обирания в Лавре верующих христиан этими русскими иезуитами. Я ездил в Константинополь и сравнивая магометанство с христианством пришел к тому убеждению что в смысле купли, продажи и обирания Христианство стоит на очень низкой ступени религиозных верований человека.

Посылаю Вам вырезку из одной Одесской газеты о Вашем двойнике на острове Цейлоне. Извините Ваше Сиятельство, что осмеливаюсь Вас беспокоить всякими пустяками. Выезжаю сегодня в Севастополь, где пробуду около 2 или 3 недель. Не откажите прислать мне что-нибудь позитать, если можно то вышлите, пожалуйста, брошюрку (тогда название которой не упомяну) в которой говорится о преследовании людей отказывающихся от солдатчины, за что буду благодарен.

Адрес: г. Севастополь до Востребования Прокофию Кирилову.

Или что нибудь в этом духе, от жажды духовной и без умственной пищи, положительно приходишь в оцепенелое состояние.

Желаю здоровья.

*Бывший Тульской Жандармерии Шпион
П. Кириллов».*

В конверте вместе с письмом находилась вырезка из газеты «Одесский листок» от 1 (13) июня 1897 года (№ 141) со статьей В. Дорошевича «На Сахалине». XXV. Граф Толстой о. Цейлона». Это было последнее письмо П. Т. Кириллова в Ясную Поляну.

Литература

1. Гусев Н. Н. Два года с Л.Н. Толстым. Воспоминания и дневник бывшего секретаря Л. Н. Толстого. 1909–1909. Сост., вст. статья и прим. А. И. Шифмана. М., 1973. С. 47.
2. Там же. С. 158.
3. У Толстого. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого // Литературное наследство. Т. 90. М., 1979. Кн. 3. С. 405.
4. Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбил. изд.). М., 1937. Т. 55. С. 301–302. Все последующие ссылки на сочинения Л. Н. Толстого даются в тексте по данному изданию: первая цифра обозначает том, вторая — страницу.
5. У Толстого. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого // Литературное наследство. Т. 90. М., 1979. Кн. 1. С. 166.
6. Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891–1910. М., 1960. С. 503–504.
7. Об агентах тайной полиции, следивших за Л. Н. Толстым, см.: Чисников В. Н. Справа яснополянского агента // Наука і суспільство (Київ). 1985. № 9. С. 59–61; его же. Агенты охраны в Ясной Поляне // Социалистическая законность (Москва). 1988. № 11. С. 61–64; его же. Лев Толстой: «Я под присмотром тайной полиции...» // Именем закона (Киев). 1991. июль–август (№ 27–30); 1992. 29 мая (№ 22); его же. «Имею честь донести...» (Неопубликованные полицейские донесения об уходе и смерти Л. Н. Толстого) // Именем закона. 1992. 20 ноября (№ 47); его же. Не Симонов, а Симон! // Новый журнал. 1995. № 1. С. 189–190; его же. Шпи-

- оны в Ясной Поляне // Шпион (Москва). 1995. Вып. 7. С.60–67; Л. Н. Толстой и С. В. Зубатов // Русская классика: проблемы интерпретации. Материалы XI Барышниковских чтений. Липецк: ЛГПУ, 2002. С. 78–87; его же. Секретная миссия студента Симона // В мире спецслужб (Киев). 2004. № 5. С. 45–48; его же. Жандармский обыск в Ясной Поляне // В мире спецслужб. 2006. № 3 (15) (апрель). С. 36–41; его же. Владимир Кривош: «оставить в подозрении» // Нева. 2008. № 7. С. 216–224; его же. Тайное отпевание на могиле Л. Н. Толстого 12 декабря 1912 года // Нева. 2008. № 9. С. 219–228; его же. Федя Протасов — агент Охранки?! Загадка пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп» // Нева. 2013. № 1. С. 211–223.
8. Рукописный отдел ГМТ. Дело Департамента полиции № 349. Ч. 2 «Записки об учении графа Л. Н. Толстого». Д. 33.
9. Петухов А. А. Беседы с тульскими рабочими // Советские архивы. 1978. № 5. С. 98.
10. Толстая С. А. Моя жизнь // Новый мир. 1978. № 8. С. 118.
11. Танеев С. И. Дневники. Кн. 1: 1894–1898. М., 1981. С. 158.
12. Некоторые выдержки из писем П. Т. Кириллова были опубликованы автором статьи в газете «Коммунар (Тула)», 1988, 18 авг. и «Юридичний вісник України» (2001, 7–13 верес. № 36).

РЕЦЕНЗИИ

РАЗОБЛАЧЕННАЯ МОРОКА

Ирма Кудрова. Прощание с мороккой. СПб.: Крига, 2013. — 488 с.

Имя Ирмы Кудровой известно читающему миру как имя автора прекрасных работ о жизни и творчестве Марины Цветаевой. И вот перед нами новая, на этот раз мемуарная книга, впрямую Цветаевой не посвященная. Хотя на протяжении большей части жизненного пути автора Цветаева остается ее постоянной спутницей и, говоря цветаевскими же словами, — «сновиденным» собеседником.

Но и вообще собеседники — реальные и заочные — оказываются здесь в центре внимания. Перед читателем проходит галерея интереснейших лиц — одни на авансцене (им посвящены отдельные главы), другие, так сказать, на «среднем плане» повествования. Это писатели и поэты Виктор Конецкий, Вениамин Каверин, Давид Дар, Иосиф Бродский, Ефим Эткинд, переводчики Александра Андрес и Эльга Линецкая, но еще и дочь Цветаевой Ариадна Эфрон, и философ Георгий Померанц, издатели Карл и Эллендея Проффер.

Пестрое, богатое событиями полотно жизни встает со страниц книги: подростковые годы в эвакуации, юность, окрашенная мечтаниями о построении мирового коммунизма, спор с пленными немцами о сталинской России и гитлеровской Германии, годы в Ленинградском университете на фоне нескончаемых «проработок» ученых и деятелей культуры, атмосфера шельмования студентов за малейшую попытку самостоятельного поступка. Подробности личной судьбы сведены в книге к минимуму; зато настойчивой темой через повествование проходит история внутреннего *высвобождения* автора от власти того идеологического морока, в котором выросло в нашей стране несколько поколений. Высвобождение — и поиск новых жизненных опор рождаются в спорах и жадном поглощении разного рода «нелегальной» информации; на страницах книги спорят школьники, студенты, аспиранты Пушкинского Дома... Новые дружеские связи оказываются подчас опасными, приводя к вынужденным беседам в неизвестном ленинградском Большом доме... Но все идет в жизненную копилку — и спустя десяток лет автору пригодятся

эти малоприятные эпизоды при расшифровке невнятных в протоколах допросов на Лубянке мужа Марины Цветаевой Сергея Эфрона.

Упрямый поиск «своего» дела, обретение его (замысел создать максимально полную биографию поэта), и далее — нелегкий поиск материалов. В эти годы Кудрова уже работает в редакции ленинградского журнала «Звезда» и погибает под грудой неиссякаемых рукописей. К счастью, выручают командировки: многие авторы журнала живут в Москве. И там же — дочь Цветаевой — Ариадна Эфрон, и московские библиотечные спецхраны, во многих отношениях более богатые, чем ленинградские, и необозримая вереница тех, кто в той или иной степени знал Цветаеву на разных этапах ее жизни. Так появляются на страницах книги лаконичные, но запоминающиеся портреты и Риты Райт-Ковалевой, и сына известного генерала Кутепова, и близких друзей поэта по эмигрантским годам — сестер Катерины и Юлии Рейтлингер...

В характеристику времени — а это, по сути, главный герой рецензируемой книги — не могли не войти и характерные споры 70-х годов — негласные споры, в кругу друзей, знающих друг друга еще с университетских лет. Интереснейшая глава книги называется «Смена ценностей», и речь в ней идет о той «мозговой перестройке», которую переживало поколение «шестидесятников» вслед за отказом от привычно коммунистических взглядов. Среди участников этих домашних встреч были видный политик Виктор Шейнис, социолог Андрей Алексеев, авторитетные ныне историки: Валентин Алексеев, Юрий Егоров, Валентин Дякин, Ефим Тепер... Впрочем, жарко и увлеченно спорят на страницах книги многие: студенты, ученые, писатели, обитатели Дома творчества писателей в Комарово под Ленинградом, молодые диссиденты... В широком спектре тем преобладают все же общественно-политические и исторические. Что и неудивительно — поколение автора как раз «посетило сей мир в его минуты роковые»... Сопоставим хотя бы несколько фактов: в 1953 году автор едет в Москву на похороны Сталина, через тринадцать лет присутствует на похоронах Анны Ахматовой, а в самом начале 90-х уже участвует в Международной Цветаевской конференции, которую организовал в Штатах Ефим Эткинд.

Не только тональность повествования, но даже его ритм меняются с началом перестройки. Падение советского колосса на глиняных ногах дало надежду получить доступ к закрытым ранее материалам, возможность работать не только в России, но и за рубежом, увидеть свои работы в печати.

Все это написано ярко, захватывающе, в стилистике, которую хочется назвать стремительной. «Документальные свидетельства» времени всегда интересны — но, как и в любой настоящей литературе, главное здесь все же «душевная оптика» пишущего, не *что*, а *как* это все — процитируем Цветаеву — «увидено, запомнено и поведано»... Когда-то мне довелось писать о только что вышедшей цветаевской биографии авторства Ирмы Кудровой («Путь комет», первое издание в 2002 году), и уже тогда как одно из редких достоинств книги я назвала умение автора дать масштабную картину эпохи. Без такого контекста даже тщательно прорисованный образ не получается объемным. Повторю это и теперь. «Прощание с морокой» — немного эпос, потому что здесь явственно «слышно, как время идет» (Ахматова), но и роман воспитания — потому что ведет рассказ героиня не просто наблюдающая, но и осмысляющая, бурно меняющаяся и не раз пережившая свою «смену вех».

Отсюда и лейтмотив книги, нашедший выражение в ее названии. Автор, который в основном больше «показывает», чем «рассказывает», впрямую формулирует: «Мы росли и выросли в золотом коконе дурмана, майи — советской идеоло-

гии, входившей в наши поры незаметно и ежедневно, с самого рождения», «в успокоительном гипнозе лжи мы жили абсолютно вслепую — жили, почти ничего не зная и не понимая из того, что происходило у нас под носом; мы были зомбированы, с потрохами, с самых пеленок!» И о своих друзьях: «Мы помогли друг другу не просто стряхнуть с себя чару советских иллюзий и глупостей, но — что гораздо более ценно — обрести новые опоры мироощущения».

Сложно бывает — особенно это знакомо как раз биографу и архивисту — объективно оценить настоящее, еще сложнее делать прогнозы на будущее, в исторической перспективе мы нередко видим, как ошибались и замечательные люди, — но и прошлое глядит на нас разными ликами в зависимости от того, из какой точки мы на него смотрим. Советская «морочка» сломала жизнь миллионам людей — ровесникам Цветаевой и ее дочери Ариадны. Поколению автора книги пришлось упорно преодолевать гибельную «чару», поколение ныне сорокалетних застало ее уже ветхой и серой, «как бабушкин сон», потом система и вовсе рухнула, развеялась, казалось бы, навсегда, как сам тот морок...

Но сейчас на дворе вновь «сумерки свободы», явственно папахивающие то ли печально знакомой советской риторикой, то ли уваровской триадой... Да, коренным образом изменилась возможность доступа к информации, открой Интернет — и читай-обсуждай, что тебе угодно. И тем не менее. Мощная чара энергично *внушаемого* способна и сегодня действовать на умы — не слабее, чем когдатопняя строгая цензура. Прошлое, не осмысленное по-настоящему, способно вернуться бумерангом. Тем более на вес золота свидетельства, где об этом прошлом можно не просто прочесть — но и пережить его вместе с автором отличной книги.

Юлия Бродовская

СВЕТОНОСНОЙ СИЛЫ СЧАСТЬЕ

Лунный челн. Стихи, рассказы, эссе. М.: Золотое перо, 2013. — 100 с.

«Я вдруг понял: вот эти две жизни и есть то главное, без того нет меня. Это моя маленькая вселенная. Хрупкая и единственная. Ради нее — мое существование. Мне, именно мне предназначено защитить ее от подстерегающих нас бурь и бед. Я смотрел им вслед, поэтому-то уверенный, что все у меня полугится» — так заканчивается одна из глав книги Игоря Гамаюнова.

Вселенная каждого человека одновременно космически необъятна и бесконечно хрупка. Но мы, в погоне за чужими вселенными и заработком, очень часто забываем про собственную — хрупкую и единственную — ту, за которую мы в ответе, как в ответе за все сотворенное нами. Эта вселенная — наши близкие, наш дом, наш сад. Сделай счастливым хотя бы одного человека рядом или хотя бы постарайся не сделать его несчастным, и ты выполнишь свое предназначение в жизни.

Настоящий поэт — это тот самый человек с молоточком, который заходит в наши дома и стучит, напоминая о том, что мы давно забыли: о том, что есть время для радости и любви, для тепла и заботы, без которых все наши достижения подобны «меди звенящей».

«Там, у окна, я пережил минуты счастья такой светоносной силы, что его хватило потом на все остальные годы...» — пишет Игорь Гамаюнов. Счастье не зависит от славы, величины жилплощади, наличия крутой машины. Оно — как данность. Счастье или есть, или его нет — даже если есть все остальное. Но есть особая порода людей, которые счастье чувствуют острее других. Чистый и верный звук чьего-то голоса, дрожание белых колокольчиков на ландышевом стебле, спе-

лая земляничина, медный солнечный блик в волосах, последняя огненная вспышка тонущего в зеленой воде солнца — все это мы видим в детстве, еще не умея описать словами, но уже принимая всем сердцем. Потом вырастаем, учимся жить и — видеть забываем. Помнят — дети. И поэты. На вере, мечтах и надежде которых держится мир, захваченный взрослыми.

И вот те, кому дано ПОМНИТЬ, как это было в детстве, — и есть единственные счастливые люди. Потому что их счастье приходит к ним, не спрашивая. Может хлынуть в душу неожиданно, стоит только распахнуть окно в сердце. Радуга, дождь, волна, боль, свет, скрипка, соль на губах, глоток родниковой воды — счастье. Нас, забывших себя и как быть счастливыми, только поэты и возвращают к себе.

В наше прозаичное время поэты — уже не поэты, они забыли о том высоком предназначении, которое делает их ответственными за всякое слово, всякую букву. Главное — самовыразиться.

Но есть еще те, кто дорожит родным языком, в чью чистую поэзию погружаешься, как в прохладную спасительную воду.

Игоря Николаевича Гамаюнова как поэта я открыла для себя недавно. Зная его по острым и подчас жестким судебным очеркам, невозможно понять, как и откуда в его прозе и стихах такая чистота и ясность, такой юношеский романтизм, такая боль и такая любовь к родным краям, неяркой родной природе, ковыльным степям:

Ковыльные степи, простите меня.
Я так далеко от родного порога...

И дальше:

...Как будто охвачены страшным недугом,
Ковыльные степи погибли под плугом. <...>

Неужели я только лишь прах
Вот в этих, когда-то ковыльных, степях?

Так чувствовать родную природу дано избранным. Но избранность эта — не только дар, но и призвание. Она не дает зачерстветь сердцу, которое тоньше, острее, больнее реагирует на все, что обычных людей зачастую уже и не трогает. Сердце поэта — сердце, которому больно, и трудно, и тесно в бездушном мире *«погибшего леса, истоптанных трав»*.

«Я писал стихи как дневниковые записи — время от времени, — рассказывает Игорь Николаевич. — ...Это дневник душевных состояний, исполненный в стихах и в прозе, со стертой границей между двумя видами литературного творчества».

Книга И. Н. Гамаюнова «Лунный челн» — это совершенно особый жанр. Это и есть дневник, но дневник сердца более, нежели мыслей. В эту книгу входишь легко и сам не замечаешь, как погружаешься, и — уже не выплыть до последних строк: «Медленно поднимаясь по круто вьющейся тропинке, я повторял *услышанные в самом себе* строчки, запоминая их...» Да, именно так, вся книга «Лунный челн» — это музыка услышанных в самом себе слов. Отсюда и чистота, и родниковая незамутненность строчек:

Я в полевой степи,
Горьким дымом клубясь,
Обрету с небом звездным желанную связь. <...>
Степь темна и нежна.
Жизнь без этого мне не нужна!

Но прозрачный родник поэзии неизбежно вливается в ручей, ручей — в реку, воды его наталкиваются на пороги, вода вспенивается, шумит, превращаясь в стремительный поток, несущий все увиденные когда-то образы, все потери, страхи, все вопросы, обращенные к самому себе, вечности, Богу, бытию и небытию, любви и нелюбови. И в этом пенном шуме можно уловить уже совершенно другие мотивы:

Расступитесь, мне душно. Спина, будто рана.
Резь в лопатках. В затылок мне дышит судьба.
Лязг троллейбусной дверцы.
И в сумраке странном
Покачнулись. Поплыли, как в клочьях тумана.
Где ж обещанный рай золотистой поляны?
За стеклом — заводская стена. И — труба.

Боль в висках и спине.
Треск разорванной ткани.
За плечами узлы перепончатых крыл.
Пропустите! Мне — вверх. Не хватайте руками...

Не случайно этими строками открывается книга! Здесь начинается завязка конфликта, через который проходит лирический герой. Конфликта личности поэта, готовой взлететь, и мира «заводских стен». Но в отличие от заводской стены Иосифа Бродского, стены, символизирующей мощь нового мира, приходящего на смену старому, «заводская стена» Игоря Гамаюнова — это тюремная стена. Стена, за которой держат в плену сердце поэта, не давая ему взлететь, развернуться... Он и сам чувствует зреющую в себе мощь, но как будто и боится той неизвестной силы, которая, взрываясь в нем, выталкивает из-под ног у него землю:

*...Обожженная гудом взорвавшейся страсти,
Вдруг ушла из-под ног у меня навсегда.*

Я — рожденный лишь ползать — взлетел над домами...

Взлетел — и теперь уже ничто не имеет значения: ни суета, ни спешка, ни даже томившие когда-то мечты:

Боже, дай мне забыть, как я там пресмыкался
Земноводною тварью, меж бед и побед.

Прекрасный образ! Мы говорим, что образ точен тогда, когда чувствуем, что «да-да, именно так!», что именно это мы и чувствовали, только вот не могли выразить сами.

Образ взлета и потом — прерванного полета идет пунктиром через весь «Лунный челн». Это мечта взлететь, и страх, и любопытство: «А что же там, за гранью времени и пространства?».

Поэт на земле, как в цепях. Снова и снова звучит:

Отпустите меня!

Душа просит неба, пусть это и будет губительно для привязанного к земле тела. И, читая эти строки, я вспомнила Маленького Принца Экзюпери: «*Мое тело слишком*

тяжелое. Может быть, тебе покажется даже, что я умираю». Очищение, полет, воскресение — для этого сначала нужно пройти через огонь, через боль, даже смерть, ведь пока не умрет, упав в землю, горчичное зерно, оно не принесет плода:

И знаю, что гибель свою угадаю —
Увижу в траве,
в облаках,
на песке...

...Ту гибель, за которой следует воскресение. Воскресение в себе самом, но уже новом и просветленном, в ощущении своего дома, родной природы, которая от поэта неотделима, которая и есть поэт, как поэт есть часть природы: «*И, может быть, единственное, что дает нам силы жить дальше, это чувство своего дома. Ощущение себя его живой частью. Его душой*», — говорит Игорь Гамаюнов в главке, которая называется «Заячьи сны». Это не просто слова. Игорь Николаевич — русский человек, русский от самого первого своего слова, от дедов-священников, от полей и рек, от любви к родному языку и ощущения своей сопричастности дому, земле, стране. Это и есть подлинная любовь — осознание своей ответственности за все, что происходит в твоей вселенной, за сад твоей души и за твой дом, твою семью, твои поля и реки — за все, что мы зовем Родиной человека.

Мария-Алиса Свердлова

МЕСТО, ГДЕ СВЕТ

Елена Крюкова. Тибетское Евангелие. М.: Время, 2013.

Когда тебе обещают подарить энциклопедию, сразу начинаешь представлять массивное многотомное издание. При виде подарка — крошечного томика в мягкой обложке с гордым названием «Энциклопедия грибника» — лишь улыбаешься: «Разве это энциклопедия?!» Хотя с заголовком не поспоришь.

Когда в списке номинантов на премию «Национальный бестселлер» встречаешь книги, изданные не просто скромным, а очень скромным тиражом, тут же хочется воскликнуть: «Да ну, какие же это бестселлеры?!» Однако число читателей электронных версий тех же произведений, добытых в Интернете, по идее может измеряться десятками и сотнями тысяч.

Когда берешь в руки роман Елены Крюковой «Тибетское Евангелие», чувства примерно такие же.

Книга родилась из апокрифа о юности Христа: мальчик Исса увязался за иерусалимскими купцами, направлявшимися в Азию. В пути его ждали интересные встречи, уникальные открытия и неожиданные откровения. Дневник Иссы становится одним из трех пластов романа «Тибетское Евангелие». Второй пласт — речи Ангела Господня, присматривающего за отроком на всем протяжении путешествия. Третьим, самым обширным пластом повествования становится судьба бедного старика Василия — современного жителя Иркутска, пережившего много горя и решившего перед смертью дойти до Байкала.

С первых же страниц Василий предстает перед нами в качестве невероятно странного персонажа. Типичный бродяга и пьяница, сошедший с ума от водки, одиночества, непонимания и болезни. Но с другой стороны, он — юродивый, блаженный и просто человек Божий. Здесь мы можем припомнить недавние книги

Крюковой «Серафим» и «Юродивая». Таким образом, в «Тибетском Евангелии» автор продолжает уже привычную для себя тему. Старик в романе кажется то законченным безумцем с раздвоением личности, по которому плачет «дурка», то настоящим чудотворцем, способным на великие дела. Психологически героя можно назвать одновременно и простым, и сложным.

Сдав стеклотару, Василий решает потратить выручку не на очередную бутылку, а на покупку билета на органнй концерт. Уже необычно! Игра органистки — хрупкой девочки Лиды — вызывает у него целую гамму неизведанных и забытых чувств. Небольшой эпизод тесно сплавляет классическую тему «детство — отрочество — юность» с темами любви, религии, искусства, общества и, наконец, свободы. Музыка делает Василия свободным, и в старом зеркале он видит не умирающего старика, а просветленного юношу Иссу. Либо огромное чудо, либо начало сумасшествия, либо просто сон или даже смерть. По крайней мере, некоторые необычные события, происходящие в романе, наводят именно на такую мысль. Сон — самое простое объяснение: уснул человек на концерте и увидел полуфантастическое кино с собой в главной роли. Или наш герой умер и стал путешествовать по загробному миру — тоже логичная версия. Впрочем, автор все-таки просит читателя поверить в чудо, а если не получится, то просто признать Василия кем-то типа юродивого. Тут уже вспоминается одна из самых известных песен Егора Летова: «Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя...» И старик, почувствовавший себя юношей, действительно начинает хождение по Иркутской области в поисках места, где Свет.

Включается традиционный мотив пути со всеми его атрибутами: в дороге будет как холод с голодом, так и приют с пищей, будут и драки, и танцы, встретятся и злые люди, и добрые, а еще будет множество таких же странных персонажей, как и сам Василий. И каждого он попытается преобразить к лучшему, исцелить.

В грубой бомжихе Маньке старик увидит человека, а не дешевую вокзальную проститутку. Но все зря! Убегающую от милиционеров Маньку переедет поезд. Выяснится, что за шесть часов до гибели она убила и ограбила человека.

Следующее знакомство Васи-Иссы закончится еще страшнее. «Добрый самаритянин», разбудивший заснувшего старика в электричке на конечной станции и позвавший к себе домой, чтобы накормить, окажется членом банды. И Василию придется стоять на шухере, пока бандиты убивают одинокую мать с маленькой дочкой и вытаскивают все ценное из их дома. Тут наш герой совершает чудо: непонятным образом заставляет воров вернуть награбленное и похоронить убитых. Однако если задуматься, грош цена такому чуду: совершил духовную победу над головорезами, но допустил гибель невинных людей, которых воскресить не способен.

Что важнее: спасти тело или спасти душу? Этот религиозный вопрос в нашем социуме в последнее время стоит особенно остро. Когда панк-группа «Pussy Riot» устроила скандальную акцию в храме Христа Спасителя, среди прочих звучало мнение, что девушки совершили гораздо более тяжкий грех, нежели убийство. Некоторые соглашались. Их оппоненты, в свою очередь, говорили, что сравнивать мелких хулиганок с кровавыми маньяками категорически недопустимо. Герой романа «Тибетское Евангелие» не противится убийству, зато пытается спасти души злодеев и наставить их на путь истинный лишь после его совершения.

В параллельной истории из дневника Иссы, жившего две тысячи лет назад, тоже есть встреча с разбойниками. Но Исса спасает и тела идущих с ним купцов, и души бандитов, проливая лишь несколько капель собственной крови. Василий на такое не способен. Таким образом, он — не современный Иисус — зеркало обмануло.

Такие параллели Крюкова проводит намеренно — главки о древнем и нынешнем Иссе чередуются. Однако выводов или хотя бы подобия басенной морали просто нет — видимо, автор предлагает читателю сделать нужные выводы самостоятельно.

Танец обнаженных купальщиц в океане, подсмотренный Иссой и купцами, выглядит чем-то неописуемо прекрасным и девственно чистым. Танец Люськи на рынке под Иркутском заканчивается битвой на ножах между Василием и ее мужем, а затем — милицией и сумасшедшим домом. Прекрасное превращается в грязное и пошлое.

Пошлость есть и в чудесном исцелении стариком юной Ленки Шубиной: чтобы вернуть кормящей матери пропавшее молоко, наш герой кладет руки на груди девушки и бормочет подобие молитвы о спасении. При этом чувствуется, что Василия переполняет вождление. Супруг Ленки прогоняет старца.

Толпа сельчан его тоже отвергает и гонит, бьет и закидывает камнями, местный охотник и вовсе хочет пристрелить. Сумасшедший бродяга-чужак говорит непонятные вещи и источает свет. Кстати, на латыни «несущий свет» — это Люцифер. Падший ангел. Так, может, не зря народ его отвергает? Если толпа не понимает речей поэта, может, проблема все-таки в поэте, а не в толпе? Может, людей устраивает привычная жизнь без пророка в своем отечестве?

Необходимо упомянуть о лексическом строе романа. Повествование отчасти напоминает притчу или сказание. И это в какой-то мере стало уже традиционной стилевой особенностью прозы Крюковой. Но без пошлости и здесь не обходится, правда, следует признать, что эта пошлость выглядит красиво. Думая об органистке Лидочке, давно близко не общавшийся с женщинами Василий хочет ее «зацеловать и там, между раздвинутыми белыми омулевыми ногами», при этом «у него восстал, пожелав за много лет красивую женщину, твердый, истекающий соком уд». Невольно возникает ассоциация со ставшим почти что притчей во языцех «афедроном» Елены Колядиной. Лидины «омулевые ноги» вызывают еще одну важную мысль: в «Тибетском Евангелии» то и дело упоминается рыба как один из христианских символов. Засохший вяленый омуль — одна из главных ценностей Василия. Плюс с омулем он будет сравнивать и зеркальце над головой органистки, и лицо Ленки Шубиной, и ножи на черемховском рынке. То наш герой будет кормить несчастных рыбой, то рыбой будут кормить его.

От рыб перейдем к зверям. Многие второстепенные персонажи книги отчетливо напоминают диких животных: словно хищники, они убивают других и не пускают в свою стаю чужаков. Однако автор показывает нам и настоящих зверей, с которыми отвергнутый всеми Василий встречается в часы отчаяния. И оказывается, что люди более жестоки, нежели звери. В памяти всплывает речь героя Борислава Брондукова из фильма «Гараж»: «Так вот, животные, моя милая, не уничтожают себе подобных. Тигр не ест тигра, медведь не пожирает медведя, а заяц не убивает зайца. Если раненый кит не может всплыть на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, другие киты подплывают под него и выносят его наверх. Товарищи, мы же топим друг друга!»

В финале Исса идет по озерной воде и доходит до места, где Свет, становясь Господом. Василий к конечной цели плывет на старой лодчонке, в пути из горла выпивает целую бутылку водки, в итоге вваливается в воду и тонет в Свете.

Писатель привел героев к абсолютной свободе. Но народ все равно остался при своем.

Станислав Секретов

Альберт СТАРЧЕВСКИЙ

О ЗАСЛУГАХ РУМЯНЦЕВА, оказанных отечественной истории

Мы с уважением должны произносить имя Румянцевых: ибо во многом обязаны трем доблестным мужам из этой фамилии, которые навсегда заняли почетное место на страницах истории трех великих царствований. — Петра, Екатерины и Александра. Первый из Румянцевых избавил отечество от внутренних смут и внешних вторжений, которыми угрожало противодействие великому преобразованию Петра. Второй стоял на страже отечества в то время, когда нам более всего нужно было спокойствие, для прочного развития начал, положенных в основание русской жизни Петром Великим. Россия, окрепшая и возмужавшая в царствование Екатерины Великой, при внуке ее, благословенном Александре, нуждалась в умах административных: тогда явился третий Румянец, действовавший в течение всей своей жизни единственно для блага и славы отечества.

Цель нашей статьи — указать на заслуги, оказанные сим последним доблестным мужем науке отечественной истории; но, чтобы яснее понять и вернее оценить деятельность графа Румянцева в этой сфере, необходимо прежде бросить беглый взгляд на обстоятельства его жизни.

Граф Николай Петрович Румянец был сын фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского; родился он в памятный для России год (1753), в который императрица Елисавета уничтожила смертную казнь; воспитывался в доме отца. С юных лет Румянец отличался кротостью, благородством души, светлым умом и необычайною понятливостью. Конечно, этому немало содействовало и то, что воспитание его совершалось в глазах героя Кагульского, мужа известного энергиею своей души, который, в свободные мииуты от государственной службы, наблюдал за воспитанием сыновей. Молодой Румянец вполне оправдал надежды отца. Старому воину жаль было только одного, что сын его не имел влечения к военному поприщу.

Образованность и в особенности знание иностранных языков весьма рано обратили на молодого Румянцева всеобщее внимание. Это льстило немало честолюбию отца, который писал к императрице Екатерине II об успехах старшего сына и просил употребить его по дипломатичекоюй части. В год восшествия на престол Екатерины II (1762), молодой Румянец записан был в военную службу. На семнадцатом году (1770) он был уже адъютантом, а спустя два года (1772) пожалован в камер-юнкеры. Через два года после того он уехал за границу для окончания своего образования и пробыл там около пяти лет¹. Возвратившись в отечество, он посту-

¹ Бантыш-Каменский в биографии гр. Н. П. Румянцева повествует иначе; он пишет, что во время вторичного бракосочетания наследника престола (1776), граф Николай Петрович Румянец, имевший только двадцать три года, отправлен был в Вену с возвещением об этом событии.

пил на службу при дворе и пожалован в камергеры (1779). Вслед за тем он назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при германском сейме (во Франкфурт-на-Майне). <...>

Находясь в самом почти центре германской учености, мог ли Румянцев оставаться равнодушным ко всем вопросам, занимавшим тогда ученый мир? Убедившись в неполноте своего образования, он с усердием приступил к изучению германской, французской и английской литератур. Находясь на одном месте целые пятнадцать лет, Румянцев обогатил свои сведения, в особенности в науках политических, исторических, филологии и библиографии. Ознакомившись с сокровищами, которые раскрыла пред его любознательным взором образованность главнейших европейских государств, он хорошо понял младенческое состояние наук в своем отечестве. Тогда-то родилась у него мысль: оказать соотечественникам услугу в этом отношении. В то время в Германии особенное внимание ученых направлено было к обработке истории вообще: быть может, это обстоятельство было причиною, что и деятельность Румянцева избрала поприще историческое.

Первою его мыслию было составить себе отборную библиотеку, которая могла бы быть полезною в его отечестве. При составлении ее он обращал внимание только на любимые предметы, но в особенности на все то, что прямо или косвенно касалась отечественной истории. В течение пятнадцати лет он сделал много важных приобретений, и должно отдать ему полную справедливость в том, что между всеми русскими книгохранилищами нет ни одного, которое могло бы похвалиться такою многочисленностью сочинений по предмету северной и славянской историй, какое мы встречаем в его музее. Вторая важнейшая часть его библиотеки состоит в собрании сочинений по части библиографии вообще.

Однакож Румянцев, следя за развитием иностранных литератур и собирая библиотеку, не забывал главных своих обязанностей. Он успел уже отличиться на поприще дипломатическом, чему доказательством служат награды, полученные им от императрицы, умевшей ценить достоинства и заслуги своих сановников. Сначала (1784) он пожалован кавалером ордена Святого Владимира II степени Большого креста, потом (1791) произведен в тайные советники, а за усердные действия к поддержанию стороны Бурбонов и пребывание его в Кобленце при братьях короля французского Людовика XVI, Румянцев получил в том же году орден Святого Александра Невского.

Этим оканчивается общественная деятельность графа Николая Петровича Румянцева в царствование императрицы Екатерины II. Нельзя не заметить, что, хотя он был уже важным государственным сановником и человеком зрелых лет, однакож частная его деятельность все еще была ограничена. До самой почти смерти Екатерины, он зависел от отца, который как будто не давал забывать ему, что он сын героя кагульского². Находясь в чужих краях, граф Румянцев должен был жить весьма скромно, или даже, как сам он выражался, претерпевать большой недостаток. Он получал не более двенадцати тысяч рублей жалованья; отец же давал ему только шесть тысяч рублей в год. При таких ограниченных средствах мог ли граф Николай Петрович выполнять свои обширные планы?

В конце царствования императрицы Екатерины II (1795), когда влияние графа Румянцева на дела политические обнаружилось в полной мере, неудовольствия и козни завистников принудили его оставить посольское место: испросив увольнение, он возвратился в отечество.

² 21.07 (3.08) 1770 года вшестеро превосходящая численностью турецкая армия была разгромлена русскими войсками под командованием генерала П. А. Румянцева на р. Кагул. — М. Р.

Кончина Екатерины II повергла Задунайского в могилу. Внезапная смерть отца сильно поразила чувствительную душу графа Николая Петровича; но с другой стороны она представила ему все средства к расширению его полезной деятельности, стесненной до сего времени влиянием родительской власти.

Император Павел также высоко ценил заслуги его. Но восшествии своем на престол, он осыпал его милостями. Призвав ко двору, он пожаловал его сперва в гофмейстеры; потом, спустя десять дней — в обер-гофмейстеры, спустя еще три дня — в действительные тайные советники. В царствование Павла он занимал должности генерал-прокурора и главного попечителя вспомогательного банка и сделан сенатором.

Переходим к политической деятельности графа Румянцева в царствование императора Александра I.

Для рассмотрения важных дел и постановлений правительства в России давно уже существовал при дворе Государственный совет. Александр I, желая преобразовать его и учредить на особых и постоянных правилах, составил его первоначально из одиннадцати лиц, а потом присоединил к ним Румянцева. <...>

Вскоре потом граф Румянцев назначен был главным директором Департамента водяных коммуникаций и экспедиции об устройении в России дорог. По учреждении министерства он сделан министром коммерции (1802). Управление свое этими двумя частями ознаменовал он множеством важнейших учреждений во всех концах России.

По званию главного директора водяных сообщений Румянцев заботился об открытии водяных сообщений по разным направлениям рек. <...>

По случаю увольнения министра иностранных дел генерала от инфантерии Будберга (1807) место его занял граф Румянцев с оставлением при нем и прежних двух должностей, из которых первую он управлял до 1809 года и, будучи возведен в государственные канцлеры за заключение выгодного мира с Швециею, передал управление путями водяных сообщений принцу Гольштейн-Ольденбургскому Георгу. Вторая же должность, министра коммерции, отошла от него только в 1812 году.

В течение одиннадцатилетнего управления Румянцева министерством коммерции, торговля России не только приведена была в цветущее состояние, но сравнялась с торговлями первейших европейских государств. Санкт-Петербургский порт, занимавший почти половину торгового оборота всей империи, вполне оправдал его попечение. Отпуск отечественных произведений постоянно превышал привоз иностранных. <...>

Обратимся к действиям графа Румянцева по Министерству иностранных дел.

Румянцев вступил в управление Министерством иностранных дел в 1807 году. В следующем году он сопровождал императора Александра в Эрфурт, после чего был удостоен ордена Святого Владимира I степени. В исходе того же года он был отправлен в Париж для переговоров с Наполеоном, который в 1809 году употреблял его посредником в примирении Австрии с Франциею.

Во время пребывания своего в Париже Румянцев пользовался особенным благоволением императора Наполеона, который, говоря однажды об обширных его познаниях, прибавил, что он не видал еще никого из русских с такими глубокими сведениями в истории и дипломатии.

В 1809 году при заключении в Фридрихсгаме мира со Швециею Румянцев и Алопеус назначены были уполномоченными с русской стороны. Граф Румянцев, приняв в основание цель оградить отечество твердыми пределами, пресечь однажды навсегда предлог к войнам с Швециею и утвердить единообразие политической системы, заключил мир на таких условиях, которые вполне согласовались с его на-

мерениями. Новые приобретения, прикрытые, с одной стороны, сильным Свеаборгом и другими крепостями и важным для морской силы положением Аландских островов с другой, окруженные Ботническим заливом и отделенные от соседней державы большими реками: Муопио и Торнео, навсегда положили твердую и незыблемую опору нашему отечеству. Фридрихсгамский договор доставил графу Румянцеву почетное звание государственного канцлера,

Вслед за тем Румянцев, пользуясь отличною доверенностию государя, облечен (1810) званием председателя Государственного совета, продолжая заведовать обоими министерствами и, сверх того, присутствуя в Правительствующем сенате и т. д.

Во время управления графа Румянцева Министерством иностранных дел произошли следующие важные события: продолжалась (по 1812 год) война с Турциею; последовал разрыв между Россиею и Англиею (1807); объявлена война Швеции, кончившаяся Фридрихсгамским миром; происходили переговоры с Великобританиею о примирении ее с Франциею (1808) — к несчастью неудачные; увеличилось могущество Наполеона (1809); Бернадот избран шведским кронпринцем (1810); заключен тесный союз с кабинетом Стокгольмским (1812); заключен мир с Англиею при Эбро, которого главным основанием было восстановление дружбы и торговли ее с Россиею и обещание взаимного вспомоществования против враждебного государства; заключен графом Румянцевым и полномочным испанским министром доном Франциском де Зеа-Бермудесом в Великих Луках союзный договор для развлеченія сил Наполеона. Второю статьею этого договора обе державы обязались вести жестокую войну с общим их врагом. Тогда государственный канцлер был только исполнителем воли императора Александра. Вступление неприятеля в пределы России так тронуло Румянцева, что он заболел и от душевного огорчения получил апоплексический удар, который, причинив ему глухоту, увеличил ее от времени до такой степени, что в последние годы своей жизни он ничего не мог слышать и с ним объяснялись посредством аспидной доски.

Чувствуя крайнее изнурение сил своих и не переставая носить звание канцлера, вдали от театра войны и дипломатических сношений, граф Николай Петрович неоднократно испрашивал у государя увольнения от всех должностей; но, не получив ответа, он сам решился удалиться от службы, сдал портфель министерский старшему по себе члену Коллегии иностранных дел и переехал из канцлерского дома в свой собственный. По одержании над французами победы и по возвращении в отечество император Александр немедленно посетил графа Румянцева, уверяя заслуженного старца в своем неизменном благоволении. <...>

Граф Николай Петрович возобновил лично просьбу свою об увольнении. Император, уважая долголетнюю его службу и тягость понесенных им трудов по многообразным ветвям государственного управления, изъявил наконец согласие на его прошение с тем, чтобы он сохранял звание государственного канцлера по свою смерть и не переставал по мере сил содействовать пользам отечества³.

Из этих главнейших фактов политической деятельности графа Румянцева в течение с лишком тридцати пяти лет мы видим, как умел этот государственный сановник понимать нужды России, как тщательно следил он за развитием политики и промышленности на Западе, стараясь воспользоваться всяким новым открытием, которое с пользою могло быть применено к нуждам его отечества. <...>

³ Граф Румянцев предоставил тогда же в пользу инвалидов весь свой оклад, с которым был уволен от службы, и многие драгоценные вещи, подаренные ему разными иностранными дворами.

Обратимся теперь к заслугам, оказанным графом Румянцевым наукам вообще и отечественной истории в особенности.

Действуя беспрестанно на политическом поприще, граф Румянцеv находил время заниматься и науками, к которым он до самой своей кончины питал неодолимую привязанность. Находясь в чужих краях, он до того пристрастился к ученым занятиям, что в последствии времени, несмотря на все тяжкие занятия по службе, он жертвовал наукам своими досугами. Имея несколько свободных минут, он или предавался ученым изысканиям, или посвящал их беседе с учеными.

Граф Румянцеv покровительствовал всем нашим ученым и литературным знаменитостям своего времени. Он умел обласкать каждого, умел заставить полюбить себя, умел поощрять, ободрять и напутствовать все благие предприятия. К первым его ученым знакомствам принадлежат Карамзин, Бантыш-Каменский и академики Лерберг, Круг и Аделунг.

Находясь еще в службе, канцлер был с ними в сношении и переписке. Он в особенности любил и уважал таланты Карамзина и Лерберга. Нет сомнения, что на многие предприятия по части отечественной истории граф Румянцеv наведен был незабвенным нашим историографом. Одному Карамзину, посвятившему всю свою жизнь обработке отечественной истории, могли быть известны все ее богатства и недостатки; ему одному были хорошо известны те сокровища, которые находились в архивах и библиотеках московских. Как Лерберг, так и Аделунг, а тем более Круг, не зная в совершенстве отечественного языка и его литературы, не могли ни оценить наших исторических памятников, ни открывать их; они могли только гадать, что, вероятно, на огромном пространстве России должно быть множество памятников разного рода в библиотеках и архивах присутственных мест и монастырей, тем более, что об этом намекал уже и Шлёцер.

Карамзин, представляя Румянцеву затруднения, встречаемые им про его занятиях, и вместе с тем живо раскрыв всю занимательность наших древних письменных памятников, наводил канцлера непосредственно на мысль о собрании их и, по мере возможности, об издании в свет. Находясь однакож на службе, Румянцеv не мог приступить к подобному предприятию со всею ему свойственною энергиею, но он обдумывал и изыскивал разные к этому меры.

Великолепное издание Дюмона, заключающее в себе собрание трактатов разных европейских государств, подало канцлеру мысль об издании подобного собрания договоров и в России. Он обратился с предложением об этом к И. Н. Бантышу-Каменскому, начальствовавшему тогда над архивом Коллегии иностранных дел в Москве. Бантыш-Каменский, успевший уже тогда привести в порядок весь вверенный ему архив, не мог не обрадоваться такому благоприятному случаю и с радостью принял предложение графа Румянцева. Тогда канцлер испросил высочайшее соизволение на учреждение при московском архиве Коллегии иностранных дел Комиссии для печатания государственных грамот. Первый том государственных грамот и договоров был последним историческим изданием незабвенного Бантыша-Каменского⁴. Канцлер пожертвовал на это издание значительные суммы с тем, чтобы сборник этот, кроме верного издания актов, заключал в себе палеографические снимки с грамот по столетиям и с печатей, к ним привешенных. Судя по одному плану издания можно заключить, как важно было это предприятие в то время, когда у нас не имели еще никакого понятия о русской археографии.

⁴ Издание собрания государственных грамот и договоров исполнялось П. М. Строевым и К. Ф. Калайдовичем, под надзором сперва Бантыша-Каменского, а потом А. Ф. Малиновского.

В то самое время, когда издание первого тома приближалось к концу, граф Румянцев лишился одного из любимейших своих друзей, занимавшегося с чрезвычайною любовью и основательностью изучением отечественных древностей по иностранным источникам: то был академик Лерберг.

Лерберг принадлежал к числу тех людей, которые не блистают ни на политическом, ни на литературном поприщах, но которые в своем частном кругу, в тесном кругу друзей, приобретают истинное уважение. Он умер в 1813 году. Лерберг исключительно посвятил себя изучению древней нашей географии и генеалогии. Исторические труды его сделались известны ученому свету не ранее 1816 года, в котором они были изданы Академиею наук старанием его друга академика Круга, под заглавием: *Untersuchungen zur Erlaeterung der aelteren Geschichte Russlands von A. C. Lehrberg. Herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, durch Ph. Krug.* СПб. In-4. Спустя три года после появления этого сочинения оно было переведено покойным Д. И. Языковым на русский язык и издано на счет графа Румянцева под заглавием: «Исследования, служащие к объяснению древней русской истории». СПб., 1819. In-4°. Сочинение это состоит из шести следующих статей: 1) О географическом положении и истории Югорской земли, упоминаемой в титуле российского императора. 2) О месте жительства Ями. 3) Об одной древней новгородско-готландской грамоте и об упоминаемом в ней Бохрамусе. 4) Князя Владимир Андреевич и Владимир Мстиславич; критическое прибавление к исправлению наших летописей. 5) Описание нижнего Днепра и его порогов. 6) О географическом положении Хозарской крепости Саркела и упоминаемой в русских летописях Беловежи. Изданием трудов изыскательного Лерберга на русском языке канцлер оказал важную услугу отечественной литературе. Сочинение это сделалось доступно всем читающим порусски. Конечно, в наше время, по причине многих открытий в области археологии, труды Лерберга вполнину потеряли свое достоинство; но в то время они пользовались безусловным и всеобщим уважением.

Академик Круг, излагая в предисловии к трудам Лерберга его биграфию и упоминая о друзьях покойного, говорит: «Скажем также с почтением об одном человеке, который с ним сблизился и много содействовал к услаждению последнего года его жизни, о графе Николае Петровиче Румянцеве, — не как о богатом и сильном вельможе, который обращает иногда благосклонные взоры на уважения достойного ученого человека; но как о муже, который, будучи сам любителем древней истории своего отечества, почувствовал нужду заняться этим любимым своим предметом с ученым, подобным Лербергу, и скоро возымел к нему то дружество, которое Лерберг умел вселять в сердце каждого. Приятно было видеть у постели нашего друга канцлера Российской империи, не обнаруживающего ничего, кроме своих познаний, кроме прекрасного чувства дружбы к другу, которого он и свет должны были скоро лишиться. Это благородное чувство не иссякло в душе графа Румянцева и по смерти Лерберга. Он купил лербергову библиотеку, желая иметь в ней прочный памятник его жизни». <...>

В следующем году после смерти Лерберга, мы лишились незабвенного Бантыша-Каменского, едва успевшего издать первый том государственных грамот и договоров, вышедший в 1813 году. Продолжение издания возложено было на А. Ф. Малиновского, занявшего место главного начальника архива Коллеии иностранных дел, а вместе с тем и Коммиссии. Оно продолжалось с 1813-го по 1828 год. В течение этого времени Коммисия успела издать четыре тома in-fol., с соблюдением в списках дипломатической точности письма подлинников и с изображением сохранившихся при грамотах печатей. На это издание употреблено канцлером более 66 000 рублей. <...>

Шлёцер прекрасно сказал: «Кому-то предоставлена завидная честь — быть творцом Собрания русской дипломатики». И эту честь стяжал Румянцев. «Собрание государственных грамот и договоров», говоря без всякого преувеличения, делает эпоху не только в русской исторической литературе, но и в обработке нашей истории. До появления его частные люди, занимавшиеся отечественною историею, были лишены возможности образоваться в русской палеографии и дипломатике. Здесь мы впервые увидели историческое изображение почерка наших хартий, начиная с XIII до конца XVII века. Здесь в первый раз мы увидели снимки с печатей наших великих и удельных князей, не говоря уже о множестве исторических фактов, которые мы также в первый раз узнали только из этого собрания.

Граф Румянцев с невыразимою радостью получил отпечатанный первый том «Собрания государственных грамот», и с этого времени он стал серьезно помышлять о собирании памятников отечественной истории. В том же году (то есть 1813-м) он пожертвовал 25 000 рублей и предоставил эту сумму в распоряжение Императорской Академии наук с тем, чтобы она: 1) издала рукопись Несторовой летописи, известной под названием Кенигсбергского или Радзивиловского списка, хранившегося в ее библиотеке и изданного (в 1707 году in-4°) со многими пропусками. 2) Свод Несторовой летописи, по трем спискам: Ипатьевскому, Хлебниковскому (Полторацкого) и Ермолаевскому, в которых и заключается так называемая «Волынская летопись». Сумму 25 000 рублей назначил он разделить пополам на оба эти издания; однакож в течение с лишком двадцати лет этот проект оставался без исполнения. Наконец, в 1836 году, на счет этой суммы, доходившей до 40 000 рублей, напечатаны были «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографическою экспедицею», в 4 томах, в СПб. in-4°.

По окончании войны с Наполеоном и по увольнении своем от государственной службы граф Румянцев обратил сначала все свое внимание на некоторые географические вопросы, остававшиеся нерешенными до его времени. Важнейший из этих вопросов был следующий: существует ли проход из Южного океана в Атлантическое море. Второй вопрос был: существуют ли еще материи в странах Южного и Северного полюсов. Уже несколько столетий географы и в особенности мореплаватели занимались решением этих вопросов и даже доказали невозможность первого из них. Граф Румянцев решился повторить попытку прежних мореходцев и, снарядив корабль «Рюрик», на своем иждивении, вверил его лейтенанту Коцебу, который получил по этому предмету предварительные наставления от искусного нашего мореходца Крузенштерна. Хотя Коцебу и не достиг назначенной цели, однакож принес значительную пользу естественной истории, физике и географии. <...>

Румянцев, принимая постоянное участие в полезных предприятиях, поручил также отправлявшемуся в 1818 году в Камчатку начальником ее капитану Рикорду значительную сумму, чтобы он, накупив разных вещей, чукчами любимых, раздавал в награду тем из них, кои предпримут путешествие по льду до той земли, которая, по мнению географов, окружает Берингов пролив с севера. Вызвалось несколько охотников, но они, совершив в 1820 году около ста верст почти в прямом направлении к северу, не открыли никакого признака земли.

Подобное поручение было дано и капитану Гагемейстеру, находившемуся в 1817 году правителем поселений на северо-западном берегу Америки. Имея также в своем распоряжении суммы графа Румянцева, он награждал тех, которые предпринимали поездки вовнутрь Северной Америки. Первое путешествие этого рода совершено в 1819 году под начальством Корсаковского. <...> Во второе путешествие

Устюгова заключены с неизвестными до тех пор народами торговые сношения, продолжающиеся и поныне. <...>

Значительные пожертвования, сделанные графом Румянцевым как для просвещения вообще, так и для отечественной истории в особенности, сильно содействовали к пробуждению исторической деятельности в России. Многие, занимавшиеся изысканиями по предмету русской истории и не издававшие своих трудов в свет потому, что исторические труды никогда не выкупали издержек, употребленных на издание, стали искать помощи канцлера. Прежде всех обратились к нему наши немецкие ученые, занимавшиеся обработыванием некоторых частей русской истории — то были Эверс и Аделунг. <...>

Эверс по всей справедливости должен быть причислен к тем иностранцам, которые усердными трудами в пользу и славу России заслужили признательность и уважение потомства. Он решился издать в свет рукопись, по которой преподавал русскую историю в Дерптском университете. Сочинение это ни в каком отношении не может удовлетворить строгим требованиям науки, в чем сознается и сам автор в своем предисловии; но в то время, когда не было еще «Истории государства российского»⁵, и труд Эверса имел свое достоинство. В учебнике этом мы встречаем и любимое предположение автора о пришествии Рюрика от хазаров и некоторые другие мнения, теперь совершенно уже опровергнутые. <...>

В России Миллер первый начал издавать собрание материалов русской истории; собрание это выходило с 1732-го по 1764 год на немецком языке, под заглавием: «Sammlung russischer Geschichte». Этого собрания вышло девять томов. Спустя с лишком пятьдесят лет после того Эверс и Энгельгардт вознамерились продолжать это полезное издание. Они обещали издавать ежегодно один том в 50 печатных листов, в двух отделениях. Первое отделение первого тома заключает в себе следующие статьи: 1. Известие о состоянии немецких и других колоний в полуденной России, с замечанием о тамошней земледелии (ст. Энгельгардта). 2. Известие об острове Кадьяке и тамошних русских селениях, из записок лейтенанта Давыдова. 3. Дела Московского посольства, соч. абовского епископа Павла Юстена (в 1569–1572 годах), на латинском языке. 4. Царь Иоанн Васильевич Грозный. Донесение Иогана Таубе и Элерта Крузе курляндскому герцогу Готгарду Кеттлеру (1572). 5. И. де Роде мнение о российской торговле в 1653 году. 6. История российской церкви в Китае (сокращенный перевод из истории российской иерархии). 7. Русская Правда. 8. Торговый договор князя смоленского Мстислава Давыдовича с городом Ригою и купцами готландскими в 1228 году. Сборником этим Эверс гораздо более оказал услуги русской истории, чем предыдущим своим сочинением. <...>

С этого же года (1816) начались издаваться и сочинения Ф. П. Аделунга на счет графа Румянцева. Сперва издано сочинение его под заглавием: <...> «Заслуги Екатерины II в исследовании сходства языков». СПб. 1816, in-8. Спустя два года, явился <...> «Сигизмунд, барон фон Герберштейн, изображенный особенно в отношении к путешествиям его в России». СПб., 1818. <...>

Граф Румянцев не ограничился только изданием исторических сочинений. Желая принести прямую пользу отечественной истории, он хотел дать более единства своим действиям и стал помышлять об археографических путешествиях для изучения отечественных памятников, находящихся не только в России, но и в чужих краях. Ему нужны были люди, имеющие основательные познания в отечественной археографии, которые действовали бы по его внушениям. Но где было найти таких людей?..

⁵ Имеется в виду труд Карамзина. — М. Р.

Желая иметь полное сведение об иностранных источниках отечественной истории, находящихся в чужих краях, граф Румянцев отправил за границу двоих молодых людей: Магнуса фон Штрэндмана, для обозрения библиотек и архивов Италии и К. Шульца — в Германию и, в особенности, в Кёнигсберг. Сверх того он обратился с такою же целью к библиотекарю Королевской парижской библиотеки г-ну Газе. Желая иметь известие о памятниках отечественной истории, хранящихся в библиотеках и архивах Швеции, Дании и Англии, граф Румянцев прибегнул к русским посланникам, находившимся в этих государствах, и просил их поручить кому-нибудь из служащих при посольствах обозреть в свободное от службы время все главнейшие библиотеки и архивы столиц и найти людей, которые могли бы заняться списыванием всех памятников, касающихся России и до сих пор неизвестных. Вместе с тем канцлер немедленно препровождал довольно значительные суммы, необходимые на разные издержки в подобных случаях,

Граф Румянцев имел намерение, собрав все известия иностранцев, писавших о России, и все акты, относящиеся до нашего отечества, издать их под заглавием: «Corpus auctorum rerum Moskovitarum», которое должно было вмещать в себе от шестидесяти до семидесяти авторов, не изменяя ни их слога, ни языка. Для сохранения единства и хронологического порядка положено было разделить их на три периода: I. От времен в. кн. Иоанна III до в. к. Феодора. II. Время Междоцарствия. III. От восшествия на престол дома Романовых до императора Петра I.

Скажем несколько слов о результатах заграничных изысканий, сделанных для графа Румянцева.

Начнем с К. Шульца. Он прежде всех послан был за границу, но когда именно с достоверностью сказать нельзя: вероятно в 1813 году. Все результаты его изысканий в Кёнигсберге видны из письма, писанного им в половине 1814 года к редактору «Сына отечества»: «Вам известно, — пишет Шульц, — что я послан был сюда по поручению Е-го с-иятельства графа Николая Петровича Румянцева, чтобы снять копии с рукописей, касающихся до российской истории и хранящихся в тайном кёнигсбергском архиве. Я уже кончил сию работу и, полагая, что предмет моего занятия достоин любопытства каждого любителя нашей истории, решился сообщить вам нечто о следствиях моего труда. Не ожидайте слишком обильной жатвы, ибо и посев был не богат. По словам директора архива Г. Геннинга, я надеялся сделать весьма важные открытия касательно нашей истории, но ожидания мои, как я скоро узнал, были слишком велики.

Все рукописи, из России в Пруссию или оттуда в Россию присланные, которые я разбирал и списывал, составляют переписку между царем Василием Иоанновичем и маркграфом (Бранденбургским) Альбрехтом, магистром немецкого ордена⁶. Переписка сия начинается с 7020 года и простирается до 7028. Тогдашнее положение немецкого ордена было самое жалкое. Города Гданск (Данциг), Торунь (Торн), Хвойниц (Кониц), Гейльсберг и др. были во власти поляков. Войска ордена состояли из наемников, которым по истощению финансов не платили жалованья и которые по сей причине беспрестанно роптали. Вот предмет переписки со стороны маркграфа Альбрехта. Он просит царя <...> прислать ему вспомогательных денег на 2000 человек конных и 10 000 пеших воинов против польского короля Сигизмунда, а царь обещает отправить к магистру сии *пенязи*, защищать его и землю от общего их врага, короля Сигизмунда. Царь в том обязуется дружеским трактатом из Москвы от 10 Марта 7025 года, коего подлинник, на латинском языке, с золотой печатью, находится теперь в Берлинском архиве. Дело касательно сего трактата со-

⁶ Или, как в тех рукописях, *гина*.

ставляет также содержание всех славянских грамот: во всех царь повторяет, сколь он жалует магистра.

<...>

«Славянские грамоты, в Кенигсберге находящиеся, все писаны на бумаге; на пергамене нет ни одной. При всех печати из красного воска, покрыты бумагою, вырезанною в квадратной форме, и представляют московский герб; только на свернутых рукописях печатей не находится. Сии последние рукописи писаны на узеньких склеенных бумажках и имеют несколько аршин длины». <...>

Вот все, что мы могли сказать о результатах поездки Шульца в Кенигсберг.

Здесь кстати заметить, что, несмотря на ходатайство графа Румянцева у Геннинга, директора тайного Кёнигсбергского архива, открыть К. Шульцу все, относящееся к русской истории, начальство архива утаило от него все посольские сношения между Пруссиею и Московским государством в конце XVI и XVII столетиях. Сношения эти заключаются в пяти рукописных книгах в лист. <...>

Перейдем теперь к результатам изысканий Штрандмана в Италии.

Штрандман прибыл в Италию в начале двадцатых годов. По ходатайству графа Румянцева и по его рекомендательным письмам Штрандману доступны были все важнейшие библиотеки Италии. Все, что находил он в них относящегося к русской истории, тотчас списывал и пересылал канцлеру. Он первый открыл следующие исторические материалы:

XV века

1. Собственноручное письмо (или грамоту) кардинала Исидора, митрополита русского, писанное к флорентийскому собору, из Кандии, 7 июля 1453 года. (Памятник этот открыт во Флоренцш, 1821.)

2. Di Basilio Imperatore di Moskovia ed'Isidoro Rutheno (историческая записка). Найдена между рукописями библиотеки Vallicelli, в Риме, 1823.

<...>

а) Донесение о том, что случилось в России во время Лжедмитрия и в особенности в царствование Иоанна Васильевича. Найдено в библиотеке Барберини, в Риме, 1824 г. (на итальянском языке).

б) Записка о великом князе Димптрии и смерти Бориса Годунова, писанная очевидцем в 1605 году. Найдена в той же библиотеке (на итальянском языке).

<...>

Мы указали только на важнейшие списки, сделанные Штрандманом в Италии для графа Румянцева. Кроме этих, он доставил ему еще множество различных выписок, сделанных из различных сочинений, в коих находились известия о древней Московии.

Покажем теперь, что было сделано для графа Румянцева в Париже.

Узнав, что в Парижской публичной библиотеке находятся чрезвычайно важные материалы на греческом и восточных языках, в которых должны быть и известия о древнем состоянии России, канцлер обратился к библиотекарю ее, Газе, известному эллинисту, и сверх того к ориенталисту Сен-Мартену. Он препроводил им значительную сумму денег с тем, чтобы на нее изданы были те византийские и восточные писатели, которые до того времени не были напечатаны, а следовательно, неизвестны ученому свету. Результаты действий того и другого были следующие. В 1819 году в Париже была издана Г. Газе на счет канцлера: история Льва Диакона, под заглавием: «Leonis Diaconi Galoensis: Historia scriptoresque alii ad res Byzantinas

pertinentes». Газе издал греческий текст с латинским переводом и примечаниями⁷. Чтобы сделать эту книгу доступною для всякого русского, граф Румянцев поручил Д. И. Языкову перевести ее на русский язык и издал на свой счет.

Лев Диакон, писавший Византийскую историю, от времени императора Константина VIII до смерти Цимисхия (959–976)⁸, был нам прежде известен только по выпискам Ф. Паги, помещенным в замечаниях на Барония⁹. В «Летописи» Льва Диакона очень мною важных сведений о России¹⁰. <...> К «Истории» Льва Диакона Газе присовокупил разные любопытные статьи из рукописей Королевской библиотеки. В числе их особенно для нас важны письмо одного грека, содержащее в себе некоторые новые известия о состоянии таврического Херсонеса в половине X века, также отрывок «Истории» Иоанна, архиепископа Солунского, о чудесах Святого Димитрия, в котором встречается много относящееся до города Солуня.

За сим Газе намерен был приступить к изданию и других византийских писателей: Михаила Псёлла, Георгия Амартола, Никифора Григоры и др. <...>

После издания «Истории» Льва Диакона Газе посетил библиотеки геноузскую, миланскую и венецианскую с целью открыть неизвестных византийских летописцев. По возвращении своем в Париж он писал к графу Н. П. Румянцеву, что ему удалось найти еще две греческие рукописи, совершенно неизвестные ученому свету: 1) Полный список сочинений Георгия Акрополита, коего до тех пор известны были только отрывки; 2) Описание посольства в Требизонд Андроника III Палеолога Младшего в 1338 году, в котором есть любопытные известия об абазах и черкесах.

<...>

В то самое время, когда за границей трудилось множество лиц над списыванием разных исторических материалов, в России также производились для него большие археологические изыскания. Желая иметь людей сколько-нибудь сведущих в отечественной археографии, которых можно было бы употребить в дело, канцлер обратился с просьбой об этом к А. Ф. Малиновскому. Он указал графу Румянцеву на молодых людей, уже несколько известных своими литературными трудами по части отечественной истории, а в особенности по изданию Собрания государственных грамот и договоров; то были П. М. Строев и К. О. Калайдович.

Первому канцлер поручил обозреть библиотеки и архивы всех монастырей Московской и Калужской губерний. П. М. Строев путешествовал по этим губерниям на счет графа Румянцева в 1817-м, 1818-м и 1820 годах. В течение этого времени он не только приобрел много археологических познаний, но успел сделать несколько чрезвычайно важных открытий. Он отыскал в монастырских библиотеках следующие важнейшие рукописи :

- (1) Сборник в[еликого] кн[язя] Святослава (1072 г.).
- (2) Законы великого князя Иоанна Васильевича.
- (3) Сочинения Туровского епископа Кирилла.

⁷ Ни одно слово, трудное или почему-либо замечательное, не осталось без объяснения. Часто даже показана история слов от начала древней греческой словесности до последних веков Восточной империи. В переводе своем, который весьма верен и ясен, Газе принужден был бороться с неровным и странным слогом подлинника.

⁸ Иоанн по прозвищу Цимисхий (возм., от армянского «смusk» — туфелька) (за малый рост) родился в Иераполе. Происходил он из знатного армянского рода Куркуасов, представителей военно-землевладельческой знати (*Википедия*). — М. Р.

⁹ Цезарь Бароний (1538–1607) — католический историк, кардинал, член конгрегации ораторианцев (*Википедия*). — М. Р.

¹⁰ Так, например, весь поход Святослава на греков.

- (4) Труд царевича Иоанна Иоанновича.
- (5) Постановления Московских соборов: 1503-го, 1547-го и 1554 годов, и
- (6) Множество разных актов, относительно политической и церковной истории XV и XVI веков, из коих многими воспользовался и бессмертный наш Карамзин.

Кроме того П. М. Строев сделал для канцлера выписки из рукописей, хранящихся в библиотеке Волоколамского Иосифова монастыря. Их числом 23, на 69 листах.

Укажем теперь на книги, изданные Г. Строевым на счет канцлера.

1) Законы в[еликого] кн[язя] Иоанна и «Судебник» внука его царя Иоанна, с дополнительными указами, изданный Строевым и Калайдовичем вместе, в Москве. 1819 год. Законы эти принадлежат к счастливейшим открытиям нашего времени.

2) Софийский временник или Русская летопись с 862-го до 1534 г. in-4, 2 части. Румянцев, опасаясь, чтобы время не истребило драгоценных остатков летописей, поручил Г. Строеву приступить к изданию русских летописей. Начали с «Софийского временника», но тем дело и кончилось. В первой его части заключается Несторова летопись с ее продолжателями, напечатанная по верным спискам. Вторая, сверх продолжения летописей новгородских событий и княжеств Средней России, содержит в себе: Вселенский собор, бывший во Флоренции, со включением двух булл Евгения IV и Пия I, и грамот В. К. Василия к греческому императору Иоанну Палеологу; повествование о походе в[еликого] к[нязя] Иоанна III на Новгород; Путешествие в Индию Тверитина Афанасия около 1480 г. и сочинения митрополитчя дьяка Родюна Кожуха; красноречивое послание ростовского архиепископа Вассиана к в[еликому] к[нязю] Иоанну III; Поход на Казань и взятие этого города; Известие о землетрясении, разрушившем в 1542 году итальянский город Шимборио, и другие чрезвычайно любопытныя известия.

Уже из этого видно, сколько содействовал Г. Строев развитию исторической деятельности в отечестве. <...>

В то время, когда П. М. Строев путешествовал по окрестностям Москвы для отыскивания отечественных древностей, К. Ф. Калайдович занимался, по поручению канцлера, изданием важнейших исторических памятников, находившихся в библиотеках и архивах Москвы, а в особенности в библиотеке Московского исторического общества, которого Калайдович был уже членом.

Калайдович вполне оправдал поручение и доверенность графа Румянцева; начиная с 1817 года до кончины канцлера, им изданы следующие исторические памятники:

1) Древние русские стихотворения, собранные Киришю Даниловым. М., 1818, in-4. <...>

2) Памятники русской словесности XII века, М., 1821, in-4. Весьма замечательное издание в литературе отечественной истории. Они заключают в себе творения Туровского епископа Кирилла, русского витии XII века, с палеографическою таблицею; Послание Киевского митрополита Никифора к в[еликому] к[нязю] Владимиру Мономаху о разделении церковей Восточной и Западной; Вопрошение чернорижца Кирика; Послание русского митрополита Иоанна к Папе Александру IV <...> о заблуждениях Римской церкви; Прибавление к уставу о причащении Новгородского архиепископа Илии и Белгородского святителя; Послание заточника Даниила к Георгию Долгорукому; Красноречивое послание Симона, Владимирского и Суздальского епископа, о проходящих иноческую жизнь. Одна эта книга может служить достаточным руководством к изучению отечественной филологии и палеографии.

3) Письма: об археологических исследованиях в Рязанской губернии, с рисунками найденных там древностей в 1822 году. Соч. Калайдовича, М., 1823. Отличаются множеством любопытных замечаний.

4) Иоанн, экзарх Болгарский. Исследование, объясняющее историю славянского языка и литературы IX и X столетий. М., 1824, in-fol. Содержание этой книги: I. Начало славянских писмен. Константин и Мефодий. Их труды. Книжный славянский язык. II. Иоанн, болгарский экзарх. III. Перевод *Богословия* Дамаскина. IV. Сочинение Шестоднева. V. Греко-славянская грамматика. Перевод *Философии* Дамаскина. Слово на Вознесение Господне.

<...>

Канцлер не ограничился всеми этими мерами, содействующими к уяснению отечественных древностей; он вел переписку почти со всеми, занимавшимися в то время обработыванием русской истории, равно как со всеми начальниками разных библиотек и архивов в отечестве, просил всех их содействовать его предприятиям по мере возможности, предлагал им на решение разные исторические вопросы, причем всегда посылал деньги на различные издержки, сопряженные с подобными изысканиями.

Результаты сношений графа Румянцева с разными ведомствами, в ведении которых находились разные древние памятники, превзошли даже ожидания его.

К нему стали присылать из всех концов России летописи, списки разных грамот, <...> выписки из исторических сочинений, <...> копии синодиков, каталогов и реестров рукописей и разных бумаг, хранящихся в различных монастырских библиотеках и архивах. <...> Таким образом канцлер успел приобрести до 732 рукописей; из них некоторые могут быть отнесены к XII веку. Они писаны на пергамене и большею частью касаются церкви и ее управления. Иностранные рукописи писаны на различных европейских и азиатских языках: первые получены из разных иностранных библиотек и архивов, а последние от частных лиц.

<...>

Нам остается еще сказать о различных исторических сочинениях, изданных на счет графа Румянцева, которые принадлежат людям, действовавшим на поприще истории самостоятельно, а не по внушению канцлера; сочинения сии суть:

1) Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви. Сочинение митрополита Евгения, изд. в СПб., in-8, в 2 ч. <...>

2) Рустрингия, первоначальное отечество В. К. Рюрика и братьев его. Исторический опыт Голимана. Перевод Снегирева. М., 1819, in-12. <...>

3) О походе новгородцев в Финляндию, упоминаемом в русских летописях. Соч. Гиппинга. Печ. в СПб., in-8.

4) Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии.

<...>

10) Собрание словенских памятников, находящихся вне России, собран[ное] Кеппеном. СПб., 1827, in-4. Сочинение это издано на счет канцлера уже после его смерти.

В этом собрании помещены выписки из Остромирова Евангелия и статьи из Фрейзингской рукописи. <...>

Несмотря на преклонные лета свои, канцлер готовился совершить еще многое. Он имел намерение издать «Древние путешествия россиян». В состав этого собрания должно было войти 36 авторов. Граф Румянцева уже успел было собрать их всех, но смерть помешала этому предприятию. <...>

Двенадцать лет, проведенных графом Румянцевым в уединении, лет тяжких, со-

провожаемых все более и более усиливавшейся болезнью, были блистательною эпохою изысканий отечественных древностей. Вся тогдашняя историческая деятельность (с 1814-го¹² по 1826 год) сосредоточивалась около этого великого человека и патриота и жила более или менее значительными его пожертвованиями. Умер этот неусыпный деятель, и историческая деятельность тотчас же прекратилась. Правительство, сознавая всю важность великой мысли графа Румянцева и не видя в частных лицах готовности поддерживать его предприятия, приступило само к исполнению того, чего не в силах был сделать даже и знаменитый Румянцева: оно положило издать все древние памятники отечественной истории, уцелевшие до наших дней.

Причина, ускорившая кончину графа Николая Петровича Румянцева, была довольно маловажная: вышед однажды из кабинета без провожатого, он упал от чрезмерной слабости и ушиб левую ногу. Следствием ушиба была изнурительная лихорадка, ввергшая его в могилу. Он умер 3 января 1826 года, на семьдесят третьем году жизни, и похоронен в своем любимом местечке Гомеле.

Не успев совершить акта, граф Румянцева завещал словесно, чтобы все богатое его собрание книг и других редкостей осталось для общей пользы. <...>

Государь император, уважая приношение канцлера, вполне одобрил его желание, и повелел открыть это собрание для публики под названием Румянцева музея (1831 год, мая 28), который составляют: а) Библиотека печатных и рукописных книг и ландкарт; б) Минералогический кабинет; в) Минц-кабинет, и д) Собрание редкостей. На музее сделана надпись: «От государственного канцлера графа Румянцева на благо просвещение».

Здесь-то хранятся обильные результаты обширных изысканий в области отечественных древностей, которыми до сих пор не успели еще вполне воспользоваться наши ученые.

Публикуется по: *Старчевский А. В.* О заслугах Румянцева, оказанных отечественной истории. СПб., 1846. — 50 с. (републикация из: ЖМНП. 1846. № 1).

Альберт Викентьевич Старчевский (1818–1901) — русский журналист, энциклопедист и знаток европейских и восточных языков. Учился в Киевском и Санкт-Петербургском университетах по юридическим факультетам. Еще студентом издал первый том «Сказаний иностранных писателей XVI века о России» (1841), на латинском языке; за ним последовал второй, под заглавием: «*Historiae Rathenicae Scriptores exteri saeculi XVI*» (1842). Он перевел на французский язык российский торговый устав, сделал извлечение из русских законов об иностранцах («*Die russischen Gesetze Auslaender betreffend*»), собрал в Берлинской публичной библиотеке коллекцию портретов и автографов разных исторических лиц, часть которой была издана под заглавием «*Galerie slave*» (до 360 деятелей славянских, с биографиями), разыскал реляции бранденбургских посланников о России в XVII столетии, копии с которых поступили в архив Министерства иностранных дел, составил подробный каталог русских и иностранных материалов для истории России, извлеченных из архивов и библиотек Западной Европы. С 1843 года Старчевский был сотрудником журнала Министерства народного просвещения по исторической критике и славянской этнографии и филологии; составил грамматики десяти славянских наречий (в рукописи) и напечатал: «Литература русской истории с Нестора до Карамзина» («Финский вестник»), «Жизнь Н. М. Карамзина» (СПб., 1845). В 1848–1853 годах редактировал «Справочный энциклопедический словарь» типография К. Крайя (12 т.; первый окончанный словарь на русском языке); в 1850-х годах был вторым редактором «Библиотеки для чтения» Сенковского (<http://ru.wikipedia.org/wiki/>).

¹² А посему мы оказались бы не так уж неправы, поставив к публикуемой статье сегодня, в 2014 году, объявленным правительством России «Годом культуры», посвящение: *К 200-летию основания Румянцева музея.* — М. Р.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

АНТВЕРПЕН — побратим Санкт-Петербурга

Первая мировая война

Франко-прусская война 1870–1871 годов, в ходе которой французская армия потерпела поражение, укрепила немецкое государство, в сферу влияния которого вошли Эльзас и Лотарингия. Сложная политическая борьба, начавшаяся вскоре после окончания военных действий, продолжалась в течение ряда десятилетий и в конце концов привела к началу Первой мировой войны. Бельгия, имевшая союзный договор с Францией, подверглась нападению немецкой армии, и многие ее города были разрушены.

На территории страны велись активные военные действия; одно из сражений развернулось близ Антверпена. Россия с сочувствием относилась к страданиям бельгийцев и выражала солидарность этой маленькой стране. Одно из стихотворений той поры было озаглавлено: «Бой у Антверпена»; его автор — русский офицер действующей армии Александр Котомкин. (После 1917 года он оказался в эмиграции; в 1927 году издал в Париже сборник своих стихов «За Россию», куда и включил стихотворение с посвящением «Его Величеству бельгийскому королю Альберту и народу».)

То не приливы шумящей реки,
То не небесного грома раскаты, —
Нет, то нахлынули немцев полки, —
Пламенем Бельгии села объята.

Альберт — бельгийцев отважный король,
Не испугался германского гнева:
«Немец грозит нам. Ну, что же, изволь:
С нами да будет Пречистая дева...»

То не полночная буря гудет,
То не морская кольшется пена, —

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

То за свободу бельгийский народ
Бьется с врагами у стен Антверпена...

С вами бок о бок сражаемся мы, —
Русские воины... Вам на подмогу,
Вышли с молитвою Господу Богу,
Против носителей рабства и тьмы...

Близится грозный возмездия час...
Вспять возвратятся Антверпена воды...
Верьте, бельгийцы, настанет для вас
Счастье заслуженной, вечной свободы¹.

Тем не менее Антверпен был разрушен немецкими войсками, и это породило в России новую волну сострадания мужественным защитникам страны. В 1915 году в газете «Донской курьер» было напечатано стихотворение «Привет Бельгии». Его автор Николай Софийский посвятил Антверпену и другим старинным бельгийским городам такие строки:

Пусть здесь в развалинах Антверпен твой сожженный,
И Лувен, и Малин, и Гент, и Остендэ...
Ты блещешь славою теперь во всей вселенной,
Равняясь красотой сияющей звезде.

Знай! За тобой стоит здесь со щитом Россия,
И о тебе скорбит ее великий сын,
Он молит за тебя и чувства шлет благие,
Желая светлых благ и радостных годин².

Одно из последних предвоенных описаний Антверпена, появившееся в русской печати, зафиксировало для нас «уходящую натуру» — ту атмосферу, которая уже безвозвратно утрачена под натиском социальных потрясений и промышленной цивилизации: «Вот высокая каменная стена женского монастыря; из-за нее слышится стройный хор монахинь, поющих вечернюю молитву. А вот и собор — белая громада, изукрашенная лепными кружевами, статуями и т. д. Десятки поколений рождались и умирали, а постройка собора все еще была незакончена. Своды его покоятся на 125 колоннах. Свет проникает в собор через громадные окна с цветными стеклами. Лучи солнца, от стекол делающиеся красными, синими, зелеными, освещают колонны, фигуры святых, чудесные колонны, написанные знаменитыми художниками, алтарь, весь сверкающий золотом. На колокольнях собора находятся 40 колоколов; главный из них весит 400 пудов и приводится в движение при помощи особых приспособлений; звон его во время ветра слышен на 10 верст в округности...»³

...В Антверпене стоит фонтан-памятник легендарному герою Сальвио Брабо (в

¹ Котомкин Александр. За Россию. Париж, 1927. С. 81–82. Действующая армия. 1914.

² Софийский Николай. Привет Бельгии // Донской курьер. 1915. № 45. Цит. по: Песни о Бельгии, собранные Евгением Вильчинским. Пг., 1916. С. 11.

³ Бельгия — страна героев. Составитель сборника — Е. С. // Журнал «Война». Пг. 1915. № 20. С. 13.

честь которого якобы названа страна по Шельде — Брабант). Предание говорит, что живший в устье Шельды великан Дрюон Антигон останавливал суда, идущие по реке, и брал большую дань со шкиперов. Кто не хотел платить, тому рубил кисть правой руки и кидал в Шельду. Поэтому и место его обитания назвали «бросать руку» (hand werpen) — по-фламандски — «Антверпен». Долго терпели его гнет, пока не явился молодой герой Брабо, не напал на великана, убив, не отрубил ему правую кисть и не бросил ее туда же, куда падали руки жертв. Не память ли это о набегах викингов? Российский литератор Николай Иванович Греч, побывавший в Антверпене в 1843 году, так отозвался об этой «страшилке»: «Это предание основывается на гербе города: замок и над ним — две руки. Гораздо вероятнее, что это слово значит на верфи (aen't werf)»⁴.

Антверпен, старинный средневековый город, издавна снискал себе славу международного центра торговли и искусства. Город Рубенса и Ван Дейка, крупнейший порт на берегах Шельды, куда стекались корабли со всего света, издавна привлекал иноземцев, в том числе и наших земляков.

Начало христианизации

Один из потомков старинного рода Мещерских — князь Алексей Мещерский — побывал в Бельгии в 1839–1840 годах. В своих записках он уделяет внимание начальной истории Антверпена: «Город, расположенный в 17 милях от моря на равнине правого берега Шельды, сделался известным в половине VII столетия, в то время как благовестие Св. Евангелия внесено было в эту страну»⁵.

Практически все исторические памятники Антверпена сосредоточены близ Шельды, на ее правобережье, демонстрируя привязку к морским путям. На протяжении столетий Антверпен много раз переходил из рук в руки. «До 980 года Антверпен, принадлежавший французским королям, после уступки Лотаря перешел во владение императора Оттона II, — пишет Алексей Мещерский. — В 1076 году Годефруа Бульонский получил маркизство Антверпенское, по наследственному праву, и оставил его, когда вздумал отправиться в Палестину, где 14 лет после того умер королем Иерусалимским»⁶.

Дальнейшая история Антверпена связана с именем Св. Норберта (ок. 1085–1134) Он происходил из графского рода Геннеп; был священником при дворе императора Генриха V (1111–1125). С проповедью о покаянии Норберт объездил всю Францию и Нидерланды; побывал он и в Антверпене. «Предание, сохранившееся в одной старинной хронике, говорит, что в начале XII века некто Танквелин (Tanquelin), человек богатый и умный, но развратный и коварный, распространял в Антверпене и его области нечестие и пороки, соблазнял женщин, разорял неопытных, и составил себе вспомогательную дружину из трех тысяч человек, которые слепо ему повиновались, — пишет Н. И. Греч. — Власть светская и духовная тщетно старалась прекратить эти неурядицы, и наконец решилась призвать из Франции знаменитого проповедника, епископа Норберта. Он прибыл с двенадцатью учениками, и успел остановить разлив нечестия и разврата. Святой муж впоследствии основал нынешний собор»⁷.

⁴ Греч Н. И. Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии. СПб., 1847. С.141.

⁵ Мещерский Алексей, князь. Записки русского путешественника. М., 1842. С. 235.

⁶ Там же. С. 235.

⁷ Греч Н. И. Указ. соч. С. 146.

Средневековый Антверпен

В Антверпене все дышит стариной; символом старой части набережной, носящей имя знаменитого фламандского художника Иорданса, служит замок (по-фламандски — Стен), воздвигнутый в X–XII веках. Некогда Стен был резиденцией Готфрида Бульонского, предводителя крестоносцев и первого государя Иерусалимского королевства. Позднее, при испанском владычестве, в замке размещалась инквизиция. Замок Стен весь точно из сказки, небольшой, с точеными башенками, мостиком через ров. Здесь была темница для пленников, резиденция Альбы и инквизиционный суд, которому было много работы в вольномыслящем купеческом городе. Сохранились пергаментные дела еретиков и тома, перечисляющие еретические толкования Писания...

В 1497 году португальский мореплаватель Васко да Гама предпринял экспедицию в Индию. А уже в первом году нового, XVI века в Антверпен пришел португальский корабль с пряностями, привезенными только что открытым путем вокруг Африки. На тысячелетнем торговом пути через Ближний Восток, который крепко в своих руках держали венецианцы, в какие-то десять лет были поставлены крест и жирная точка. Антверпен теперь снабжал восточным товаром всю Западную Европу. «Благоприятное положение города неподалеку от устья широкой реки, по которой могут ходить большие суда, доставило ему в Средние века значительность, силу и богатство, — пишет Н. И. Греч. — Число жителей его простиралось до двухсот тысяч. Многочисленные корабли стояли у его пристани. В царствование Карла V Антверпен был самым деятельным городом Европы. На ярмарки его стекались купцы со всех сторон. Промышленность процветала. Изделия фландрские и брабантские отправляемы были в Аравию, Персию и Индию. Корабли купцов антверпенских покрывали океан; в Черном море оспаривали они первенство у генуэзцев»⁸.

Но фламандцы не были великими мореплавателями, и захват города испанцами, казни и инквизиция, отпугнувшие иноземных купцов, привели к тому, что звезда города закатилась... Тем не менее в XVI веке Антверпен был крупнейшим центром Испанских Нидерландов; в 1559 году он стал центром епархии. Во второй половине XVI века в Антверпене уже бывали русские посланцы. В Никоновской летописи под 1567 (7075) годом упоминается об отправке русским царем «от своей казны своих гостей и купцов в поморские государства: в Антроп к бурмистром и к ратманам послал гостя Ивана Офонасьева да купца Тимофея Смывалова»⁹.

К этому времени Антверпен не раз подвергался тяжелым испытаниям, о чем пишет русский путешественник И. Симонов, побывавший в Бельгии в 1842 году. «С 1556 года начались несчастья Антверпена, — сообщает он. — Сначала иконоборцы (кальвинисты-реформаты. — А. А.) разорили и разграбили храмы, и в продолжении трех дней производили убийства. Потом, через 10 лет, испанцы взяли приступом город; 10 тысяч граждан были убиты; 800 домов выжжены, в том числе градский дом, который считался одним из лучших зданий в Европе. Еще через 9 лет герцог Пармский, в продолжении целого года, осаждал город, и Антверпен испытал все ужасы голода»¹⁰.

В 1567 году в Нидерланды был послан в качестве наместника испанский полководец герцог Фернандо Альба (1508–1582). Здесь он пытался жестоко подавить

⁸ Там же. С. 141.

⁹ Полное собрание русских летописей. Т. XIII, вторая половина. СПб., 1904. С. 408.

¹⁰ Симонов И. Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году. Казань, 1844. С. 259–260.

восстание и казнил до 18 тысяч человек. Уже одним этим герцог «обеспечил» себе место в истории, но этого ему показалось мало. «Герцог Альба, в ознаменование победы при Геммингене, воздвиг было сам себе бронзовую статую на платформе антверпенской цитадели, — пишет Н. И. Греч. — Гордый испанец изобразил себя в военном мундире, с протянутой к городу рукой. Он попирал ногами дворянство и народ, побежденные им: они представлены были в виде двуглавого чудовища, с отличительными знаками убогих (*les gueux*), миской и котомкой. На пьедестале было начертано: *Ex aere captivo* (из добытой у врага меди)»¹¹.

В 1573 году Альба был отозван, и его преемник в управлении Нидерландами приказал снять статую. В 1576 году последовало очередное восстание жителей страны против испанских «воинов-интернационалистов». А в следующем, 1577 году статую герцога Альбы постигла печальная участь. «Народ, открыв ее где-то, надел ей на шею веревку и таскал в грязи по улицам, — пишет Н. И. Греч. — В 1635 году нашли обломки этой статуи и вылили из них Распятие, находящееся поныне над главным входом соборной церкви»¹².

В 1576 году испанцы сильно разрушили здание городской ратуши. И хотя его пришлось строить почти заново, ее фасад нынче совсем не изменился. На этой же площади имеются старинные дома, принадлежавшие членам различных гильдий. Один из них — Дом старых весов, где долгое время находилась гильдия Св. Луки (цех живописцев).

Ко времени визита Николая Ивановича Греча в Антверпен город переживал не самые лучшие времена и насчитывал всего 78 тысяч жителей¹³. «Упадок города начался уже во время испанского владычества, — пишет отечественный литератор. — Инквизиция изгнала тысячи трудолюбивых шелковых ткачей: они переселились в Англию. В 1585–1586 годах город выдержал четырнадцатимесячную осаду. По заключении Вестфальского мира (1648) закрыто было голландцами плавание по Шельде, и всемирная торговля Антверпена прекратилась»¹⁴.

В Антверпене есть много достопамятностей, тесно связанных со средневековой историей Фландрии. Среди них — музей известного христианского просветителя Кристофа Плантэна (XVI век), судьба которого неотделима от Антверпена. Испанский король Филипп II предоставил ему исключительное право печатать и издавать Библию и молитвенники для Фландрии и Испании. В печатне Плантэна была издана знаменитая Библия — полиглотта, с греческим, древнееврейским и сирийским текстами. Зять Плантэна Моренторф (Моретус) наследовал его дело в 1589 году и с успехом продолжил его. Для антверпенцев того времени печатня Плантэна–Моретуса стала «обителью мыслей и знаний». В музее Плантэна–Моретуса имеется уникальное собрание рукописей IX–XVI веков, а также книжное собрание, насчитывающее более 20 тысяч старинных книг, в том числе и первопечатных. Собрание музея включает также 68 тысяч гравюр, предназначенных для украшения печатных книг.

А в замке Стен, на который, быть может, наводил пушки Тиль Уленшпигель, теперь Морской музей с узорчатыми рулями, резными клотиками и корабельными статуями той ушедшей эпохи. Стоящий поблизости на приколе старинный парусник называется «Меркатор» — в честь знаменитого фламандского картографа, обеспечившего моряков той эпохи математически точными картами. Их размно-

¹¹ Греч Н. И. Парижские письма... С. 143.

¹² Там же. С. 143–144.

¹³ Там же. С. 141.

¹⁴ Там же. С. 141–142.

жали в доме печатника Планта Мореуса, там сейчас музей, и среди экспонатов — книга английского капитана Дженкинсона о России Ивана Грозного, карты к ней также напечатаны здесь.

Памятником былого величия Антверпена являются старинные складские сооружения; об одном из них пишет Н. И. Греч: «Между двумя бассейнами лежит старинное здание, пакгауз Ганзы, с гербами трех ганзейских городов, и надписью: Sacri Romani Imperii Domus Hansae Teutonicae (1564). Доныне живет в этом здании ганзейский консул. За внутренним бассейном возвышаются новые великолепные здания — пакгаузы, построенные нидерландским королем Вильгельмом I»¹⁵.

Антверпен в эпоху Петра I

В XVII веке, в связи с расцветом Амстердама, главного экономического центра республики Соединенных Провинций, торговое значение Антверпена несколько упало, но все же он сумел оправиться от перенесенных испытаний и по-прежнему оставался крупным центром духовной культуры. В начале XVIII века в этом городе побывал русский дипломат А. А. Матвеев, который направлялся из Гааги в Париж в составе неофициальной миссии ко французскому двору: «Посол прибыл до знаменитого города брабанского до Антверпии»¹⁶.

Вот первые впечатления русского посланника, прибывшего в Антверпен с кратким визитом: «Вышеобъявленной город самого старинного здания, жительством многолюдной, в нем дома каменные великия, однако ж не размерны и архитектуры самой плохой и ветхой, основательная городская крепость негораздо крепка. При том городе две фортификации зело крепкого и нового здания, в городе том девять ворот. Мимо сего города с одну сторону течет река, называемая Шел, по которой ходят великия суды и корабли, где торговля есть великая, и купечества тот город полон»¹⁷.

А. А. Матвеев направлялся через Бельгию во Францию по указанию Петра I, который стремился укрепить связи с этой европейской державой. К 1717 году относится посещение русским царем ряда западноевропейских стран; побывал Петр I и в Антверпене. 30 марта 1717 года «Петр отправился в Брабандию, — пишет А. С. Пушкин. — 31-го вошел в Шельду (Escaut) у Антверпена»¹⁸.

11 апреля (н. ст.) 1717 года русский царь прибыл сюда со своей свитой на трех шхунах: «Вышед на берег, государь поехал в монастырь Св. Михаила, где приготовлены были ему покои; тут встретили его герцог Гольштейн-Плоэн, принц де ля Тур Таксис и принц Эскилаш (Esquilache), а потом все чиновники города. Он осматривал главные церкви, биржу, Академию живописи и изящных художеств и иезуитский дом»¹⁹, — повествует об этом визите один из членов царской свиты. «Здесь Петр посетил иезуитские монастыри — и нанял в свою службу шаубенахта Падона»²⁰, — добавляет Пушкин.

Царские шхуны встали к причалу на реке Шельде около Кроненбургских ворот, в 100 метрах от средневекового аббатства Св. Михаила. Так уж повелось, что коронованные особы останавливались в этом монастыре, а при отъезде его щедро одаривали. Интерес к русскому царю и его посольству был живейший, приемов и пе-

¹⁵ Там же. С. 146.

¹⁶ Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева). Л., 1972. С. 34.

¹⁷ там же. С. 35.

¹⁸ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. т. 10. История Петра. М., 1950. С. 233.

¹⁹ Петр I в Париже // Отечественные записки. 1822, ч. 12. № 30–32. С. 147–148.

²⁰ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. т. 10. История Петра. М., 1950. С. 233.

реговоров последовало много. Но Петр I в Антверпене долго не задержался; он пригласил фламандцев на работу в Россию. Хотя его визит был кратким, память о нем сохранилась в народных легендах, в книгах. Рассказывают, что в Антверпене русского царя восхитили колокольные мелодии, исполнявшиеся на карийоне. Петр был очарован этим старинным музыкальным инструментом и заказал пять карийонов для российских церквей. Один из них был установлен на колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

Антверпен в эпоху Наполеона Бонапарта

С 1794-го до 1814 года Антверпен находился под властью французов. Наполеоновская оккупация принесла много бед жителям Антверпена, но все же именно по распоряжению Бонапарта здесь была начата постройка гавани, и уже в 1805 году французы спустили на воду «три корвета и один фрегат о 44-х пушках»²¹. «21-го июля 1803 года предписано было построить в Антверпене морской арсенал и верфи. 16-го августа 1804 года положено было им первое основание, — пишет Н. И. Греч. — В 1803 году Антверпен не имел ни одного собственного судна; в 1806 году 627 судов, бригов, шлюпов, и т.п., производили прибрежную торговлю с разными соседственными городами»²². Как заправский моряк, Н. И. Греч повествует об истории местной верфи.

«В 1806 году кончены были два огромные бассейна (дока), одетые камнем: в одном могли помещаться двенадцать линейных кораблей, в другом сорок. Постройка их стоила 13 000 000 франков. Они лежат подле самой реки, и вода выпускается из них посредством шлюзов. В меньшем починивали и конопатили корабли. В большом предполагалось давать приют эскадре в то время, когда сильный лед идет по Шельде. Для обшивки судов медью назначались два малые бассейна. Для облегчения сообщений бассейнов с верфями, лежащими на другой стороне города, скрыты были дома по берегу и построена прекрасная каменная набережная. До 1813 года спущено было на воду около тридцати военных кораблей (один 120-ти пушечный, два 80-ти пушечные, остальные 74-х пушечные) и три фрегата. В 1814 году строительные материалы и военно-морские снаряды Антверпена составляли капитал в 300 миллионов франков»²³.

В 1814 году губернатором Антверпена был Лазарь Карно (Carnot, 1753–1823), французский политический деятель, в прошлом — инженер-физик. Именно ему пришлось расплачиваться за наполеоновскую агрессию в Нидерландах. Как отмечал Н. И. Греч, «в 1814 году Карно выдержал осаду, и в следующем году Антверпен присоединен был к новоучрежденному королевству Нидерландскому»²⁴.

А с 1830 года, после того, как католические провинции «отложились» от протестантских Нидерландов, Антверпен является крупнейшим портовым городом Бельгии.

Кафедральный собор

Одной из главных достопримечательностей Антверпена является кафедральный собор Богородицы (по-фламандски — Онзе-ливе-Враукерк) (в записках

²¹ Мещерский Алексей, князь. Записки. С. 237.

²² Греч Н. И. Указ. соч. С. 144.

²³ Там же. С. 144–145.

²⁴ Там же. С. 142.

А. А. Матвеева — «преблагословенные Марии Богородицы»). Пресвятая Дева издавна считалась покровительницей города; на месте собора некогда стояла небольшая часовня, где хранилась святыня Антверпена — статуя Богородицы.

Нынешний собор был заложен в 1352 году мастером Жаном Амелем из Булони. Зодчий, отдавший постройке более 40 лет, умер, не увидев собор возведенным, и завещал свое дело сыну Петеру. История сохранила имена преемников Жана Амеля и его сына: Жак Так, мастер Эврар, Герман ван Вагемакер (Waghemaekere) и его сын Доминик (1395–1520). Строительство собора было в основном закончено только в начале XVI века, но и сегодня его южная 123-метровая башня недостроена. И тем не менее она постоянно поражала воображение жителей города своей высотой и дивным звоном 40 колоколов. Вот что записал Альбрехт Дюрер, побывавший в Антверпене в те годы, когда завершалось строительство собора: «Церковь Богоматери в Анторфе (Антверпене — А. А.) чрезвычайно велика, настолько, что там одновременно поют несколько служб, и они не сбивают друг друга. И там постоянно происходят торжественные празднования. В церкви много священных изображений и каменной резьбы, и особенно красива ее башня»²⁵.

Собор богато украшен живописью и скульптурой, в основном фламандских мастеров. Внутри этого огромного собора имеется четыре алтарных картины Петера Пауля Рубенса (1577–1640): «Бичевание Христа», «Воздвижение Креста», «Снятие с Креста» и «Вознесение Девы Марии». Наиболее впечатляющая из них — «Снятие с Креста» (1612). Трудно найти более естественное обрамление «Снятию с Креста», чем прозрачный, рассеченный чередой стрельчатых арок полумрак собора. Это — центральная часть триптиха; его боковые створки — «Посещение Марией Елизаветы» и «Принесение во храм» — не уступают по мастерству центральному полотну.

В 1705 году русский посол А. А. Матвеев посетил кафедральный собор с находившимся при нем монастырем, отметив при этом его достопримечательности: «В том же городе преблагословенная Марии Девы Богородицы великой кляштор, или монастырь, внутри весь различных мраморных итальянских архитектур с боюх сторон алтарями по премногу украшен. Наверху хоры с слупами и с балясами мраморными ж, которые из Италии, из города Геневи (из-под Генуи, с каррарских каменоломен. — *Примеч. автора*), нарочно привезены туды. Письма живописные в церквах и над алтарями, и на потолках самых преславных древняго веку живописцов, особливо ж хвальных веку того Робенса и Вандейка»²⁶. (В настоящее время самые известные работы Ван Дейка (1599–1641) в Антверпене находятся в церквах Св. Якова и Св. Августина. Но можно предполагать, что А. А. Матвеев мог видеть его картины и в соборе Богоматери.)

В 1761 году в России была издана книга ректора Ульмского университета (Германия) Рудольфа Рота под названием: «Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотрения света» (СПб., 1761). В этой книге, переведенной с немецкого языка надворным советником Сергеем Волчковым еще в 1747 году, в алфавитном (латинском) порядке приводились сведения о крупнейших европейских городах. Потребность в такой книге в России ощущалась давно, поскольку россияне все чаще выезжали за пределы отечества.

Вот что мог прочесть русский читатель в этой книге об Антверпене: «Великой и изрядной город в Нидерландах у реки Шельды, на ровном и веселом месте, с пространною гаванью. Лутчее в городе здание — соборная Пресвятая Богородицы церковь, 500 футов длины, 240 ширины, а высоты ея 340 шагов. У сей церкви 66 пре-

²⁵ Цит. по: Герман М., Антверпен. Гент. Брюгге. Города старой Фландрии. Л., 1974. С. 26–27.

²⁶ Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева). Л., 1972. С. 35.

делов; мраморными столбами, и другими вещьми великолепно украшенная; а на башне колокольная музыка. Иезуитский монастырь, еще богаче собора. В нижней и верхней сего монастыря великой церкви, кроме мрамору, ясписа, золота, серебра и кроме дорогой живописи, ничего не видно. Притом много приходских церквей»²⁷.

Книгой-справочником Рудольфа Рота пользовался один из потомков знаменитого рода Демидовых — основателей горной промышленности на Урале — Н. А. Демидов. Прибыв 7 сентября 1771 года в Антверпен, Никита Акинфиевич записал свои впечатления о городе: «Лучшее и огромное здание соборная Пресвятая Богородицы церковь, в коей до 60 пределов мраморными столбами и другими вещьми великолепно украшенных, а более всего самую лучшею и пресовершенною рубенсовою работою тутошняго уроженца великаго и славного живописца, особливо „Снятие с Креста“ столь живо изображено, что каждого в удивление привесть может»²⁸.

Русские путешественники, посещавшие Антверпен в следующем, XIX столетии неизменно бывали в кафедральном соборе и восхищались его убранством. Н. И. Греч, побывавший здесь в 1843 году, упоминает о тех бедствиях, которые в прошлом довелось пережить кафедральному собору. «В конце XVI века внутренность его была опустошена неистовыми иконоборцами (реформатами. — А. А.), и впоследствии восстановлена с благородной простотой, приличной храму христианскому, — пишет Николай Иванович. — До Французской революции (1789), по сторонам храма были тридцать два мраморные алтаря, наполненные редкими картинами и драгоценными украшениями; там было сто подсвечников литого серебра, четыре жертвенника из того же металла, золотая, осыпанная драгоценными камнями дарохранительница времен Франциска I. Все это разрушено и расхищено буйными республиканцами»²⁹.

Тем не менее собор пережил все невзгоды, и, по словам того же автора, «антверпенский собор есть самый огромный и великолепный храм в Бельгии, богатой произведениями старинного зодчества. Церковь состоит из трех отделов (nefs), и потолок ее утвержден на ста двадцати пяти столпах. Перспектива среднего, широкого отдела восхитительна. Главнейшее сокровище сей церкви заключается в украшающих ее произведениях кисти Рубенса»³⁰.

Внимание русских путешественников было постоянно приковано к сокровищам церковной живописи Антверпена. «Надобно посещать антверпенские церкви, чтобы видеть бессмертные труды отцов фламандской школы. В соборе первое внимание возбуждает картина Рубенса „Снятие с Креста“, — писал И. Симонов. — На другой стороне церкви, точно в таком же положении и виде, поставлена картина Рубенса „Поднятие на Крест Спасителя“, а в глубине собора стоит запрестольный образ Успения Пресвятой Богородицы, где Мать Господа, окруженная Силами Небесными, возносится к Сыну. Эти три картины творческой кисти Рубенса делают симметрию, которая поражает удивлением и незнатока, если он имеет правильный взгляд на природу изображенных предметов и действий»³¹.

В своих записках Н. И. Греч уделяет место описанию каждого из этих шедевров великого фламандского художника; он начинает свой рассказ с картины «Снятие с

²⁷ Рот Рудольф. Достопамятное в Европе. то есть описание всего, что для любопытного смотра света. СПб., 1761. С. 13–14.

²⁸ Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова. М., 1786. С. 15.

²⁹ Греч Н. И. Парижские письма... С. 146–147.

³⁰ Там же. С. 147.

³¹ Симонов И. Указ. соч. С. 254–256.

Креста»: «Первая из сих картин считается первостепенным произведением Рубенса и привлекает в Антверпен художников и любителей из всех стран Европы. Все они удивляются величию божественности предмета, изяществу и чистоте исполнения. Смее ли я ее описывать и исчислять красоты ее! Поезжайте в Антверпен, читатель мой, и насладитесь ими!»³²

Далее отечественный литератор упоминает о двух других картинах прославленного мастера. «В противень этой картине находится, в другой стороне церкви, Рубенсово же „Воздвижение Креста“, равномерно приводящее в восторг любителей искусства, — продолжает Н. И. Греч. — На запрестольном образе представлено им же „Успение Богородицы“, совершенно в ином характере против других картин Рубенса. Пресвятая Дева возносится на небо в сонме ангелов, на светозарном облаке»³³.

Не будучи профессиональным искусствоведом, Николай Иванович все же рискнул углубиться в художественный анализ этого произведения.

«В этой картине нет того твердого, телесного колорита, которым отличаются все другие произведения Рубенса; здесь все нежно, светло, прозрачно, небесно, божественно. Рисунок, по суждению знатоков, есть верх совершенства: воздушная перспектива соблюдена во всей точности. Драпировка богатая и величественная. Говорят, что Рубенс написал „Успение“ в шестнадцать дней, и получил за свой труд обыкновенную плату, по сту гульденов за день»³⁴.

Прежде чем перейти к описанию других украшений храмового интерьера, Н. И. Греч сообщает о судьбе рубенсовских шедевров в наполеоновскую эпоху: «Сии три картины увезены были французами, и возвращены в 1816 году. Во время осады Антверпена приняты были все средства к охранению их. Четвертая Рубенсова картина есть „Воскресение Господне“, над могилой друга его, Морета»³⁵.

Далее отечественный автор перечисляет увиденные им украшения собора — как живописные, так и скульптурные.

«В соборе есть еще другие драгоценные произведения живописи, но они исчезают пред исчисленными мною. Есть изваяния Фербрюггена, и в том числе кафедра, изукрашенная резьбой на дереве: работа трудная, требующая искусства и терпения, но не величественная, бесхарактерная и безвкусная; пороки представлены в виде разных птиц, в естественную их величину.

В нынешнее время готовится антверпенскому собору оригинальное и гениальное украшение: это ряд седалищ вдоль стены, вырезаемых из дерева лувенским профессором де Гирстом (de Geerst). На них представлены события Священной Истории и фигуры святых и апостолов в малом виде, с необыкновенным искусством и изяществом. Эти изваяния не уступят превосходнейшим произведениям Средних веков в сем роде. Готова едва ли четвертая часть. Работа подвигается успешно»³⁶.

Подводя итог сказанному, Н. И. Греч замечает: «Вообще антверпенский собор и в наружности и во внутренности своей заслуживает внимания любителя искусств: я проводил в нем часа по два в день с большим наслаждением»³⁷.

Шедеврами кафедрального собора восхищались многие россияне, бывавшие в Антверпене, а одного из них рубенсовское полотно вдохновило на стихотворение

³² Греч Н. И. Указ. соч. С. 148.

³³ Там же. С. 150.

³⁴ Там же. С. 150.

³⁵ Там же. С. 150.

³⁶ Там же. С. 150–151.

³⁷ Там же. С. 151.

«Assumptio corporis» (1972). Его автор — поэт русского зарубежья Владимир Вейдле пояснял для читателей смысл этого названия: «Так, в богословии западной церкви, определяется второй момент Успения Божией Матери, не учитываемый у нас (православных. — А. А.) и отсутствующий в нашем церковном искусстве: принятие Ее Спасителем, или всей Троицей, на небеса. Рубенс написал главный, заалтарный, образ антверпенского кафедрального собора по заказу своего родного города. Это стихотворение писалось, с большими перерывами, несколько лет»³⁸. Описывая этот шедевр кисти Рубенса, В. Вейдле как бы обращается к воображаемому собеседнику:

...Нет тебя. — Ну что ж; я хотел... Ничего. Пойдем.
 Я тебе покажу. Тут же рядом, близехонько, в соборе.
 Разве ты не знаешь? Он у вас учился.
 Паоло. Питер-Паулус. Пьер-Паоло.
 Ах, какой был мастер!...
 Видишь? Апостолы у пустого гроба
 И святые жены, в горестном смятенье,
 В скорби расставанья, в скорби, но ты понял?
 В радостной скорби, хоть и Радость их уже не с ними.
 А вверху, в сонме сил небесных,
 В хороводе ангелов кружащихся и ангелочков,
 В одеянии цветиками малыми расшитом, белом,
 Бело-голубом, светло-синем, синем,
 Она — Иоанн к Ней простирает руку,
 А другою вот-вот глаза себе прикроет,
 Чтобы защититься от Ее сиянья.
 Молода, стройна Пренепорочная; легче
 ангельских Ее руки;
 Лик румян и светел. Теплою волною
 Светло-русые кудри стан Ее ласкают.
 И небесно-синий
 Светит свет в очах Ее, глядящих в небо.
 Не бесплотна Благодатная: живет и дышит;
 Женственной всех жен Дева-Приснодева,
 Краше всей красы мира, сердцу нашему ярче солнца,
 Всей любви, всей жизни земной Царица,
 В небо вознесенная, навстречу Сыну,
 Мать и Дщерь Его, Невестная Невеста³⁹.

Соборная колокольня

Северная башня Онзе-ливе-Врауэкерк при кафедральном соборе была воздвигнута в 1521–1530 годах зодчими А. Келдермансом и Д. де Вагемакере. Колокольня взметнулась над городом на высоту 123 метра. Как отмечал Н. Н. Греч, «башня собора, вышиною в 466 французских футов (около 78 сажень), считается одним из драгоценнейших образцов готической архитектуры: она сквозная и, по словам Наполеона, походит на тонкие брюссельские кружева»⁴⁰.

³⁸ Вейдле Владимир. На память о себе. Стихи. Париж, 1979. С. 73 (примеч.).

³⁹ Там же. С. 25–27.

⁴⁰ Греч Н. И. Указ. соч. С. 147.

Отечественному литератору с колокольной не повезло: он был в Антверпене не в самое благоприятное время года. «На башню я не всходил: туманная погода не позволяет видеть вдаль, а это одно вознаграждение за трудный восход по шестистам двадцати двум ступеням, — сетовал Николай Иванович. — Если я не *видал* картины, представляющей с башни, то *наслушался* ее музыки: каждую четверть часа играют на башне громкие куранты; они очень хорошо слышны в моей квартире»⁴¹.

Что же касается другого русского путешественника — Д. Горихвостова, то в конце 1820-х годов ему довелось побывать в Антверпене дважды, и о своем первом посещении этого города он упоминает в связи со знаменитой колокольной при соборе, которую еще император Карл V в XVI веке называл «каменным кружевом». «В прежнее мое пребывание в Антверпене, — вспоминал русский автор, — я всходил на высокую фигурную башню, находящуюся при сем храме (соборном), и помню, как считал сотнями ступени ее»⁴².

Вряд ли Д. Горихвостов мог знать, что задолго до него по этим ступеням на соборную колокольную поднимался Альбрехт Дюрер: «Я дал один штюбер, чтобы меня пустили подняться в Анторфе на башню, которая, говорят, выше страсбургской. Оттуда я мог обозреть город со всех сторон; это очень приятно»⁴³, — писал великий немецкий художник.

Путешественники, бывавшие в Антверпене, просто обязаны были совершить восхождение на соборную колокольную. «Церковным альпинизмом» занимался здесь и князь Алексей Мещерский: «Я спешил воспользоваться остатком дня, чтобы взобраться на башню соборного храма: лестница узкая идет винтом и составлена из 622 ступеней, очень трудных для восхода, потому что нет места, где бы можно было остановиться и отдохнуть»⁴⁴. И словно переводя дух, князь Алексей записывает: «В башне, или колокольне, особенно величественного вида, 466 футов высоты. Она вытерпела много пожаров, но уцелела от своих свинцовых водохранилищ, всегда наполненных водой»⁴⁵.

Спустившись с колокольной, русские паломники могли заглянуть в колодец, сооруженный из кованого железа в конце XV века (работа К. Массейса). Об истории этого кладезя повествует все тот же Н. И. Греч. «Подле башни стоит старинный колодезь, под железным навесом, работы кузнеца Квентин-Мессиса, который, влюбившись в дочь живописца, бросил свое ремесло, занялся художеством, и сделался знаменитым артистом, — пишет Николай Иванович. — Он погребен у западного входа в собор; над могилой его вделан в стену медальон с изображением его лица, молота, наковальни, кистей и палитры»⁴⁶.

Церковь Св. Карла Борromeо. «Общество Иисуса»

Прекрасным образцом церковного барокко XVII века является антверпенская церковь Синт Каролус Борromeускерк, выстроенная в 1614–1621 годах архитектором П. Хейсенем при участии Ф. Агиллона и знаменитого Питера Пауля Рубенса. (Карло Борromeо (1538–1584), кардинал, архиепископ Миланский, был видным участником Тридентского собора (1545–1563) и одним из составителей Тридент-

⁴¹ Там же. С. 151.

⁴² Горихвостов Д. Записки россиянина, путешествовавшего по Европе. М., 1832. Т. II. С. 356.

⁴³ Цит. по: Герман М. Антверпен. Гент. Брюгге. Города старой Фландрии. Л., 1974. С. 27.

⁴⁴ Мещерский Алексей, князь. Записки. С. 253.

⁴⁵ Там же. С. 239.

⁴⁶ Греч Н. И. Парижские письма. С. 151.

ского исповедания веры. За свои заслуги в борьбе с Реформацией он был в 1616 году причислен к лику святых Римско-католической церкви.)

Сведения о судьбе этого храма можно найти в записках Н. И. Греча. «Бывшая иезуитская церковь Св. Карла Борромейского, выстроенная по рисункам Рубенса, и украшенная несравненными произведениями его кисти, сгорела от молнии в 1718 году, — пишет отечественный автор. — Вся внутренность ее сделалась добычей пламени; спасены были только две картины, находящиеся теперь в Венской Галерее. В следующем году восстановили церковь, заменили прежние мраморы новыми»⁴⁷.

Русский дипломат А. А. Матвеев, побывавший в Антверпене в 1705 году, мог видеть церковь Карло Борромео еще до пожара 1718 года — во всей ее красе. В Антверпене А. А. Матвеев посетил знаменитый монастырь иезуитов-болландистов. Эта конгрегация была названа по имени ее основателя Болланда (Jean de Bolland, 1596–1665), начавшего огромное издание «Житий святых» (Acta Sanctorum). В этом издании материал расположен по дням года (начиная с 1 января); под каждым днем собраны все жития празднуемых в этот день святых.

Вот что сообщается о пребывании русского посла в этом монастыре (кляшторе), где его встретили члены «Общества Иисуса»: «В том кляшторе 40 особ регулы, или устава езуицкаго, которых посла zelo почтенно приняли, и везде ему все объявляли с высоким почитанием, и в две библиотеки вводили, в одну генеральную в 4-х каморах, где находятся многия тысячи книг разных языков с разделением: в одной книги восточных и западных святых отцов, в другой историческия всех ауторов латинских, в третьей богословныя, в 4-ой каморе всяких языков книги различныя, все с подписанием ясным и с нумерами на всякой ис тех книг.

Другую библиотеку казали, где оне сходятся повседневно для всегдашнего чтения книг, и того ж времени восточных и западных отцов жития помесячно, наченшии с януария, счиняли оне на латинском языке и уже по май месяц тогда были на свет выданы»⁴⁸.

В начале XVIII века Антверпен представлял собой крупный центр Римско-католической церкви; по словам А. А. Матвеева, «в том же городе Антверпии разных регул монашеских мужеска и женска полу кляшторов и парахиальных, или прихоцких, с 50 церквей древняго изрядного здания»⁴⁹.

Из всех русских авторов, писавших об Антверпене, наибольшей полнотой отличается, пожалуй, книга князя Алексея Мещерского. Особое внимание именитый паломник уделил описанию знаменитых картин Рубенса, находившихся в кафедральном соборе: это «Снятие с Креста» и «Вознесение Богородицы»⁵⁰. В его записках подробно говорится о таких старинных храмах города, как кафедральный собор⁵¹, доминиканская церковь Св. Павла⁵², церковь Св. Карла Борромея⁵³, храм Св. апостола Иакова и церковь Св. апостола Андрея⁵⁴.

Что же касается Н. И. Греча, то он уделяет описанию «прочих» храмов всего несколько строк. «В церквах Св. Павла, Св. Августина, Св. Антония Падуанского, Св.

⁴⁷ Там же. С. 152.

⁴⁸ Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева). Л., 1972. С. 35–36.

⁴⁹ Там же. С. 36.

⁵⁰ Мещерский Алексей, князь. Записки. С. 243–245.

⁵¹ Там же. С. 240–245.

⁵² Там же. С. 245–247.

⁵³ Там же. С. 247–248.

⁵⁴ Там же. С. 248–252.

Иосифа красуются неоцененные картины Рубенса, фан-Дейка и других великих мастеров, — сообщает отечественный литератор. — В церкви Св. Андрея мраморный мавзолей королевы Шотландской Марии Стюарт, воздвигнутый в память ее двумя англичанками. На мавзолее прекрасный портрет Марии, приписываемый фан-Дейку»⁵⁵.

Церковь Св. Иакова (Синт Якобскерк)

Церковь Св. Иакова (по-фламандски: Синт Якобскерк) знаменита тем, что под ее сводами в 1640 году был похоронен знаменитый фламандский художник. «Рубенс с семейством похоронен в церкви Св. Иакова. Простая каменная доска покрывает могилу сего знаменитого живописца»⁵⁶, — писал Д. Горихвостов в конце 1820-х годов.

Этот храм возводился с 1491-го по 1507 год по плану Х. Де Вагемакере. Интерьер церкви украшался с 1602-го по 1656 год в стиле барокко (скульпторы А. Квеллин Старший и А. Квеллин Младший). В записках Н. И. Греча отмечается, что этот храм «уцелел при опустошении Антверпена иконоборцами». «Шесть боковых приделов (или капелл) украшены мрамором, обогащены драгоценными картинами первостепенных нидерландских артистов, прекрасными статуями и барельефами, — повествует отечественный автор. — Драгоценнейшая из статуй, Св. Иакова, трудов Квеллина, возвышается за главным алтарем. На расписных стеклах представлена история императора Рудольфа Габсбургского. В приделе, за главным алтарем, погребен Рубенс со своим семейством... Над алтарем капеллы мраморное изваяние Пресвятой Девы, привезенное Рубенсом из Италии. В латинской надписи исчислены заслуги и достоинства Рубенса»⁵⁷.

Более подробно о могиле знаменитого живописца говорит князь Алексей Мещерский. В 1839 году он посетил церковь Св. Иакова, где «внутри часовня Рубенса, или место погребения всех членов его семейств». «На стене картины самого Рубенса, — пишет русский автор. — Он придумал окружить Богоматерь со Христом Младенцем, лицами своего семейства: своего отца он представил в образе св. Иеронима, первую жену — Марфою, другую — Магдалиною; себя написал св. Георгием, а деду не нашел ничего приличнее аллегорической фигуры времени; своего ребенка поместил в виде ангела.

Странность, понятная только по образу мыслей того времени! Эта картина, также побывавшая в Париже, обыкновенно покрыта занавеской, которую, за умеренную плату отдергивают. Кажется, что сбор назначен в пользу церкви»⁵⁸.

Подобно своим предшественникам, у гробницы Петра Пауля Рубенса побывал и И. Симонов. «Кто трудами своими и талантом оставил потомству долговечное наслаждение, тот заслужил его благодарность, и, вероятно, не было в Антверпене ни одного просвещенного путешественника, который не пришел бы в церковь Святого Иакова поклониться праху Рубенса, — пишет И. Симонов. — Все семейство его погребено под церковью; в помосте ее, над тем местом где положено его тело, вставлена широкая мраморная плита с гербом фамилии Рубенса и с длинной надписью. В этом приделе все оживотворяет его память: „Святая Фамилия (Семейство. — *Примеч. автора*), писанная его кистью и мраморное изображение Пресвятой Девы, работы скульптора Дюкенау, привезенная из Италии Рубенсом“»⁵⁹.

⁵⁵ Греч Н. И. Парижские письма... С. 152.

⁵⁶ Горихвостов Д. Записки россиянина, путешествовавшего по Европе. М., 1832. Т. II. С. 356–357.

⁵⁷ Греч Н. И. Парижские письма... С. 151–152.

⁵⁸ Мещерский Алексей, князь. Записки. С. 250.

⁵⁹ Там же. С. 257.

Питер Пауль Рубенс (1577–1640)

Знаменитый фламандский художник был уроженцем Антверпена. «При наименовании каждого храма, при исчислении всякого собрания художественных произведений Антверпена, встречается имя Рубенса, — пишет Н. И. Греч. — Он составляет славу и величие Антверпена; им гордятся и хвалятся благодарные ученики и последователи»⁶⁰.

Здесь бережно сохраняется дом Рубенса, перестроенный по его проекту, в котором он жил и творил в первой трети XVII века. Питер Пауль Рубенс пятнадцать лет учился живописи, вначале у местных художников, затем — в Италии, копируя картины великих мастеров Возрождения, живших за сто лет до него. Вернувшись, Рубенс вскоре становится властителем моды во фламандском искусстве. Правительница Фландрии Изабелла Австрийская назначает художника главным придворным живописцем.

В записках Н. И. Греча можно найти много строк, посвященных этому выдающемуся мастеру кисти. «Рубенс, царь нидерландских живописцев, избрал столицей своей нетленной славы Антверпен, в котором покоится и прах его, — пишет отечественный литератор. — Не знаю в истории художеств человека, который соединял бы в себе столько неотъемлемых, превосходных достоинств. История прочих художников, с немногими вариантами, есть следующая: родился тогда-то, учился у того-то, принял манеру такого-то, влюбился и женился или не влюблялся, а женился, был скуп или расточителен, угрюм или приветлив, писал много или мало, умер тогда-то, погребен там-то. А этот исполин шестнадцатого и семнадцатого века, в двадцать три года от роду превзошел своих учителей, людей гениальных и искусных, был чтим и уважаем императорами и королями, исполнил, к общему их удовольствию, многие дипломатические поручения, и во всех странах, куда ни призывала его судьба, оставил великие памятники своего искусства и гения.

Считают с лишком тысячу триста картин его, которые воспроизведены гравюрами. Как художник, он стоит непосредственно подле Рафаэля и Микель-Анджело; как человек гениальный, умный и образованный, равняется с первыми людьми своего века, богатого великими и блистательными характерами. Слава и величие награждали его заслуги, но не заглушали в нем голоса сердечных чувств. Получив в Италии весть о болезни матери, он бросил великолепные дворцы, в которых его угощали и честили (чествовали. — А. А.), и поспешил в Антверпен»⁶¹.

Николай Иванович Греч сообщает об одной истории, связанной с домом Рубенса.

«Рубенс, склоняясь на просьбы эрцгерцога Альберта, решился забыть любезную свою Италию, и поселился в Антверпене. Он купил дом и начал распространять его, по своей прихоти. Соседи его, Общество Стрелецкое, нашли, что он перешагнул своим строением за черту земли, ему принадлежащей. Он утверждал, что это неправда, и между ними возник спор (как недавно у нас, на Невском проспекте, на-супротив Казанского собора, между домами Имзена и Лубье). Спорили, спорили; наконец Рубенс признался, что он не прав, и обязался, в вознаграждение Стрелецкого Общества, написать запрестольный образ для церкви Св. Христофора, считавшегося патроном Общества. Рубенс, воспользовавшись значением греческого имени Христофор (Христоносец), написал „Снятие со Креста“, причем многие особы **несут Христа**. По сторонам, на ставнях (volets) изобразил он, в том же смысле, Деву Марию с Елисаветой и святого Симеона Богоприимца.

Но стрелки не были довольны этой аллегорией: они требовали именно изобра-

⁶⁰ Греч Н. И. Парижские письма... С. 152.

⁶¹ Там же. С. 147–148.

жения Св. Христофора: Рубенс написал его на наружной стороне одной ставни, и подле него изобразил филина — в знак невежества своих земляков»⁶².

Вход в дом Рубенса украшен бюстами деятелей античности, он восхищался ими и сам стал образцом для подражания. Яркие, полные жизнеутверждающей человеческой красоты и силы дикой природы (пускай выдуманной, условной) картины принесли Рубенсу необыкновенную славу: это произошло во втором десятилетии XVII века. Выражение «рубенсовские формы» стало нарицательным. Его новый дом был «конвейером», мастерской, где ему помогали ученики — знаменитые впоследствии портретист Ван Дейк, «деревенщик» Иорданс. С 1625 года на протяжении пяти лет Рубенс выполнял важные дипломатические поручения с миссиями в Голландию, Мадрид, Лондон. Только человек его славы и талантов мог завершить их успешно. Но последние десять лет он провел, отказавшись от светской жизни, в обществе своей второй жены Елены, натурщицы, послужившей моделью для таких его поздних и наиболее известных потомкам картин, как «Андромеда», «Вирсавия».

В записках Греча изложен любопытный эпизод из жизни Рубенса и Ван Дейка.

«Говорят, что однажды ученики Рубенса, в его отсутствие, убедили слугу впустить их в мастерскую, и со вниманием рассматривали эту картину (Св. Христофора.— А. А.), только что конченную: один из них как-то поскользнулся, упал на картину и стер с нее некоторые части. Ученики перепугались и упросили товарища своего, фан-Дейка, поправить беду. Он взялся за это, исправил поврежденное, и на другой день Рубенс, не заметив подделки, сказал: как мне вчера удалась эта головка и эта рука! Так говорят читатели фан-Дейка. Поклонники Рубенса утверждают, что это дело небывалое и несбыточное»⁶³.

Вот еще одно суждение о творчестве Рубенса, связывающее его деятельность с церковно-политическими событиями той эпохи, в которую довелось творить этому великому художнику. По мнению К. А. Скальковского, побывавшего в Антверпене в 1879 году, «чтобы вернее оценить Рубенса, надобно стать на историческую точку зрения, вернуться к эпохе, когда после долголетней борьбы Фландрия была вырвана из рук торжествующего протестантизма, и католицизм, при помощи испанского оружия, снова стал господствующим в стране. Иезуиты, изменив систему Альбы, старались сделать религию в глазах массы приятной и более доступной. У Рубенса ничего, впрочем, иезуитского в характере не было, но католицизм никогда не был во Фландрии отвлеченным и суровым; он всегда оставался там пластическим и человеческим, чувственная сторона преобладала в нем. Для эпохи подобного религиозного возрождения гений Рубенса подходил вполне»⁶⁴.

В августе 1840 года жители Антверпена торжественно отпраздновали 200-летие со дня кончины П.-П. Рубенса. Н. И. Греч побывал здесь три года спустя, когда еще были живы воспоминания об этих празднествах, длившихся целых десять дней.

«Важнейшие здания города и дома, в которых жили Квентин-Мессис, фан-Дейк, фан-Веен, Иорданс, Тенирс и другие знаменитые мужи Антверпена, были украшены в виде триумфальных арок, храмов, обелисков, коврами, лентами, зеленью и цветами, с приличными надписями. В Королевском обществе наук, словесности и искусств, и в Фламандском литературном обществе читали похвальные речи и стихи Рубенсу, награждали авторов медалью, на сей случай выбитою. На набережной Шельды, в виду расцветенных флагами кораблей, при пушечных выс-

⁶² Там же. С. 148–149.

⁶³ Там же. С. 149.

⁶⁴ Скальковский К. А. У скандинавов и фламандцев. СПб., 1880. С. 176.

трелах и радостных кликах народа, открыли гипсовую модель Рубенсова монумента. В это время фонтан Квентин-Мессиса бил вином, а из фонтана, воздвигнутого в квартале пивоваров, лилось пиво. Вечером иллюминация и фейерверк.

В другие дни происходили торжественные аллегорические поезда, раздаваемы были медали и призы за лучшие произведения ремесл (между прочим, за кареты, сделанные в Антверпене); выставлен был альбом, составленный в честь и память Рубенса из картин, рисунков, акварелей, гравюр, медалей, статуй, книг, карт, принесенных в дар артистами и литераторами бельгийскими и иностранными. Все предметы были разыграны в лотерею между особами, принявшими на свой счет издержки праздника. В один из торжественных дней происходил бег взапуски на шлюпках и лодках по Шельде; в другой была выставка цветов и овощей, возвращенных в Антверпене и окрестностях. Каждый день даваны были концерты, балы, городские и сельские. В предпоследний день иногородные стрелецкие общества имели торжественный въезд в город, и остановились на Зеленой площади. Антверпенское стрелецкое общество Вильгельма Телля всенародно угощало их почетным вином из старинных кубков.

Все сие торжество, как говорят, носило на себе печать почтенной старины и неизгладимой в сердцах антверпенцев любви к изящным искусствам, которая блистательно проявляется и в нынешнее время»⁶⁵.

В дни этого праздника было решено воздвигнуть Рубенсу памятник. К 1843 году работа над монументом существенно продвинулась. Как отмечал Н. И. Греч, «колоссальная статуя Рубенса, трудов Гифса, уже отлита из бронзы. У ног его лежат свитки и книги дипломата, кисть и палитра художника, шляпа сановника. Долго спорили, где поставить статую. На набережной, в порте, она исчезла бы в пустоте, площадь де Мейр тесна и неправильна. Теперь положено воздвигнуть ее на так называемой Зеленой Площади, неподалеку от собора»⁶⁶.

Именно там эту статую годы спустя увидел русский путешественник Н. И. Тарасенко-Отрешков. «Знаменитый католический собор — огромное здание, — писал он в 1871 году. — Его колокольня весьма оригинальна и не лишена своего рода изящества. На небольшой площади, близ ковша порта, воздвигнут памятник живописцу Ван-Дейку, а далее, на довольно большой площади, против помянутого выше собора, поставлен памятник другому живописцу — Рубенсу. Оба памятника бронзовые, хорошей работы»⁶⁷.

А. С. Пушкин и Н. И. Греч были современниками и хорошо знали друг друга. Великому русскому поэту не довелось побывать за границей, но в своих стихах он упоминает о великих фламандских художниках. В «Евгении Онегине» Пушкин вскользь говорит о «Вандиковой Мадоне»⁶⁸, а в одном из лицейских стихотворений (1813) упоминает про Рубенса:

Но Рубенсом на свет я не родился,
Не рисовать, я рифмы плетть пустился⁶⁹.

Миллионы паломников и туристов, посещающие ныне Антверпен, с благоговением и восторгом созерцают шедевры фламандской живописи в храмах, в Коро-

⁶⁵ Греч Н. И. Парижские письма... С. 152–153.

⁶⁶ Там же. С. 153.

⁶⁷ Тарасенко-Отрешков Н. И. Записки в поездку во Францию, Италию, Бельгию и Голландию. СПб., 1871. С. 478–479.

⁶⁸ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 6. М., 1937. С. 53.

⁶⁹ Там же. Т. 1. М., 1937. С. 18. Стихотворение «Монах».

левском музее изящных искусств и в доме Рубенса. Можно сказать, что город «кормится Рубенсом»; это его величайшая гордость. Об этом красноречиво поведал своим читателям Н. И. Греч. «Из обозрения церквей антверпенских читатели мои могли видеть, в каком почете здесь изящные искусства и как богат город сей редкими произведениями живописи и ваяния, — пишет он. — Любовь к изящному есть преобладающее чувство в Бельгии, особенно в Антверпене. Память великих его артистов, Квентин-Мессиса, Тенирса, фан-Дейка, Иорданса, Крейера и царя их, Рубенса, живет в душе антверпенцев и поощряет их к подражанию великим предкам. Войдите в частный дом: на стенах красуются у богача картины, у бедного — гравюры. Жители окрестных сел, отслушав обедню в соборе, останавливаются перед бессмертными картинами, рассматривают их внимательно и с безотчетной гордостью говорят друг другу: вот наш Рубенс!»⁷⁰

Королевский музей изящных искусств

Гордостью Антверпена является Королевский музей изящных искусств, история которого восходит к деятельности гильдии Св. Луки (1382). «В Антверпене существует Академия Художеств Св. Луки, основанная в 1454 году герцогом Бургундским Филиппом Добрым и обогащенная королем испанским Филиппом IV, — пишет Н. И. Греч. — Она может считаться колыбелью фламандской, или брабантской, школы; в ней врожденное чувство изящного нашло удовлетворение и пищу»⁷¹.

С середины XVII века и до 1773 года, вплоть до ее роспуска, члены гильдии были обязаны приносить в дар Академии изящных искусств свои произведения. Во время французской оккупации в 1794 году большое число картин было изъято из помещения гильдии Св. Луки, ратуши, церквей и увезено во Францию. После закрытия монастырей в 1797 году более трехсот принадлежавших им картин было собрано в помещении бывшего монастыря кармелитов; таким образом создалась основа будущего музея. Сокровища искусства были впоследствии свезены в монастырь францисканцев в Антверпене, где позднее расположилась Королевская Академия изящных искусств.

Оккупанты вывозили из Антверпена во Францию не только картины, но и церковную утварь. «Во время Французской революции кафедральный собор был совершенно опустошен, и в числе дорогих вещей, отсюда похищенных, считают около ста литых подсвечников и 4 престольных доски из серебра»⁷², — пишет А. Мещерский.

Устав академии был возобновлен 13 апреля 1817 года. К концу 1820-х годов относятся записки Д. Горихвостова, побывавшего в антверпенском собрании церковной живописи в тот переходный период. «Я с удовольствием взглянул в Антверпене на музей живописи, составленный из картин собственной школы — фламандской, — пишет русский автор. — Лучшие произведения оной, быв рассеяны по церквям, и превосходные картины Рубенса, Вандика (Ван Дейка. — *Примеч. автора*), Рембрандта, Жордана (Иорданса. — *Примеч. автора*), вырученные из французского плена, ныне находятся в совокупности и составляют достопримечательную картинную галерею, помещенную в одной из упраздненных церквей»⁷³.

Открытие Королевской академии изящных искусств состоялось в Антверпене

⁷⁰ Греч Н. И. Парижские письма... С. 155–156.

⁷¹ Там же. С. 156.

⁷² Мещерский Алексей, князь. Записки русского путешественника. М., 1842. С. 240.

⁷³ Горихвостов Д. Записки россиянина, путешествовавшего по Европе. М., 1832. Т. II. С. 356.

в 1843 году. За год до этого события, в 1842 году, И. Симонов осмотрел знаменитое собрание церковной живописи, составившее основу будущей экспозиции. «Музеум Академии наполнен прекрасными произведениями фламандских художников, и первое место между ними занимает известная картина Рубенса, изображающая распятие Спасителя между двумя разбойниками, — сообщает русский автор своим читателям. — 18 картин Рубенса, 6 фан Дейка и 6 Иордаенса украшают антверпенский музей. Там находится еще очень примечательная картина, на которой изображено с необыкновенным искусством погребение Спасителя. Она писана в 1508 году антверпенским кузнецом, который в продолжение 20 лет занимался этим ремеслом, и с помощью одного только молотка сковал украшения колодца, находящегося на площади близ собора. Это был Квинтин Метсис»⁷⁴.

А в 1843 году Н. И. Греч смог побывать в только что возрожденной Королевской Академии. «Она помещается в здании бывшего францисканского монастыря (couvent des Recollets), которое ныне значительно распространяется, — пишет Николай Иванович. — Доныне музей ее расположен в бывшей монастырской церкви; теперь выстроено, для помещения его, новое обширное здание, состоящее из трех огромных, высоких зал, освещаемых сверху. Этот музей почти весь состоит из произведений живописцев антверпенских, или писавших в стиле здешней школы: они являются здесь родоначальниками и потомками одного и того же поколения, и это драгоценное собрание представляет нам наглядную историю школы брабантской, родившейся и процветшей в Антверпене»⁷⁵.

Русские путешественники неизменно восхищались сокровищами Королевской академии; к их числу принадлежал и Александр Блок:

А ты — во мглу веков глядись
В спокойном городском музее:
Там царствует Квинтин Массис:
Там в складки платья Саломеи
Цветы из золота вплелись⁷⁶.

Антверпен во второй половине XIX века

Дополняя сообщения своих собратьев по перу, рассказывавших об Антверпене, Н. И. Тарасенко-Отрешков описывал повседневную жизнь города, которая была тесно связана с традициями Римско-католической церкви: «В городе господствующее вероисповедание католическое, и это сейчас проявляется изображениями и статуями, выставленными не только у церквей, но даже наружи домов и по углам улиц. Мне сказывали, что здешние католики весьма богомольны. Это весьма вероятно: по дороге я заходил в две католические церкви, и хотя это был будничнейший день, но молящихся было довольно, чего я не видал даже в Италии»⁷⁷.

Русский путешественник был в Антверпене вскоре после того, как в разгар франко-прусской войны 11 сентября 1870 года, после отозвания французских войск из Рима, итальянские войска 20 сентября заняли Вечный город. Папская область была ликвидирована; наступил конец светской власти папы. Бельгийские

⁷⁴ Симонов И. Указ. соч. С. 257–258.

⁷⁵ Греч Н. И. Парижские письма... С. 157.

⁷⁶ Блок Александр. Антверпен. Цит. по: Песни о Бельгии, собранные Евгением Вильчинским. Пг., 1916. С. 61.

⁷⁷ Тарасенко-Отрешков Н. И. Записки. С. 480.

католики были хорошо осведомлены об этих событиях, и Тарасенко-Отрешков в своих записках излагает мнение одного из них на этот счет.

«В провожатые мне был дан фламандец, несколько говорящий по-французски, — пишет русский автор. — Идя мимо церкви, я спросил его: „Часто ли он и его подчиненные ходят в церковь?“

Он. Мы католики, должны ходить каждое воскресенье.

Я. Слышали ли Вы, что теперь папа лишен итальянцами светской власти?

Он. Это великое несчастье, и Бог накажет нечестивых, посягнувших на столь тяжкое преступление. У нас теперь есть и такие католики, которые толкуют, что это ничего, но все остальные душевно скорбят, и с духовенством молят Бога о скорейшем наказании нечестивых и возвращении власти святому отцу»⁷⁸.

В конце XIX века в России, как и в других странах, началось успешное распространение бельгийского капитала. В Россию потянулись десятки предпринимателей, инженеров, рабочих, чтобы принять участие в строительстве Транссибирской магистрали. Повышенный интерес бельгийцев к материальным и духовным богатствам далекой и загадочной страны расширил экономические и культурные связи, упрочил контакты. С необходимостью общения пришла и необходимость языкового понимания друг друга.

Тогда, в 1897 году, в Антверпене впервые в Бельгии постановлением министра образования было учреждено преподавание русского языка. (Примеру Антверпенского высшего института коммерции последовали Гент и Льеж, а затем — Монс и Брюссель. Первый профессор-славист И. Тайч стал автором первой бельгийской «Грамматики русского языка»⁷⁹.)

«В марте 1997 года исполнилось 100 лет со времени этого события, и, по инициативе антверпенских научных кругов, было решено отметить знаменательную дату. Юбилей стал событием, примирившим разногласия между институтами фламандских и франкоязычных городов и утвердившим атмосферу деловитости и взаимопонимания.

Три дня, с 4 по 6 марта, в разных аудиториях академического здания института и в Пушкинском центре с участием студентов и выпускников шли заседания и проходили встречи профессоров-славистов Бельгии и России. На протяжении всех трех дней „серьезную“ часть юбилея с его научными сообщениями обрамляла то классическая русская музыка — Рахманинова, Скрябина — в исполнении лауреата конкурса королевы Елизаветы Сильвии Трей, то музыка народная — фольклорное трио из Саратова. Состоялась экскурсия по городу, — по местам первых русских, которую провел профессор института В. Ронин, автор одной из интереснейших книг „Подданные царя в городе синьоров“ (1993). Культурную программу предложили и студенты, продемонстрировав прекрасное знание русского языка и любовь к нему»⁸⁰.

Антверпен между двумя мировыми войнами

Особенно оживилась жизнь города на рубеже XIX и XX столетий. Одни наши русские предки ограничивались лишь посещением Антверпена, другие, напротив,

⁷⁸ Там же. С. 480.

⁷⁹ Катонина Светлана. Сто лет русского языка в Бельгии (1897–1997) // Русская мысль. № 4172, 1–7 мая 1997. С. 13.

⁸⁰ Там же.

осели здесь надолго. Уже перед Первой мировой войной русские составили треть иностранцев, населявших этот космополитический по своему духу город. До Первой мировой войны в Антверпене был только один православный храм — греческий приход для моряков. После 1917 года здесь был образован русский православный приход Константинопольского патриархата.

Вот отрывок из воспоминаний митрополита Евлогия (Георгиевского) (1868–1946) о жизни этого прихода в середине 1930-х годов. «Община в Антверпене сначала приписалась к Брюсселю, и владыка Александр посылал туда то протоиерея Вл. Федорова (из приюта Кузьминой-Караваевой), то священника отца Г. Тарасова, то еще кого-то. Когда объединение немного укрепилось, я направил туда молодого священника отца С. Тимченко.

Наша антверпенская церковь помещается в запасном зале протестантской кирхи. Большой, светлый зал. Прихожан мало, но большинство из них зажиточны; беженской бедноты нет.

Антверпен — огромный порт. Много матросов. Заходят сюда корабли и из СССР. Случается, что кто-нибудь из советских моряков забегает в нашу церковь. В порту есть русские грузчики. О. Тимченко организовал для них общество взаимопомощи.

В настоящее время (1935 год. — А. А.) приход возглавляет священник А. Насальский (Богословского Института). Священнику в Антверпене в материальном отношении живется очень трудно; быть может, было бы совсем невозможно, если бы местный староста, доктор Орлов, не оказывал ему гостеприимства. Помогают натурой и некоторые другие прихожане, но часто у священника нет денег на самые необходимые расходы»⁸¹.

С этого времени прошло более полувека, и в 1999 году в Антверпене был освящен православный храм Рождества Христова (Московский патриархат)⁸².

Антверпен сегодня

«Антверпен получил от Бога Шельду, а все остальное — от Шельды» — есть такая здесь поговорка. Сейчас вместе с пригородами он почти не отстает от миллионного Брюсселя. Река Шельда, говоря словами Александра Блока, «широкая, как Нева», рассекает Антверпен на две части. Над рекой нет мостов: глубоко под Шельдой имеются широкие тоннели; это удобно для транспорта, не мешает океанским судам подходить к антверпенским причалам и не искажает панораму города, украшенную шпилями соборов и церквей.

На набережной Шельды вспоминаются верхарновские строки:

О, мощная река! На бережных стройных
Банкирские дома, дворцов торговых ряд,
И флаги всех земель, повторены, дрожат,
С гербами пышными, в твоих зыбях спокойных.

В начале XX столетия по здешней набережной прогуливался Александр Блок:

Речной туман ползет с верховий
Широкой, как Нева, Эско.

⁸¹ Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М., 1994. С. 426.

⁸² Газета «Православный Санкт-Петербург». 1999. № 12 (90). С. 2.

И над спокойною рекой
В тумане теплом и глубококом,
Как взор фламандки молодой,
Нет счета мачтам, верфям, докам,
И пахнет снастью и смолой⁸³.

Через несколько десятилетий поэт русского зарубежья Евгений Раич принял эстафету от Александра Блока:

Антверпен с гаванью веселой,
С широкой пристанью, куда
Приходят поступью тяжелой
Заокеанские суда⁸⁴.

Теперь в искусственных бассейнах города разгружаются ежегодно сотни миллионов тонн грузов. И снова, как и в средневековье, Антверпен — аванпорт Германии: суда «река-море» и перевалочные баржи поднимаются по каналу Альберта в Маас, и дальше — на Рейн...

Можно упомянуть и о том, что Антверпен сегодня — крупнейший центр обработки алмазов и торговли бриллиантами: вдоль Пеликанстраат располагаются мастерские гранильщиков, магазины и уникальный музей алмазов «Даймондленд».

Сегодня антверпенский порт — четвертый в мире по товарообороту; в 1998 году он ежегодно обслуживал 700 кораблей из России. Но когда Петр I в 1717 году сошел со своей шхуны на берег Шельды, антверпенская гавань была весьма скромной. Это было второе посещение Петром Южной Фландрии; оно отличалось от первого, которое имело место в 1698 году: Петр приехал не инкогнито, а главой государства, разгромившего шведского короля Карла XII, властелином могучей державы. Тем не менее в 1998 году исполнилось 300 лет со времени первого визита в Антверпен «царя-плотника». В Антверпене этот юбилей широко отмечался: в октябре 1998 года здесь прошел Петровский фестиваль, началом которого послужила установка памятника Петру I.

Как уже говорилось выше, в 1717 году царь и его свита были размещены в антверпенском аббатстве Св. Михаила. Фасады аббатства выходили на две улицы — Клостерстраат и Римстраат. И вот теперь 7 октября 1998 года на небольшой площади, образованной пересечением этих двух улиц, был установлен памятник Петру. Работа московского скульптора Георгия Франгуляна — подарок русского народа Фландрии в память о знаменательном событии⁸⁵.

Бронзовая фигура царя высотой в два с половиной метра вырастает из овального, слегка наклонного постамента, на котором изображена роза ветров. Позади фигуры царя два ангела развернули ленту с надписью: «В 1717 году на это место ступил русский царь Петр Великий».

⁸³ Блок Александр. Антверпен. Цит. по: Песни о Бельгии, собранные Евгением Вильчинским. Пг., 1916. С. 61.

⁸⁴ Раич Евгений. Современник. Париж, 1965. С. 41.

⁸⁵ Докторова Лариса. Петровские дни во Фландрии // Русская мысль. № 4242, 22–28 октября 1998. С. 15.

**Яков Гордин. Алексей Ермолов. Солдат и его империя. В 2 т. СПб.: Вита
Нова, 2012 (Жизнеописания). Т. 1. — 656 с.: 205 ил.; Т. 2. — 592 с.: 140 ил.**

Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) — русский военачальник и государственный деятель, участник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфантерии и генерал от артиллерии. Главнокомандующий на первом этапе кавказской войны. Для потомков имя Ермолова связано по преимуществу с Кавказом, но для своих современников он стал фигурой мифологической еще до своей кавказской эпопеи. В 1807 году 29-летний Алексей Ермолов вернулся в Россию с европейских фронтов, имея репутацию одного из первых артиллеристов русской армии. Во время войны 1812 года он несколько раз буквально спасал русскую армию. Он отличился при Бородине: когда французы прорвали центр русской позиции, батальон под руководством Ермолова отбил Курганную батарею и держался более двух часов, пока не подошло подкрепление. Именно Ермолов настоял на том, чтобы встретить Наполеона в Малоярославце, и после упорных боев французская армия свернула на старый, пройденный уже ею и разоренный путь, что привело ее к катастрофе. Звездный час Ермолова — битва при Кульме в 1813 году. «У нас такое представление, что Наполеон после 1812 года — не противник. Но в кампанию 1813 года Наполеон выиграл подряд три сражения и загнал русско-прусскую армию в ущелья Богемских гор. Если бы Ермолов с гвардейскими полками в многочасовом бою не обеспечил армии выход на равнину, сражаясь против более чем вдвое превосходящего противника, судьба Европы и Наполеона была бы другой», — утверждает Яков Гордин. Ермолов умел принимать самостоятельные решения. В 1816 году приказом Александра I он был назначен командиром Отдельного Грузинского корпуса, управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии. Началась служба на Кавказе. Ермолов правил Кавказом почти полновластно, с холодным расчетом, планомерно, настойчиво и энергично осуществляя свой план замирения края. Он командовал боевыми действиями в Дагестане, воевал с чеченцами. Имя Ермолова стало грозой горцев, и кавказские женщины долго пугали им своих детей. Под его руководством русская армия вытеснила персов, вторгшихся в Закавказье с территории Ирана. При всей неоднозначности его политики на Кавказе, отзвуки которой, по мнению Я. Гордина, болезненно «аукаются» нам и сегодня, он много сделал для Кавказского края: модернизировал Военно-Грузинскую дорогу и иные пути сообщения, устроил лечебные заведения при минеральных водах. Он содействовал притоку русских поселенцев, предоставил казакам землю по берегам Кубани и дал двухлетнюю отсрочку платы за нее. При нем были возведены крепости Внезапная и Грозная, основано укрепление Нальчик. Казалось бы, эта одна из самых крупных и загадочных фигур русского генералитета всех времен, его деяния могли бы стать предметом самого пристального внимания исследователей. Не стали. Он упоминался в исследованиях, посвященных наполеоновским войнам, Кавказу, александровской эпохе, другим героям своего времени. Фактически написанная в жанре документального романа книга Якова Гордина — первая такая подробная биография героя наполеоновских войн, «проконсула Кавказа», «русского Цезаря» Алексея Петровича Ермолова. В книге использованы «Записки», письма самого Ермолова, воспоминания и дневники современников, военные рапорты, дислокации. Текст сопровождается уникальным по широте охвата эпохи изобразительным рядом, впервые предпринята попытка представить полную иконографию А. Ермолова. Ав-

тор исследования, писатель, историк, публицист сопоставляет источники, находит разночтения, уточняет спорные позиции. Их немало, ведь даже точный год рождения героя его книги — 1772, 1776, 1777 — под вопросом. В уточнениях подчас нуждаются даже дипломатические, военные, геополитические реалии прошлого, в подробностях представленные не на страницах книги. Тем более много непроясненного в запутанных ситуациях, связанных с продвижением Ермолова по службе, в его отношениях с государями российскими, с покровителями и недругами, с сослуживцами. Значительная часть книги посвящена особенностям кавказской войны и роли Ермолова в событиях на Кавказе тех лет. Судьба Ермолова была не проста, вся жизнь состояла из взлетов и падений. С юности он познал не только воинскую славу под командованием Суворова, но и каземат Петропавловской крепости, и ссылку (за участие в «заговоре против Павла I»). И упрямо двигался к высоким целям, без достижения которых жизнь казалась ему бессмысленной, крушение в его понятии — цепь вялых и холодных дней. Автор пристально исследует процесс формирования личности и мировидения Ермолова. Воспитанный на героических жизнеописаниях Плутарха, европейской рыцарской поэзии, Ермолов мечтал о лаврах Александра Македонского и Цезаря и выделялся среди своих соратников «необъятным честолюбием». Он сделал карьеру в александровское царствование, но оставался человеком другой эпохи. «По своим глубинным потенциям он сформировался в эпоху геополитического гигантизма Екатерины и Потемкина, во времена великого „Греческого проекта“, во времена персидского похода, продолжившего инерцию петровского рывка в „золотые страны востока“... Ермолов не был фанатиком служения государству, но его „необъятное честолюбие“ органично сочеталось с ведущей имперской идеей — расширением пространства. Идея эта пугала уже русских царей, видевших неимоверную сложность управления этим конгломератом многообразных территорий и народов. Но она не смущала значительную часть русской элиты — и не только военно-бюрократической». Ермолов рассматривал Кавказ как своеобразный плацдарм для завоевания Азии: «В Европе нам шагу не дадут ступить без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам», — считал он. Не один Ермолов, многие тогда полагали, что истинные интересы русской политики находятся не на Западе, а на Востоке. В конечном счете, Ермолов мечтал прорваться на просторы Азии, и, разгромив Персию, дойти до Индии. Планам его не суждено было сбыться: в 1827 году Николай I отправил Ермолова в отставку. Причины отставки подробно разобраны в книге. «Он был не самым талантливым в полководческом деле, не был самым образованным, не был самым благородным... Его абсолютная уникальность заключалась в том, что своим жизненным деянием и своим жизненным крушением он предсказал будущность империи. В отличие от многих его друзей-современников, Ермолова нельзя назвать просто слугой или солдатом империи. Ему было тесно в этой роли. Он был носителем имперского духа более мощного, чем тот, что жил в общественном сознании и в сознании имперских верхов», — пишет о своем герое Я. Гордин. Но писатель поставил перед собою большую цель, чем создание жизнеописания одного, пусть и великого человека. В одном из своих выступлений Я. Гордин сказал: «И вот о механизме возникновения и крушения империй мне бы хотелось поговорить. Насколько я понимаю, это вопрос далеко не проясненный. Вот я сейчас писал, вышла у меня книга огромного размера об Алексее Петровиче Ермолове, и взялся я за эту книгу, и потратил на нее четыре года, никогда я так долго не писал ни одну свою книгу, именно пытаюсь понять эти механизмы. Она называется „Ермолов: солдат и его империя“. Он для меня такой альтер эго Российской империи с ее мощью, с ее иллюзиями, с ее гибельными иллюзиями и ее трагедией».

Кирилл Ковальджи. Моя мозаика, или По следам кентавра. М.: Союз писателей Москвы, Academia, 2013. — 472 с.

Кириллу Александровичу Ковальджи есть что вспомнить. Он родился в Бессарабии, еще румынской, куда русские (советские) пришли в конце июня сорокового года, потом война, оккупация, снова СССР. Первое стихотворение он сочинил в возрасте шести-семи лет по-румынски: в Бессарабии, где он начинал учиться, русских школ не было. Но стал русским поэтом. А еще прозаиком, литературным критиком, переводчиком. Окончив Литературный институт в Москве, К. Ковальджи работал в журналах и советских писательских организациях. Он хорошо знал Анастасию Цветаеву, и если в годы студенчества ее великая сестра Марина Цветаева казалась исторически удаленной, целой эпохой, то встречи с Анастасией Цветаевой, беседы с ней дали возможность ощутить преемственность времен и поэзии. Он еще застал в живых Веронику Полонскую, последнюю любовь Маяковского, и снова воочию прочувствовал связь времен. Кирилл Ковальджи помнит юных Беллу Ахмадулину и Римму Казакову, которым еще предстояло сказать свое слово в русской поэзии XX века. Он с теплом говорит о своих учителях и однокашниках, с которыми свела его судьба в Литературном институте: Константине Паустовском, Евгении Долматовском, Булате Окуджаве, Борисе Никольском и многих других. Настоящая его встреча с Паустовским, блистательным устным рассказчиком, состоялась уже после института, и в памяти запечатлелись его слова о том, что настоящий ориентир — не данное общество, а душа всей русской литературы, мировой культуры. Их много, кратких, выразительных портретов современников — писателей русских, молдавских, румынских. Но книга Кирилла Ковальджи — это не книга воспоминаний. В нее вошли короткие рассказы, страницы биографии, размышления о поэтах прошлого: Пушкине, Маяковском, Блоке, Есенине, краткие отзывы-реплики на газетные и журнальные статьи, на книги. И размышления: об искусстве, философии, религии, политике... И попытки выявить причинно-следственные связи, и роль случайности, и выразительные примеры бессилия логики перед случайностью. В хаотичности записей есть своя логика, свой смысл. «Не стану в „Мою мозаику“ заносить общеизвестные события. Детали важнее. Они мои и только мои. Не сетуйте, что я, как правило, опускаю главное (например, значение того или иного поэта, того или иного факта), а выдаю на-гора какие-то байки. Общие оценки вы и без меня отыщете (да и я, кстати, написал немало статей и рецензий по всем правилам), а вот мое непосредственное восприятие — это единственное, что я могу принести от себя. Не мне судить, насколько это ценно, зато уж точно „из жизни“...» Жизнь состоит из мелочей, и порой эпизоды, яркие картинки, забавные случаи скажут об этой жизни больше, чем пространное «объективное» повествование. Можно забыть, чему была посвящена и как проходила в Ташкенте в 1968 году конференция писателей Азии и Африки, но не забыть курьезов, ее сопровождавших. И никак не изгнать из памяти судьбы девушек, чья жизнь была так страшно сломана войной. И помнить, что когда-то четырнадцатилетнего подростка трагедия Юлия Цезаря в изложении учителя истории, смерть Цезаря от руки Брута потрясла сильнее, чем события, которые где-то далеко разыгрывали современники — Сталин и Гитлер. Из деталей, из быта и будней проступают черты времен. У каждого времени свое мироощущение, мироощущение разных времен в своих коротких миниатюрах, эссе, рассказах и передает Кирилл Ковальджи. В его записях отразился и мир сегодняшний. И, быть может, если не главная, то великая боль его — поэзия современная. «Говорят о кризисе поэзии. Что с ней? Речь, конечно, не о сущности поэзии, а о ее воздействии, о ее реализации. Тут действительно разительные перемены. Если раньше, по слову Евтушенко, поэт был в России

больше чем поэт, то теперь телеведущий больше чем поэт. Поэзия еще недавно была оазисом с живой водой посредине пустыни мертвой речи, поэзия была своеобразным „островом свободы“. Теперь — половодье свободы, не видно берегов, плыви куда глаза глядят, но — чур! — кругом болота и всякая муть. Сущность поэзии не изменилась, изменился менталитет общества. С одной стороны — соблазн развлекательности — телевидение, видео, компакт-диски, Интернет. С другой стороны — надо шустрить, устраиваться, добывать деньги. Такая жесткая проза жизни, что не до стихов. Однако она, поэзия, „существует, и ни в зуб ногой“. Просто форма ее существования иная и останется иной. Вместо массовости — индивидуальный выбор. Читатель выбирает поэта. Поэт — читателя. Как при Пушкине. Правда, теперь вместо цензора — товаровед. Но никто не мешает с ним бороться!» Из маленьких камешков-воспоминаний, камешков-размышлений складывает свою мозаику поэт Кирилл Ковальджи, и общее впечатление от этой мозаики — светлое, теплое, как светел и тепел собственный внутренний мир автора.

Вспоминая счастливого человека. Виктор Андроникович Мануйлов. СПб., 2012. — 60 с.: ил. (Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга. Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова).

Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1987) — крупнейший российский литературовед, специалист по русской литературе XIX века. С его именем связана целая эпоха в лермонтоведении. Это он составил «Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова», подготовил двухтомник «Лермонтов в воспоминаниях современников», «Комментарий к „Герою нашего времени“», участвовал в «Литературном наследстве», написал либретто к опере «Маскарад» на музыку Д. А. Толстого. И он был вдохновителем, издателем и главным редактором Лермонтовской энциклопедии (1981), над созданием которой самоотверженно трудился в течение двадцати лет как частное лицо, и даже сам оплачивал труд своих учеников и сотрудников, готовивших статьи. А еще одновременно писал книги о Л. Толстом, Н. Гоголе, В. Белинском. А между сочинениями еще и стихи. Вклад его в литературоведение трудно переоценить. Но, как и большинство ученых-филологов, он, к сожалению, известен не многим читателям. Авторы настоящего издания попытались восстановить справедливость и рассказать о Викторе Андрониковиче Мануйлове, ВАМе, как называли его в близком кругу. В сборник вошли отрывки и из ранее опубликованных воспоминаний, и из недавних, предназначенных именно для этого сборника. Вспоминают о Викторе Мануйлове те, кому посчастливилось с ним работать, у него учиться, с ним дружить. Среди учениц Мануйлова — Е. Белькинд, филолог, преподаватель английского языка; О. Миллер, научный сотрудник Пушкинского Дома; Т. Селезнева (Вацуро), научный сотрудник Российского института истории искусств; Н. Сафонова (Коротина), преподаватель русского языка; Н. Хуторная, учитель, экскурсовод. Они попали в сферу внимания ученого в разные годы — 50–60–70–80-е, и на протяжении всех этих лет не менялся спартанский быт ученого: две комнаты в коммуналке, заставленные книгами стеллажи под потолок — и гостеприимный хозяин, и наполненные смыслом встречи. На протяжении десятилетий широким оставался круг общения, в тесной комнатке место находилось всем. Свои воспоминания о серьезном ученом и светлом человеке оставил и заслуженный работник культуры РФ, член Союза композиторов Б. Розенфельд. О Мануйлове пишет и Ольга Берггольц в книге «Дневные звезды»: эпизод о посещении освобожденного Пушкина, когда получасовой рассказ Мануйлова о полуразрушенном домике Китаевой жадно и внимательно слушали солдаты. Д. Лихачев в статье,

приуроченной к 80-летию Мануйлова, воздает должное деятельности ученого как уполномоченного президиума Академии наук СССР по Институту русской литературы (Пушкинский Дом) в годы блокады. Именно Мануйлову мы во многом обязаны сохранением не только оставшихся в нем музейных и архивных ценностей, но и самого исторического здания Пушкинского Дома. Неожиданным покажется отрывок из книги Михаила Глинки «В. М. Глинка. Воспоминания. Архивы. Письма», где рассказывается, как в Коктебеле по руке балерины Галины Улановой Мануйлов читал ее жизнь. Но — неожиданной только тем, кто не знает, что профессиональный литературовед с юности страстно увлекался хиромантией. Жизнь Виктора Андрониковича Мануйлова — целая эпоха, сложная, противоречивая. И в эту эпоху жил человек, о котором его ученица Наталья Сафонова пишет: «Он никогда не был диссидентом в привычном смысле этого слова, но внутренне, безусловно, он был свободен просто потому, что оставался всегда человеком начала, а не конца XX века. Его интересовала тема внутренней свободы человека, что было чрезвычайно актуально для эпохи революций, сталинских репрессий, разрушения церквей и запрета настоящей литературы». Воспоминания фрагментарны, но они наполнены теплом и любовью, необычными, вроде бы мелкими, но такими значимыми подробностями — и ароматом времени, в которое жил и работал ученый.

Александр Корольков. Драма русского просвещения. СПб.: Алетейя, 2013. — 332 с.

Философы нынче непопулярны, констатирует философ и писатель, академик Российской академии образования Александр Корольков. Он считает, что в настоящее время философия как одна из форм не элитарного, не профессионально-группового, а в первую очередь общественного сознания не обрела того места, какое ей уготовано было духовным развитием человечества. Этому есть причины: при знакомстве с современными философскими текстами часто обнаруживается, что ничего, кроме терминологической казуистики, в них нет, убогость мысли и нравственного чувства прикрыта фиговыми листками академизма. Одна из существенных причин падения престижа философии в нашем обществе — равнодушие к человеку. Стало расхожим странное убеждение, будто вопросы о конечном и бесконечном, эмпирическом и теоретическом, о соотношении языка и мышления, о роли формализации в научном познании — это достойные философии вопросы, а то, каким будет завтрашний мир, завтрашнее поколение, какие ценности оно унаследует и какие разрушит, какие нравственные принципы будет исповедовать, — это-де заботы газетной и журнальной публицистики или педагогики, слишком заземленный предмет для философии. Когда молчит философия, спасательную роль выполняют художественная литература и писательская публицистика. Писателей не заботят критерии, выработанные в связи с защитами философских диссертаций, а заботит их реальная духовная жизнь народа, сложнейшие вопросы социального бытия: «Что есть подлинная нравственность?», «Что с нами происходит?», «Куда мы идем?», «Где искать спасения человеческой души?». Эти вопросы волнуют и Александра Королькова. Его интересуют проблемы, которые связаны с сегодняшним движением России, русской мысли, русского образования. Русская философия, по его глубокому убеждению, это прежде всего философия духовная, нравственная, и оттого русские философы, как правило, были прекрасными стилистами, тонко описывающими душевный и духовный мир человека. В их трудах яркая литературная форма изложения сложных идей сочеталась с осмыслением глубинных процессов духовной жизни человека, с устремленностью к идеалам, к высокой духовности. В традиции русской философии: духовно-нравственные иска-

ния высшего назначения человека, постижение абсолютных координат человеческого бытия в сочетании с яркой, доступной формой — пишет и А. Корольков. «Я думаю, что если нет влюбленности, погруженности в предмет, который выражает собой русский дух, русскую культуру, русское видение предметов, русское отношение к жизни — вот без этого вчувствования, я полагаю, не стоит заниматься русской философией». Русскость — часто встречающееся в тексте слово, которого нет в словаре В. И. Даля, но понятное и без дополнительных пояснений... О нетождественности русского и российского А. Корольков высказывается неоднократно, решительно не принимая настойчивых устремлений дня сегодняшнего вытеснить русское российским. Русское не значит российское, русская культура — самостоятельная национальная культура, как и татарская, якутская, дагестанская... И все вместе есть достояние России. Не русские по духу Айтматов, Искандер — блестящие советские писатели, творившие на русском языке, — но у одного в книгах дух родной Киргизии, у другого — незабываемой Абхазии. Это не принижает их значимости, но, напротив, говорит об их неповторимости в культуре. Олицетворением русскости в словесности является В. Даль, немец по материнской линии, датчанин по отцовской, лютеранин, он только за год до смерти принял православие. Вопрос о русскости, считает А. Корольков, в значительной степени вопрос культурно-психологический, русскость — менее всего характеристика этническая. «„Записаться“ в русские может кто угодно, но воплощать в себе дух русской культуры, как и любой другой национальной культуры, способны только те, кто сформировались в этой культуре, напитались ею, не потеряли с возрастом причастности к ней, а напротив, расширяли постижение народной, религиозной, светской культуры своего народа, то есть не противопоставляли возрастание образованности прежнему в родной культуре. Причем дух русской культуры выражали и выражают не только рожденные в Великороссии, но и в Малороссии, и в Белой Руси (если напомнить исторические наименования единого русского народа)». В своей книге А. Корольков размышляет о насущном: о культуре и антикультуре, о новом соблазне конца XX века — глобализме, о просвещении и образовании, о роли и значении научных школ и традиций. Для него философия права — органичный компонент русской культуры: со времен Великого Новгорода, Киевской Руси право в русском сознании являлось синонимом правоты, правды, а подчас и праведности; в западном же сознании право сближалось с законностью, формальными требованиями, упорядоченностью. Специфичность русской национальной правовой культуры сказалась даже в названии свода правовых установлений — «Русская правда». А. Корольков пишет о судьбе и творчестве Константина Леонтьева, который первым проник в тайны жизни государств, культур, наций; о жизненной драме Владимира Соловьева; о русском философе Иване Ильине и о парадоксальной душевности прозы Андрея Платонова; о философском романе С. Залыгина «После бури» и философской публицистике Валентина Распутина; о традициях русской духовной культуры в творчестве Георгия Свиридова и соборном чуде Санкт-Петербургской капеллы — концерте под руководством Владислава Чернушенко. Но о чем бы ни размышлял философ и писатель А. Корольков, он неизменно обращается к главной теме книги — к русскости. «Русскость убывает из всех сфер культуры, творчества. Если о философах, писателях, художниках, композиторах еще сравнительно недавнего прошлого можно говорить, и говорят как о национальных, о русских, то ныне попробуйте с такой же бесспорностью назвать подлинно национального современного писателя, композитора!.. оглянувшись чуть-чуть, вспомним Шукшина, Белова, Распутина, а рядом и Свиридова, Гаврилина, но это уже из ушедшего или уходящего поколения». Печально, считает он, что во власти нынче

немного тех, кто сознает и чувствует значение духовности в стратегиях развития России. «Изобилие колбас на витринах магазинов создано; конечно, следует позаботиться и о том, чтобы эти колбасы были доступны по карману всем, кто в них нуждается, но никогда русский человек, если он остается истинно русским, не удовлетворится утробным смыслом бытия русского человека и русского народа. Если бы такой смысл реализовался, а он и реализовался в части населения (в данном случае — населения, а не народа!), то это бы означало духовную деградацию, исчезновение русского народа с его духовными качествами правдоискательства, праведности, совестливости, ответственности перед Отечеством, его прошлым и будущим». Русские не могут стать утилитаристами, не смогут жить только выгодой, наживой, сиюминутностью, ибо *душа болит*. Удержать в себе русскость, русскую душу, русские характеры, русскую культуру, русские исторические традиции и тем самым быть интересными и ценными другим народам, как были до сей поры ценны неиссякаемыми национальными гениями, талантами, — вот, по мысли философа, насущная задача сегодняшнего дня. Народы, нации, государства исчезали, растворялись, если отворачивались от своей культуры. К коренным исканиям русской нации в истории принадлежит русская идея, на протяжении веков менялись ее смыслы. «Нынче перед русским народом, перед каждым русским человеком вырастает русская идея во всех ее исторических воплощениях: требуется и собирание земель, и возрождение духовности Святой Руси, и созидание Великой России. И во всем этом главное — сохранить русскость, остаться русским народом». Органическим компонентом книги стали интервью, выступления автора, а также отклики на его труды, собранные специально для этого издания В. Возчиковым и Ю. Бакулиной: такая необычная композиция позволяет познакомиться с оценками творчества А. Королькова зарубежными и отечественными учеными, писателями, интеллигенцией.

Валерий Коровин. Удар по России. Геополитика и предчувствие войны.

СПб.: Питер, 2014. — 304 с.: ил.

Литературное обрамление: пролог — НАТО нападает на Россию, рунированная система еще советской противоздушной обороны бессильна противостоять удару, Россия беспомощна. Финал — полная капитуляция России. Все действующие лица — реальные политики. Обоснование столь мрачному прогнозу — жесткий анализ реальных международных отношений за последние полтора десятилетия, данный в книге. К системе международных отношений существуют разные подходы: реалистический, либеральный, марксистский. Реалисты признают, что цель отношений и взаимодействий между государствами — борьба за ресурсы, а значит, и за глобальное господство. Вплоть до прямого превентивного удара, если у одной из сторон накоплены для этого достаточные силы, или мягче — разрушение противника изнутри путем социальной модернизации, через социальные механизмы. Либералы уверены, что демократии между собою не воюют. Но в современной действительности демократия — понятие условное, в зависимости от того, кто принимает решение о том, демократична энная страна или нет. Как посмотреть, ведь и Корейская Народно-Демократическая Республика считает себя демократией, и Демократическая Республика Конго. А российская демократия нехороша только при взгляде с Запада, но если взглянуть с Востока, то Россия — гиперлиберальная, супердемократическая страна с вековыми традициями. Существуют и другие типы демократии, не только западная. Американцы этого не понимают или не хотят понять. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», а не тем, что нет у тебя демократии. Право сильного. Известный евразиец и геополитик Валерий Ко-

ровин Америку не открывает, он констатирует очевидное: главным действующим лицом современного мира стали США, от воли и предпочтений которых сегодня преимущественно зависит безопасность или небезопасность того или иного государства. Фактически Америка управляет миром, решая единолично, кого казнить, кого помиловать. Даже арабский хаос, когда, кажется, Америка лишилась своих же ставленников, создан в строгом соответствии с американским планом: перемешав сложившуюся систему социального устройства, уничтожить традиционные архаичные формы, имеющие иммунитет к модели демократии, насаждаемой американцами. Сценарии были мягкие — Египет, Тунис, более жесткие — Ливия, Сирия. В перспективе — Иран, Россия. Сложившаяся в XX веке система безопасности перестала существовать с распадом Советского блока. В. Коровин называет конкретную дату начала глобальной войны Америки за единоличное правление, за однополярный, американоцентричный мир — 24 марта 1999 года, день начала натовских бомбардировок Югославии, осуществленных без мандата ООН и на фоне порицания со стороны международного сообщества. А весной 2011-го американцами был запущен процесс глобального социального переустройства Евразийского континента — план «Великий Ближний Восток», подготовленный еще в 2004 году. В. Коровин, опираясь на обширную информацию, предлагает свой анализ событий и фактов, для большинства являющихся хаотичной мозаикой из сообщений СМИ, — и свои выводы. Он подробно рассматривает поведение России в глобальном мире. Европейский вектор: потери и приобретения; российско-американские отношения; Россия и НАТО; Россия и арабский мир; Россия и Индия; Россия и Япония. И, конечно, то, что происходит на пространствах осколков великой страны — в Украине, Грузии, Киргизии. Единственный, кто получает дивиденды от бархатных революций, спровоцированных США на постсоветском пространстве, в арабском мире, — сами США, которые устанавливают таким образом безболезненный, невоенный контроль над этими территориями. Да, у нас были маленькие удачи на дипломатическом фронте, например, введение в МИДе новой должности уполномоченного по правам человека, демократии и верховенства прав: отныне Россия будет следить за демократическими процессами в других странах, в том числе сможет помочь с демократией и в США (не обольщайтесь — с демократией там тоже проблемы). И все-таки провалов было больше. Пиком падения России на международной арене, полагает профессиональный политолог, стали четыре года президентства Д. Медведева: Россия либо растеряла все свои козыри, либо просто проигнорировала их наличие. Неверно выбрали приоритеты и направления. Автор подвергает разбору принципы внешней политики бывшего президента и конкретику, связанную с Абхазией и Осетией, с ООН, НАТО, Договором СНВ-3, Ливией, Ираном, Белоруссией, СНГ в целом, с жертвой американской Фемиды — Бутом. Везде происходила сдача позиций. Собственно, финальная стадия Третьей мировой войны началась после злополучной поддержки Д. Медведевым (которого, как он признался позже, просто обманули) резолюции № 1973, в то время как решительная позиция России могла бы удержать коалицию западных стран от таких чудовищных действий, как бомбардировка мирного населения на территории суверенного государства Ливии и казнь его законного лидера. Мы должны были выступить в защиту Каддафи. Наивный ли идеализм Медведева виной провальной внешней политики во время его президентства или что-то другое — вопрос дискуссионный, полагает В. Коровин, но то, что каждый наш внешнеполитический провал приближает нас к возможности военного удара по России, он уверен: ведь именно слабость провоцирует агрессию. Демонстрируя слабость, неготовность вступить за свои интересы, мы сами спровоцировали западный блок вести себя

столь агрессивно и вероломно, начать горячую, завершающую фазу Третьей мировой войны. Россия должна определиться с концепцией, считает В. Коровин, ибо непоследовательность и метания в сфере внешней политики наносят нашим интересам в мире большой ущерб. Критика критикой, но В. Коровин предлагает и свои рецепты для исправления ситуации. Например, активнее использовать принятую на Западе политику двойных стандартов: способствовать сепаратизму там, где это нам выгодно, и гасить сепаратизм там, где нам это невыгодно, например, поддерживать сепаратизм в самих США: а что, самостоятельное государство Техас, индейские резервации, Дакота? Косову можно, а им нет? Активнее использовать противоречия Европы атлантической и Европы континентальной. Начать геополитическое контрнаступление на постсоветском пространстве и — шире — обозначить зоной стратегических интересов территории, входившие когда-то в СЭВ. Основной закон геополитики — экспансия: если хочешь удержать существующие границы, двигайся вперед, наружу, за пределы, — только тогда ты удержишь то, что имеешь. Необходимо действеннее использовать такие инструменты, как общественное мнение и медиа. Но, главное, надо понимать, что эпоха национальных государств уходит, приходит эпоха больших блоков. Уже сегодня основные актеры мировой арены — это большие «государства-полюсы», не государства-нации, а именно военно-стратегические блоки, наподобие Европейского союза, Организации американских государств, Лиги арабских государств, БРИКС, наметки Евразийского союза. Контуров нового многополюсного мира проясняются. Грядущий мир — либо мир Империи, и тогда это американская глобальная империя, либо мир империй. Исходя из серьезного, глубокого анализа реалий начала XXI века, В. Коровин в конечном счете намечает перспективу того, как новой России сохранить целостность, как выжить в новом мире, где искать союзников. Чтобы его мрачный футурологический прогноз не стал реальностью.

Вадим Телицын. Русское иго, или Нашествие ушкуйников на Золотую Орду. М.: Алгоритм, 2013. — 256 с. — (Исторические сенсации).

Ушкуйники. Их называли разбойниками, пиратами Северной (Новгородской) Руси. Но цель их была не только разграбление морских и речных торговых караванов, городов и сел противника, но и сопровождение торговых судов, разведка во время военных действий, освоение новых земель и дорог, защита собственной земли. Было у них и другое название — повольники, вольные, свободные люди, свободные от власти, от других людей, от обязательств и даже общепринятых правил. Об ушкуйниках сказано и написано очень много. Но, считает историк Вадим Телицын, как-то все вразнобой, и целостной картины нет. Вадим Телицын постарался свести воедино имеющиеся в наличии источники: русские летописи, берестяные грамоты, жития святых, западноевропейские хроники. И сопоставить их с тем, что уже было наработано исследователями-предшественниками, дать возможность взглянуть читателю на историю ушкуйничества с различных ракурсов. Он особо останавливается на спорных вопросах, излагает противоречивые точки зрения на одни и те же события, факты. Не всегда удается исчерпывающий, безусловный ответ. Так, расхождения существуют даже в определении этимологии слова «ушкуй», — так назывались парусно-гребные судов, на которых по морям-рекам гуляли буйные ватаги повольников. До сих пор в среде исследователей нет единого мнения о том, когда появились ушкуйники, когда состоялись их первые походы. В энциклопедиях обычно значатся XIV–XV века, а, по мнениям ряда исследователей, подтвержденным источниками, зародилось ушкуйничество еще раньше, в XI веке, еще во времена походов русских на Византию. Автор подробно, поэтапно

излагает всю шестивековую историю ушкуйничества: набеги, битвы, география походов, организация вооруженных формирований, вооружение, устройство морских и речных судов-ушкуев. По разным источникам — житиям, былинам, песням в том числе — реконструирует биографии: «первого ушкуйника», легендарного русского князя Бравлина, совершившего набег на крымский город Сурож (Сугдею) на рубеже VIII–IX веков; русского джентльмена удачи, героя новгородского былинного эпоса Васьки Буслая, историческим прототипом которого считается новгородский посадник Васка Буславич, умерший в 1171 году. В. Телицын дает впечатляющие описание «Господина Великого Новгорода», с помощью описания не так сложно понять, «откуда есть пошла» шагать по Руси ушкуйская ватажка: топография города, административное устройство, экономика и политика, вече и князья, взаимоотношения социальных слоев, торговля, международные связи. И хотя принято считать, что движение ушкуйников инициировали новгородские бояре, но ушкуйничество не имело единого центра планирования, регулирования, управления. Оно носило частный характер, территориальные приобретения «оформлялись» по факту случившегося. Благодаря ушкуйникам владения Новгорода раздвинулись до Ботнического залива, Новой Земли, бассейна Печоры. Волей-неволей они осваивали Кольский полуостров, Скандинавию, всю Прибалтику. Да и не только новгородцы были среди ушкуйников. Особый, отдельный рассказ — о пиратской республике Вятке. Новгородцы пришли на Вятку в 1174 году, а в 1374 году ушкуйники захватили ряд поселений в Арской земле (историческое название Заказанья в Казанском ханстве в русских источниках), в том числе и старый Колын — будущий Хвалын. В 1781 году по указу Екатерины II город был переименован в Вятку, а с 1934 года стал городом Кировом. Непокойная земля Вятка, одна из всех русских земель управлялась без князей, одна сохраняла чистое народоправство и не нуждалась в княжеской власти. Ее новые насельники защищались и от метрополии, Новгорода, и от Московии, и от князей. В русских междоусобицах ушкуйники вообще редко выступали на стороне Москвы. Они жили в своих вятских городках, занимались усмирением аборигенов — болгаров и вотяков, сбором дани, торговлей, войнами и набегами на далеких и близких соседей. Шесть веков ушкуйничества — немалый отрезок времени. Менялись направления движения, формы (на разных направлениях — свои), цели, задачи. На севере поле деятельности ушкуйников простиралось от Балтийского моря до Камско-Волжского бассейна, полярного архипелага Шпицберген, западного берега полуострова Ямал, Северного Предуралья, Зауралья, Оби. От Кольского полуострова до устья Северной Двины ушкуйничество преобразилось в поморничество — прочное оседлое освоение новых земель, морского промысла. В Карелии и Скандинавии ушкуйники вели боевые действия, меновой обмен, приводили местное население в подданство Новгородской земли. Ушкуйники были грозой Балтики, участвовали в войнах с Ливонией, Швецией за финские земли. Сражались с датчанами и крестоносцами. В бассейне Волги и Камы и на территориях, связанных с ними судоходными протоками занимались речным разбоем: грабили и местное население, и купцов, вступали в боевые сражения. Гуляя вдоль по Волге, регулярно разоряли ордынские города и громили отряды татар. Взяли ханскую столицу Сарай-Берке и не единожды брали Жукотин (Джукетау близ современного города Чистополя). И слал хан Золотой Орды жалобы князю Московскому с просьбами утихомирить разгулявшуюся русскую вольницу. Основные действия против ордынцев велись во времена «великой замятни» — переворотов, гражданских войн и безвластия в Золотой Орде второй половины XIV века. Первая половина 1380-х годов прошла под флагом опустошительных походов ушкуйников на земли от Костромы до Астрахани. Ушкуйники

походя грабили и русские города, страдали Муром, Кострома, Нижний Новгород. Булгары, потом и татары мстили русским за разбои на Оке и Волге — и снова страдали русские города и деревни. Повольники прекрасно владели оружием, навыками боя, способами быстрого продвижения, бывало, они терпели поражение, но чаще им сопутствовала удача. На каком-то этапе ушкуйничество переродилось в хорошо организованный разбой. В 1479 году после ликвидации независимости Новгородской земли Иван III запретил ушкуйничество. По его приказу с Хлыновым поступили, как и с Великим Новгородом: большая часть жителей была выслана в московские города, вместо них поселены столичные жители, главных «крамольников» казнили. Вполне вероятно, что часть населения Хлынова и других вятских городов сумела покинуть регион и скрыться от преследования. Некоторые современные историки Донского казачества выводят свой род казачий именно от этих новгородских (вятских) ушкуйников-хлынов. Но ушкуйничество не исчезло. В середине XVI века ушкуйники ходили в поход против татар в составе московской рати, до начала XVII века совершали набеги в Северную Карелию. Ушуйники, кто же они: герои, защитники земель, пионеры-землепроходцы или разбойники? И то, и другое, и третье. Два источника объединяют землепроходцев и ушкуйников: стихийное творчество народного духа и воля властвующих лиц. Книга вышла в серии «Исторические сенсации»: в версии В. Телицына нет места забитой и обескровленной Руси, стонущей под игом «злых татар», скорее наоборот, страдающей стороной не раз оказывались ордынцы. Сенсация, наверное, не в том, как выглядели не хрестоматийные отношения Русь–Орда. А в том, какой менталитет передали своим потомкам рассеявшиеся по землям русским ушуйники, строители вольного братства. Рабский?

*Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой*

*Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)*

Contents

Prose and Poetry

- Vera Zubareva.** Poems • 3
Irina Tchaikovskaya. The School of Athens. *Story* • 7
Alexander Gorodnitsky. Poems • 56
Catherina Nagovitsyna. The Engenoy Witch. *Novel* • 62
Valeriy Skoblo. Poems • 93
Elena Rodchenkova. The Wild Creek. The Fool's House. *Stories* • 99
Oleg Yurkov. Poems • 122
Guzel Yakhina. Moth. *Story* • 126
Boris Myachin. Func Key not Assign. The Plank. *Stories* • 147
Sonya Touchinskaya. The Residents. The Rose and the Muse. The Birder. Helen. *From the series: Fictional Stories* • 154

Book of the Fallen

Poets of the First World War. Ernst Lotz, Charles Sorley. *Translation, comments by Yevgeny Lukin* • 171

Criticism and Essays

Elena Gushanskaya. «...Time dripping from the tip of his pen». *To A. Volodin's 95th anniversary* • 176

Petersburg Bookman

The Culture Year. Olga Glazunova. On Creation and Creativity. **Times and Images.** Vladimir Chisnikov. «The Spy Repents». *Leo Tolstoy's unwritten story for «Reading Circle».* **Reviews.** *Julia Brodovskaya.* The Unveiled Confusion. *Maria-Alice Sverdlova.* The Bliss of Luminous Force. *Stanislav Secretov.* The Place where the Light is. **Forgotten Book.** Albert Starchevsky. On Rumyantsev's Services to the Country's History. *Margarita Raitkina's publication.* **Pilgrim.** Archimandrite Augustine (Nikitin). Antwerp — Twin-town of St. Petersburg. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 188–254

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева”». Адрес редакции:
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург,
а/я 9

Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com;
nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva/>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307); Центр современной литературы (наб. Адмирала Макарова, 10, тел. 328-6708), Книжная лавка «Исткнига» (Васильевский остров, Кадетская линия, 27/5, литер А, тел. 986-8251), также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).

В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 25.12.2013. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2800 экз. Заказ № 17.57
Издательство «Журнал „Нева”»

Отпечатано по технологии StP
в ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б